



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Deśia t' chtenĩ po literatūrie

A. Alferov, Alekseĩ Evgen'evich Gruzinskĩ, F. Nelidov, S Smirnov

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

130886

130886

150

7

Дорогому другу Миди Николаевичу Тейтенову отъ старою
его друга А. Алферова 13^е ав. 1899 г. № Сервантесъ
Кр430

А. АЛФЕРОВЪ, А. ГРУЗИНСКІЙ, Ф. НЕЛИДОВЪ, С. СМЕРНОВЪ.

8(с)р
D 37

Desiat' chtenii...

8917
D 34

ДЕСЯТЬ ЧТЕНІЙ

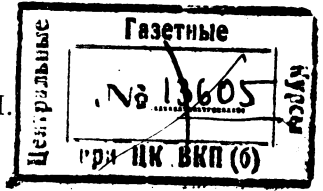
8(с)р

ПО ЛИТЕРАТУРЪ.

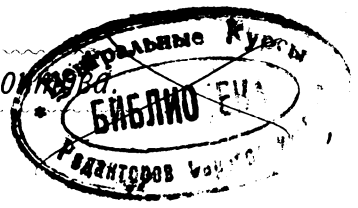
РУССКІЕ НАРОДНЫЕ ПѢВЦЫ. — МАКСИМЪ ГРЕКЪ. — ХУЛИТЕЛИ НАУКЪ
ВЪ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ САТИРЪ XVIII ВѢКА. — Д. И. ФОНВИЗИНЪ. — С. Т.
АКСАКОВЪ. — Д. В. ГРИГОРОВИЧЪ. — В. Г. БЪЛИНСКІЙ. — ПЕТРУШКА. —
СЕРВАНТЕСЪ. — ДЕФОЭ.

1304

съ 29-ю РИСУНКАМИ.



Изданіе А. И. Мамонтова



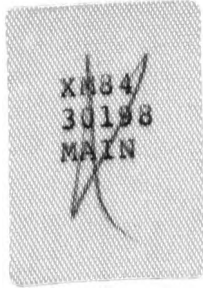
МОСКВА.

ТОВАРИЩЕСТВО ТИПОГРАФІИ А. И. МАМОНТОВА.

ЛЕОНТЬЕВСКІЙ ПЕР., Д. МАМОНТОВА.

1895.

7168-3197



БИБЛИОТЕКА
Высшей педагогической школы
при ИК ВКП(б)
№ 130886

В.И.
20/1/12

PN 6065
R9 D46
1895
MAIN

ДЕСЯТЬ ЧТЕНІЙ ПО ЛИТЕРАТУРѢ.

ВАЖНѢЙШАЯ ОПЕЧАТКА.

Въ печати

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ.</i>
123	9 снизу.	трогательно.	поразительно.
136	5 снизу.	ея стремленій.	стремленій этой эпохи.
139	12 сверху.	изображенія.	творчества.
143	14 сверху.	стихійный.	спокойный.
144	9 сверху.	слишкомъ.	такимъ.
140	16 сверху.	1843	1845

Предлагаемые очерки назначены главнымъ образомъ для учащихся и всѣ (кромѣ очерка «Максимъ грекъ») были произнесены въ разное время въ Московскомъ Историческомъ Музеѣ на воскресныхъ чтеніяхъ, организуемыхъ ежегодно Учебнымъ Отдѣломъ Общества Распространенія Техническихъ Знаній. Приложенный въ концѣ книги списокъ источниковъ и пособій не имѣетъ въ виду дать полный указатель литературы по данному вопросу; онъ указываетъ лишь на пособия, которыми пользовались авторы статей при ихъ составленіи. При Учебн. Отдѣлѣ имѣются коллекціи туманныхъ картинъ къ предлагаемымъ чтеніямъ. Учебнымъ заведеніямъ предоставляется бесплатное пользованіе коллекціями. Обращаться къ члену Учебнаго Отдѣла Ивану Викентьевичу Юркевичу (Москва, Политехническій Музей).

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Русскіе народныя пѣвцы.— <i>А. Грузинскій</i>	1
Максимъ Грекъ.— <i>Ф. Нелидовъ</i>	25
Хулители наукъ въ Екатерининской сатирѣ XVIII в.— <i>Ф. Нелидовъ</i> .	65
Д. И. Фонъ-Визинъ.— <i>А. Грузинскій</i>	93
С. Т. Аксаковъ.— <i>С. Смирновъ</i>	112
Д. В. Григоровичъ.— <i>С. Смирновъ</i>	135
В. Г. Бѣлинскій.— <i>А. Грузинскій</i>	155
Петрушка.— <i>А. Алферовъ</i>	175
Сервантесъ.— <i>А. Алферовъ</i>	207
Де-Фое.— <i>А. Алферовъ</i>	225



В. П. ШЕГОЛЕНОКЪ, пѣвецъ былинъ.

РУССКІЕ НАРОДНЫЕ ПѢВЦЫ.

I.

Почти всѣ мы еще на школьной скамьѣ знакомимся съ народной поэзіей, — читаемъ былины, духовные стихи, пѣсни, сказки и пословицы. Для многихъ все это такъ навсегда и остается лишь обязательнымъ учебнымъ предметомъ. Не всякому приходится увидать въ этомъ учебномъ предметѣ источникъ интереса или удовольствія: народная поэзія похожа на очарованную принцессу въ лѣсу, красота которой открывается лишь передъ тѣмъ, кто отважно пробрался сквозь густой терновникъ. Не всякій задавался вопросомъ: какой смыслъ имѣетъ эта поэзія въ глазахъ самого народа? что вложилъ онъ въ нее и что даетъ она ему? За что любить народъ это свое дитя, сохраняя его и бережно неся съ собой сквозь длинный рядъ столѣтій и разставаясь съ нимъ лишь медленно, какъ бы нехотя, подъ напоромъ новыхъ условій жизни?

Прежде всего, гдѣ и какъ хранится въ народѣ его поэзія?

„Въ свѣжее майское утро“ . — писалъ одинъ путешественникъ (П. Н. Рыбниковъ) — „отправился я на пристань въ Петрозаводскѣ и сталъ приискивать лодку для переѣзда на Пудожскій берегъ. На этотъ разъ изъ Пудожскаго побережья была только одна сойма. Устроена она была не совсѣмъ ладно: вмѣсто палубы на ней былъ навѣсъ изъ плохо сколоченныхъ досокъ, помѣщеніе подъ навѣсомъ было сырое и грязное, паруса сшиты изъ лохмотьевъ, руль налаженъ кое какъ, весла самодѣльные. Знакомые мои всячески отговаривали меня отъ поѣздки водою: по ихъ словамъ, озеро Онежское очень бурное, переменны вѣтра совершенно неожиданны, а въ разныхъ мѣстахъ разсыяно множество „лудъ“ (мелей) и подводныхъ камней. Но хозяинъ соймы, Иванъ изъ „Пестьянъ“ (Песчанской волости), понравился мнѣ своимъ привѣтливымъ обращеніемъ и словоохотливостью, и я скоро уговорилъ его перевезти меня въ Пудожгорскій приходъ... Въ свѣтлую и холодную весеннюю ночь мы простились съ городомъ и поѣхали къ Ивановскимъ островамъ. Поднялся встрѣчный вѣтеръ. Чѣмъ дальше мы подвигались впередъ, тѣмъ сильнѣе онъ разыгрывался, и только къ утру, часовъ черезъ шесть самой утомительной работы, измученные гребцы пристали къ Шуй-наволоку, пустынному, болотистому и лѣсистому острову, въ 12 верстахъ отъ Петрозаводска.

На островѣ стоитъ закопченная „фатера“ — домикъ, куда въ осеннюю пору, при затишьѣ, противномъ вѣтрѣ и бурѣ, пріѣзжіе укрываются на ночь. Около пристани было много лодокъ изъ Заонежья, и „фатера“ народомъ полнымъ-полна. Правду сказать, она была черезъ чуръ смрадна и грязна, и хотъ было очень холодно, но не хотѣлось мнѣ взойти въ нее на отдыхъ. Я улегся на мѣшкѣ около тощаго костра, заварилъ себѣ чаю въ кострюль, выпилъ и поѣлъ изъ дорожнаго запаса и, пригрѣвшись у огонька, незамѣтно заснулъ. Меня разбудили странные звуки: до того я много слыхалъ и пѣсенъ, и стиховъ духовныхъ, а такого напѣва не слыхивалъ. Живой, причудливый и веселый, порой онъ становился быстрѣе, порой обрывался и ладомъ своимъ напоминалъ что-то стародавнее, забытое нашимъ поколѣніемъ. Долго не хотѣлось проснуться и вслушаться въ отдѣльные слова пѣсни: такъ радостно было оста-

ваться во власти совершенно новаго впечатлѣнія. Сквозь дрему я разсмотрѣлъ, что шагахъ въ трехъ отъ меня сидитъ нѣсколько крестьянъ, а поетъ сѣдоватый старикъ съ окладистой бѣлой бородой, быстрыми глазами и добродушнымъ выраженіемъ въ лицѣ. Присосѣдившись на корточкахъ у потухавшаго огня, онъ оборачивался то къ одному сосѣду, то къ другому, и пѣлъ свою пѣсню, перерывая ее иногда усмѣшкою. Кончилъ пѣвецъ и началъ пѣть другую пѣсню: тутъ я разобралъ, что поется былина о Садкѣ-купцѣ, богатомъ гостѣ. Разумѣется, я сейчасъ же былъ на ногахъ, уговорилъ крестьянина повторить пропѣтое и записалъ съ его словъ. Сталъ спрашивать, не знаетъ ли онъ еще чего нибудь. Мой новый знакомецъ, Леонтій Богдановичъ, изъ деревни Середки, Кижской волости, пообѣщалъ мнѣ сказать много былинъ. Впрочемъ, на первый разъ и записывалось какъ-то неохотно, а больше слушалось. Много я впослѣдствіи слыхалъ рѣдкихъ былинъ, помню древніе, превосходные напѣвы; пѣли ихъ пѣвцы съ отличнымъ голосомъ и мастерской дикціей, а по правдѣ скажу, — не чувствовалъ уже никогда того свѣжаго впечатлѣнія, которое произвели плохіе варианты былинъ, пропѣтые разбитымъ голосомъ старика Леонтя на Шуй-наволокъ.

Леонтій Богдановичъ упорно звалъ меня къ себѣ въ гости. „Ты только заверни ко мнѣ“, говорилъ онъ: „такъ я и самъ тебѣ былиннокъ напою и найду тебѣ такихъ сказителей, что супротивъ ихъ не будетъ въ цѣломъ Заонежьѣ... Одинъ, Трофимъ Григорьевъ Рябининъ, — изъ нашей же деревни Середки“.

Скоро Рыбниковъ былъ въ гостяхъ у Леонтія.

„Я бродилъ по деревнѣ и перезнакомился съ многими одноподдервенцами Леонтія, а вечеромъ они цѣлой гурьбой пришли къ намъ въ гости. Стали они мнѣ передавать разныя мѣстные преданія, какъ черезъ порогъ избы переступилъ старикъ средняго роста, крѣпкаго сложенія, съ небольшою сѣдьющей бородой и желтыми волосами. Въ его суровомъ взглядѣ, осанкѣ, поклонѣ, поступи, во всей его наружности, съ перваго взгляда были замѣтны спокойная сила и сдержанность. „Вотъ и Трофимъ Григорьевичъ пришелъ“, сказалъ Леонтій.

Послѣ обычнаго обряда знакомства я рассказалъ Рябинину про

любовь свою къ стариннымъ пѣснямъ и сталъ убѣдительно просить его спѣть о какомъ нибудь богатырѣ. „Негоже нонѣ сказывать мѣрскія пѣсни“, отвѣчалъ онъ:— „нонѣ постъ: набѣ стихи пѣтъ“. Тутъ я, какъ съумѣлъ, объяснилъ ему, что если не грѣхъ пѣть стихи, такъ не грѣхъ и былины сказывать. — Въ стихахъ, Трофимъ Григорьевичъ, — говорилъ я — поютъ въ назиданіе слушающимъ о святыхъ людяхъ; да вѣдь и въ былинахъ сказываютъ о вѣковѣчной старинѣ, о древнихъ князьяхъ и святорусскихъ богатыряхъ. Самъ ты знаешь, что въ былинахъ на концѣ припѣвается: „Синему морю на тишину, а вѣзмъ добрымъ людямъ на послушанье“. — Или Рябина уубѣдили мои доводы, или ему самому захотѣлось вернуть свое умѣнье передъ внимательнымъ и свѣдущимъ слушателемъ, только онъ тутъ же сталъ мнѣ сказывать о Хотенѣ Блудовичѣ. Напѣвъ былины былъ довольно однообразенъ, голосъ у Рябина, по милости шести съ половиной десятковъ лѣтъ, не очень звонокъ; но удивительное умѣнье сказывать придавало особое значеніе каждому стиху. Не разъ приходилось бросить перо, и я жадно вслушивался въ теченіе разсказа, затѣмъ просилъ Рябина повторить пропѣтое и нехотя принимался пополнять свои пропуски. И гдѣ Рябининъ научился такой мастерской дикціи! Каждый предметъ у него выступалъ въ настоящемъ свѣтѣ, каждое слово получало свое значеніе“ *).

Вотъ пѣвцы былинь или „сказители“ (отъ сл. сказывать), уцѣлѣвшіе до нашихъ дней только въ глуши угрюмаго Онежскаго края.

Почти нигдѣ въ остальной Россіи народъ уже не знаетъ былинь, но въ Олонецкой губ. старина еще не умерла, отчасти благодаря болотамъ и лѣсамъ этого дикаго края, гдѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не знаютъ телѣги, потому что на ней не проѣдешь, а ѣздятъ и лѣтомъ на саянахъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ Гильфердингъ, ѣздившій въ Олонецкую губ. записывать былины, засталъ эпическую поэзію еще въ большой силѣ. Онъ пишетъ: „По берегамъ Кенозера поютъ былины старый и малый; вы здѣсь услышите одну и ту же былину отъ пяти—шести человекъ, мужчинъ и женщинъ, которые живутъ въ разныхъ деревняхъ; въ то же время

*) Рыбниковъ, т. III-й.

вы встрѣтите трехъ братьевъ, которые живутъ въ одномъ домѣ и изъ нихъ каждый знаетъ свои особыя былины“. Гильфердингъ встрѣчалъ пѣвцовъ, знавшихъ до 20 былинь, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ были почти въ 1000 стиховъ.

Хотя знаніе былинь, какъ мы видимъ, распространено на сѣверѣ, но и тамъ болѣе или менѣе крупнымъ запасомъ ихъ владеютъ немногіе, которые и слывуть сказителями. Но пѣніе былинь вовсе не составляетъ спеціальнаго занятія Олонецкаго сказителя. Онъ—не слѣпецъ, который ходитъ по міру и кормится своимъ умѣньемъ (изъ нихъ очень немногіе слѣпы); такіе слѣпцы-калѣки есть и тамъ, но они поютъ духовные стихи и обыкновенно не знаютъ былинь. Сказитель—крестьянинъ-хозяинъ, а лучшіе пѣвцы очень часто притомъ довольно зажиточные, умные и серьезные люди. Замѣчено, что большинство хорошихъ пѣвцовъ занимаются кромѣ земледѣлія рыболовствомъ, вязаньемъ сѣтей, портняжнымъ или сапожнымъ мастерствомъ. Въ тамошнемъ краю нельзя прожить однимъ хлѣбопашествомъ и побочный промыселъ имѣеть всякій, но сами крестьяне замѣчаютъ, что другіе промыслы—звѣроловство, лѣсныя работы, извозъ—мѣшаютъ усвоенію былинь и даже заставляютъ забывать то, что прежде помнилось и пѣлось. И самъ пѣвецъ, и его слушатели относятся съ полной вѣрой и живымъ интересомъ ко всему тому, что говоритъ былина; они любятъ и цѣнятъ свои „старинки“.

Долгіе зимніе вечера отъ сумерокъ до глубокой ночи проходятъ иногда за пѣніемъ былинь. Соберется народъ въ избу вязать сѣти, и сказитель—какой-нибудь деревенскій портной, странствующій изъ деревни въ деревню,—начнетъ пѣть. Подъ плавный напѣвъ былины развертываются передъ слушателями картины древней русской жизни, гдѣ все такъ чудно завлекательно, не похоже на сейчасъ текущую жизнь, но гдѣ въ то же время слушатель чувствуетъ много знакомаго и понятнаго своей душѣ. Вотъ разстилается „широко раздольице чисто поле“; богатырь въ своемъ диковинномъ вооруженіи, верхомъ на богатырскомъ конѣ выѣхалъ на шеломя на окатистое и зорко вглядывается вдаль; увидѣлъ онъ въ чистомъ полѣ чернизину: это ѣдетъ врагъ-поленица удалая или злодѣй-воръ на хвальщина; происходитъ богатырскій бой-драка великая. Вотъ нашъ

богатырь сѣлъ на повергнутого противника, вынимаетъ чингалище булатное и готовъ пороть ему груди бѣлыя, вынимать сердце съ печеню; вдругъ въ критическую минуту оказывается, что мнимый врагъ—кровный близкій богатырю—его сынъ: неумолимое чингалище выпадаетъ изъ рукъ отца какъ разъ во время, и у слушателей невольная дрожь ужаса смѣняется радостнымъ чувствомъ облегченія. Вотъ подь Кіевъ подступили татары, а защищать некому: „По грѣхамъ надъ княземъ (учинилося: богатырей въ Кіевѣ не случилось“. Пріѣхалъ отъ хана посоль съ дерзкой угрозой разорить до тла весь Кіевъ и Божьи церкви на дымъ пустить. Ласковое Солнышко-Владиміръ пріужахнулся и закручинился, повѣсилъ буйну голову ниже плечъ. Въ городѣ смятеніе и плачь. Но уже близится неожиданное избавленіе: „Какъ далече, далече въ чистомъ полѣ не ясный соколъ въ перелетъ летитъ, не бѣлый кречетъ перепархиваетъ, ѣдетъ старый казакъ Илья Муромецъ“. Со спокойной увѣренностью принимается онъ за дѣло и скоро врагъ бѣжитъ и закаивается впередъ ходить на Русь. Въ былинахъ проходятъ передъ слушателями длинной вереницей самыя разнообразныя личности—одни героическія, сильныя тѣломъ и духомъ; грудью встрѣчаютъ они врага родины и также открыто, не задумываясь, встаютъ противъ несправедливости,—и при внѣшней грубости они понимаютъ, что такое нравственный долгъ, и ясно отличаютъ зло отъ добра. На ряду съ ними являются другія личности, съ пятнами въ характерѣ, они нерѣдко испытываютъ неудачу въ своихъ замыслахъ, и фальшивость ихъ натуры встрѣчаетъ заслуженную кару или осмѣяніе. Неторопливо течетъ эпическій рассказъ въ мѣрной мелодіи пѣвца, медленно движутся событія и смѣняется картина картиной, но тѣмъ глубже западаютъ они въ душу и тѣмъ сильнѣе очарованіе слушателей.

Всѣ, сдвинувшись къ пѣвцу, слушаютъ съ напряженнымъ вниманіемъ, лишь изрѣдка изъ чьей-нибудь переполненной души вырвется восклицаніе сочувствія (или страха, одобренія или насмѣшки по адресу дѣйствующихъ лицъ. Всѣ переживаютъ въ это время рядъ глубокихъ нравственныхъ впечатлѣній. Ладожскіе рыбаки говорили Рябинину, который забрелъ къ нимъ на промыселъ: „Еслибы ты къ намъ жить пошелъ, Трофимъ Григорьевичъ, мы бы на тебя

1) *Былина про Волгу и Мухому.*

Allegro moderato.

Жизнь Святослава де-ся - по сто летъ. Жизнь Святослава не ре - ставился, Остава -
 лось отъ не - го ча - до ми-ло-е Мо-ло-диъ Давна Свято-слав-го-виль.

2) *Про Добрыню и Вас. Казимирова.*

Moderato.

На чет-нацать Вятчирь стая по-стали вать жи-же вы-мо-и-ва-кля-зи-бо-я-ра, Сты-ны
 рус-ки-е мо-у-и-е бо-га-ты-ра! За-дал-жаль-то-я ко-ро-лю-то-бо-ти-я-ну-бо-ти-я-но-бу.

3) *Стихъ про Егоря.*

Lento

Да при-тмъ ца-р-я, да мѣ-при-се-во-р-я. Да при-се-го-р-я Стра-ти-ла-то-ра.

4) *Стихъ про „Пустыню“.*

Andante

Какъ рас-пла-ет-ся младшій вь-но-чь, Ам-са-зве-ей ца-ре-виль.

5) *Изъ репертуара кобзаря Прокопѣ Чуба.*

Lento

Ой, хо-диль же-чу-манъ сымѣ-по-до-ну. Дѣ-ль не-было при-го-до-ни-ли-ко-ли-е-му.

6) *Стихъ о Вознесении, пятый Изъ Троф. Рубининъ изъ Москва въ 1891 г.*

Moderato

О. по-славъ Три-сто-ва-го во-скре-сень-я, На -
 ме-стой-не-дѣ-ль-въ-вос(с)-не-сень-е.

работали. Лишь бы ты намъ сказывалъ, а мы тебя все бы слушали“. Сказитель является въ такія минуты истиннымъ просвѣтителемъ и воспитателемъ своихъ слушателей. Онъ даетъ имъ знаніе прошлой жизни русскаго народа;—пусть неправдоподобны внѣшнія событія этого прошлаго, но всегда вѣренъ внутренній смыслъ его. А что всего дороже,—былинная поэзія расширяетъ духовный горизонтъ крестьянина: его понятія уже не замыкаются его волостью или рамками его личной жизни: онъ чувствуетъ свою связь съ цѣлымъ рядомъ прошлыхъ поколѣній, передъ нимъ движется въ лицахъ добро и зло человѣческой души со всѣми ихъ послѣдствіями, онъ свободно участвуетъ въ ихъ оцѣнкѣ и вырабатываетъ себѣ болѣе широкія нравственныя основы жизни.

Въ центральныхъ мѣстностяхъ Россіи, забывшихъ свою старую поэзію, развивающимъ образомъ дѣйствуютъ на народъ другія условія: общая бойкость и разнообразіе жизни, города съ образованнымъ населеніемъ или наконецъ школа; но это просвѣщеніе достается съ большимъ трудомъ и жертвами: современная цивилизованная жизнь учитъ сразу одинаково и большому добру, и великому злу, она слишкомъ иногда мудрено переплетаетъ то и другое, и въ этихъ переплетахъ легко запутаться, а она всегда наказываетъ за ошибки. Въ народной школѣ лежитъ могучая развивающая сила, но школѣ еще очень мало на Руси, а на окраинахъ въ особенности. На глухомъ сѣверѣ, среди лѣсовъ и болотъ Олонецкаго края, гдѣ всѣ силы человѣка уходятъ на борьбу съ природой и гдѣ нѣтъ почти никакихъ просвѣтительныхъ средствъ, поэзія, созданная народомъ, черезъ сказителей служить ему же великую службу, внося нравственное содержаніе въ его жизнь, не давая огрубѣть его духу отъ непрерывной заботы о хлѣбѣ насущномъ. Вотъ почему, быть можетъ, такое отрадное впечатлѣніе производили на путешественниковъ Олонецкіе крестьяне изъ самыхъ глухихъ мѣстъ. Гильфердингъ пишетъ: „Народа честнѣе, добрѣе, и болѣе одареннаго природнымъ умомъ и житейскимъ смысломъ я не видывалъ; онъ поражаетъ путешественника столько же своимъ радушіемъ и гостепріимствомъ, сколько отсутствіемъ корысти. Самый бѣдный крестьянинъ, у котораго хлѣба не хватаетъ на пропитаніе, и тотъ принимаетъ плату за оказанное одолженіе, иногда

сопряженное съ тяжелымъ трудомъ и потерей времени, какъ нѣчто такое, чего онъ не ждалъ и не требуетъ. Онъ садится въ лодку гребцомъ, работаетъ весломъ часовъ 25 кряду, не теряя до конца хорошаго расположенія духа и прирожденной шутивости. При первомъ признакѣ человѣчнаго съ нимъ обхожденія онъ, такъ сказать, расцвѣтаетъ, дѣлается дружественнымъ и готовъ оказать вамъ всякую услугу, но между тѣмъ никогда не впадетъ въ тотъ тяжелый тонъ грубой, безтактной фамиллярности, отъ котораго не всегда можетъ удержаться простолюдинъ, когда съ нимъ хочетъ сблизиться челоѣкъ изъ болѣе образованнаго слоя общества“.

Мы еще ближе войдемъ въ духовную жизнь олончанина и оцѣнимъ его поэтическое творчество, питающее въ немъ такія истинно челоѣчныя черты, если присмотримся къ другимъ произведеніямъ этой поэзіи—къ надгробнымъ причитаньямъ или заплачкамъ и къ тѣмъ, кто главнымъ образомъ хранитъ ихъ и поддерживаетъ,—къ такъ называемымъ „вопленицамъ“. У всѣхъ народовъ съ глубокой древности былъ распространенъ обычай оплакивать потерю своихъ близкихъ въ словесныхъ жалобныхъ причитаніяхъ. Всякое сильное чувство, переполняющее душу, тяготитъ ее и естественно стремится излиться; высказанное горе всегда было легче скрытаго. Въмѣстѣ съ успѣхами общежитія и развитіемъ образованности этотъ обычай мало по малу исчезаетъ: мы приучаемся владѣть собой и не всегда открывать свои чувства передъ другими; но у народа, какъ и у дѣтей, потребность изліянія неупорядочима. Но не всякій способенъ находить легко и свободно соответствующее выраженіе своему чувству; поэтому повсюду еще въ древности были извѣстны воспримчивыя впечатлительныя натуры, (это всегда были женщины) которыя славились своей способностью особенно трогательно выражать горе; природная чуткость позволяла имъ даже чужое горе принять близко къ сердцу и проникнуться имъ.

Такая плакальщица, говоритъ изслѣдователь Е. Барсовъ, является по преимуществу истолковательницей семейнаго горя; она входитъ въ положеніе осиротѣвшихъ, думаетъ ихъ думами и переживаетъ ихъ сердечныя движенія; чѣмъ богаче ея запасъ готовыхъ оборотовъ и древнихъ, всѣмъ знакомыхъ, образовъ, чѣмъ лучше обрисовываетъ она думы и чувства въ животрепещущихъ явленіяхъ

природы, чѣмъ умилнѣе и складнѣе ея причитаніе, тѣмъ болѣе пользуется она вліяніемъ и уваженіемъ среди народа. Отдать послѣдній долгъ умершему собирается иногда цѣлое селеніе; это еще болѣе расширяетъ значеніе плакальщицы; она объявляетъ во всеуслышаніе нужды осиротѣвшихъ и указываетъ окружающимъ на нравственный долгъ поддержки; она повѣдаетъ нравственные правила жизни, открыто высказываетъ думы и чувства, симпатіи и антипатіи, вызываемыя тѣмъ или другимъ положеніемъ семейной или общественной жизни. У насъ есть, напр., плачи, гдѣ плакальщица оплакиваетъ чужихъ отъ своего лица, напр., плачь по убитымъ-громомъ молніей, плачь объ утонувшихъ, плачь о попѣ—отцѣ духовномъ, о старостѣ, даже о писарѣ.

Въ послѣднихъ случаяхъ плакальщица передъ всѣмъ сельскимъ міромъ воздаетъ должную честь общественной дѣятельности покойнаго.

Такія плакальщицы у насъ на сѣверѣ зовутся вопленицами. Ихъ приглашаютъ и въ другихъ важныхъ случаяхъ жизни: при сдачѣ въ рекруты, на свадьбахъ и т. п. Онѣ есть повсюду на Руси, но нигдѣ, можетъ быть, ихъ творчество не достигаетъ такой силы и выразительности, какъ среди того же нравственно развитаго и чуткаго населенія Олонецкаго края; по крайней мѣрѣ ни изъ какой другой мѣстности Россіи у насъ нѣтъ такого большаго количества прекраснѣйшихъ заплачекъ, какое мы имѣемъ въ сборникѣ Барсова „Причитанья Сѣвернаго края“. Прежде всего въ этихъ плачахъ живо рисуется суровая сѣверная природа съ темными лѣсами со дремучими, съ дикими болотами и мхами зыбучими, съ высокими горами толкучими; тутъ и Свирь-рѣка свирѣпая, малыя круглыя озерышки, и Онегушко великое, и Ладожско сердитое. Подымается буря—падара—погода непомѣрная, огромныя деревья рветъ съ корнемъ. Горы даютъ трещины, въ морѣ-Онегушкѣ вода сколыбается, и пойдетъ рѣзсыпь великая, кресты съ могилъ сокидаетъ, солому съ хороминъ посрываетъ. Чтобы бороться съ такой угрюмой природой и поддерживать существованіе, нужно имѣть силушку звѣриную, пѣтяги держать лошадиные. При такихъ условіяхъ жизни потеря мужа и отца, главнаго работника въ домѣ, особенно сильно чувствуется, такъ какъ, кромѣ сердечнаго горя, ставитъ семью не-

рѣдко лицомъ къ лицу съ тяжелымъ будущимъ. И вотъ вопленица причитаетъ, обращаясь отъ лица вдовы къ умершему:

„Погляди-тко, моя ладушка,
На меня, да на побѣдную!
Не березынька шатается,
Не кудрявая свивается,
Какъ шатается, свивается
Твоя да молода жена.
Я пришла, горюша горькая,
На любовную могилушку
Разсказать свою кручинушку“.

Какъ горькой вдовѣ растить сиротныхъ малыхъ дѣтушекъ безъ мужа? Причитанье вопленицы развертываетъ передъ вдовой картину ожидающей ее жизни. Она должна будетъ еще маленькими посылать дѣтей на трудную работу крестьянскую; жалость борется въ ней съ необходимостью. Вотъ она у постели своего ребенка; нужно разбудить его; онъ крѣпко спитъ:

„Рѣзвы ноженьки его да пораскиданы,
Бѣлы рученьки отъ сердца поразмахнуты,
Его желтые кудерки порастряхнуты“.

Тихо подойдетъ она къ кроваткѣ, сотворитъ Иисусову молитовку, погладитъ его по молодой головушкѣ. Онъ не просыпается. Не рѣшается мать разбудить, прикроетъ его соболинымъ одѣяльцемъ и выйдетъ потихоньку. Но вотъ дѣти-недоросточки ушли работать на луговую поженку. Управившись дома, мать спѣшитъ ихъ провѣдать. Приходить и видитъ: устали и заснули ея

„Сердечны милы дѣтушки...
Словно зайки подъ ракиновымъ подъ кустышкомъ,
Горностаи подъ малиновымъ подъ прутикомъ“.

Она начинаетъ бранить ихъ, дѣти плачутъ; мать пѣняетъ на свою несчастную судьбу и тоже слезами обливается. Но еще хуже,

когда мать при всѣхъ трудахъ не можетъ прокормить своего „стада дѣтинаго“ и должна отправить ихъ по міру за милостыней. Болитъ за нихъ материнское сердце: она представляетъ себѣ, какъ они страдаютъ отъ непогоды, пугаются собакъ, терпятъ обиды отъ чужихъ людей... Если же судьба велитъ ей потерять ребенка, чаша горя матери переполняется:

Она падае родима о дубовый полъ,
Слезы катятся у ней, какъ рѣка бѣжить,
Возрыдать она побѣдна, какъ порогъ шумить,
Ю великая кручина удоляе,
Зла дѣтиная тоска неугасимая.
У нея сердце клубышкомъ катается,
Оно червышкомъ свивается,
Оно кровью обливается.

Напрасно зоветъ она свою „жемчужинку скачоную, свою теплую голубоньку...“

Эти надрывающія картины горя проходятъ одна за другой въ умилномъ причитаніи вопленицы и отдаются въ сердцахъ всѣхъ присутствующихъ; душу вдовы онѣ рвутъ на части, расширяя и углубляя ея горе, но ей дорого это горе и онѣ даютъ ему исходъ.

Иногда заплачка достигаетъ необыкновенной силы и выразительности. Таковъ „Плачь объ убитомъ громомъ-молніей“, помѣщенный въ сборникъ Барсова. Онъ ведется отъ лица не вдовы, а сосѣдки, которая рассказываетъ сосѣдямъ, какъ было дѣло; этотъ чисто повѣствовательный пріемъ, при которомъ чувства вдовы доходятъ до васъ лишь черезъ личность рассказчицы и многое оставляется на долю вашего воображенія, сообщаетъ плачу захватывающій интересъ; по сдержанной силѣ и скрытому драматизму онъ производитъ впечатлѣніе художественной баллады или короткой поэмы изъ народной жизни. Необыкновенно выразительно самое начало плача. Подобно Гетевскому Фаусту, рассказъ открывается „Прологомъ въ небесахъ“.

Въ праздникъ, во время заутрени „Пресвятой Ильи пророкъ—свѣтъ Преподобный“ прилетаетъ ко Престолу Господнему и про-

силь у Господа позволенія пустить громовую стрѣлу въ одного крестьянина, беззаконія котораго возмущаютъ Илью-пророка: крестьянинъ не ходитъ въ церковь и не молится Богу „отъ желаньца“.

„О души своей крестьянинъ не спахается,
Да онъ въ тяжкихъ грѣхахъ попу не кается“.

„Владыко милосливый“ отвѣтилъ Ильѣ Громовному: „что ты хочешь, Илья — въ волюшку творишь“. Здѣсь какъ бы задерживается занавѣсъ; узелъ драмы завязанъ, судьба героя намѣчена, и рассказъ сразу переноситъ насъ въ деревню. Стоитъ „разливна красна веснушка“, начались сельскія работы, появились пахари на полѣ. Однажды утромъ выѣхалъ пахать и герой рассказа, „спорядный нашъ сусѣдушко“. Съ утра уже парило и не было ни малѣйшаго вѣтра, но потомъ какъ-то незамѣтно подкралась переменна: солнышко стало „тулиться“ за облака, и появилась темная „неспособная“, грозная туча. Приближеніе этой тучи и ея дѣйствіе на природу и людей прекрасно описаны въ плачѣ.

„На горы шла туча на высокія,
Горы съ этой тучи порастрескались,
Мелки камышки со страсти покатились.
Уже шла да грозная туча эта темная,
По лѣсамъ шла она да по дремучимъ:
Лѣса къ земли съ этой тучи приклонились,
По кбрешку они всѣ приломились;
Уже такъ шла грозная эта тученька,
Въ темномъ лѣсѣ дикі звѣри убоились,
По своимъ мѣстамъ звѣри убирались.
Становилась туча темная на синее море:
Синее море со дна все расходилось,
Страшно-ужасно тутъ море расшумѣлось,
Со луды камни оно тутъ вырывало,
Волной на берегъ оно да ихъ бросало;
Въ синемъ морѣ бѣлы рыбы убоились,
По своимъ станамъ рыбы разметались.
По селамъ пошла туча деревенскимъ;

Знать, деревнями то туча разгремѣлася,
Мать сыра-земля со грому надрожалася;
Съ тучи добрые дома да пошатилися,
Со чиста поля крестьяна убирались,
Во своихъ домахъ они да сохранялись.
Съ этой страсти крестьяна, съ перепѣлоху
Затопляли свѣщи да воску яраго,
Тутъ молили оны Бога отъ желаньца,
Оны кланялись въ матушку сыру землю:
„Спаси, Господи, вѣдь душъ да нашихъ грѣшныхъ...“

Одинъ нашъ герой остался въ полѣ и сталъ подъ кудряву деревиночку переждать грозу. Тутъ и застигла его „стрѣла Божія“: „Заразилъ — побилъ Илья-свѣтъ Преподобный, да онъ славнаго крестьянина могучаго“.

„Туча темная заразъ же уходилася,
Стрѣла-молнія заразъ же приукрылася,
Вдругъ поробспекло тутъ красно это солнышко“.

Дальше подробно и трогательно рассказываетя, какъ жена хватилася мужа и, обезпокоившись, побѣжала искать его въ поле, какъ она издали увидѣла свою лошадь; смирно стоитъ та, наклонивъ голову. Безпокойство несчастной женщины усилилось; она смотритъ кругомъ и видитъ невдалекѣ дерево, разбитое грозой въ щепу; бросилася туда:

„Какъ лежитъ ейна надѣжная головушка,
Бѣла грудь его стрѣлой этой прострѣлена,
Ретиво сердце все молвіей изорвано,
Бѣлы рученьки его да пораскинуты.
Задрожала тутъ побѣдная семеюшка (жена)
Испугалася надежной головушки“.

Вернувшись въ село, вдова объявила о своемъ горѣ. Тутъ съ чисто эпической наивностью прибавлено, что вдова надѣлала тревоги и хлопотъ всему обществу; къ мертвому тѣлу приставили ка-

рауль и послали за становымъ. Вторая половина плача обращена сосѣдкой къ вдовѣ. Тутъ мы все болѣе удаляемся отъ величаваго тона „Пролога въ небесахъ“ и отъ грандіозныхъ картинъ природы; дѣйствительная жизнь все болѣе вторгается въ рассказъ съ ея рѣзкой смѣсью прозы и поэзіи, высокихъ душевныхъ движеній съ практическими расчетами и соображеніями здраваго смысла, состраданія и безчувственности. Изъ какихъ-то не всякому понятныхъ побужденій, плакальщица, несомнѣнно сочувствующая горю семьи, словно хирургъ, вонзаетъ въ сердце вдовы такія рѣчи: должно быть, очень грѣшенъ былъ твоя милая надежная головушка, что его Богъ наказалъ и велѣлъ умереть безъ покаянія. Это вамъ, знать, за то, что вы плохо почитали праздники: всѣ, бывало, не работаютъ, а вы съ мужемъ все гнались за крестьянской работушкой. Дальше вопленица, какъ бы слѣдя за мыслями вдовы, развертываетъ передъ ней картину того, что произойдетъ теперь. Приѣдутъ—поетъ она—дохтура да славны лѣкари и судьи неправосудные, будутъ рѣзать на мелкіе кусочки твою надежную головушку, а у тебя отъ этого „обмирать станетъ зяблая утробушка“. Пѣвица подаетъ вдовѣ рядъ практическихъ совѣтовъ: не жалѣй имѣнья, бери одежду, скотину, заложил—продай крестьянину богатому, набери золотой казны и задаривай начальниковъ; проси смѣлешенько, съ великой обидушкой и горячими слезами, чтобы „придали къ матушкѣ сырой землѣ тѣлеса то бы его да безъ терзанія“. Практическая сосѣдка прибавляетъ:

„Ты сули имъ золотой казны по надобью,
Въ потай сули, безъ добрыхъ ты безъ людושекъ“.

Но мысли вдовы (а съ ней и плакальщицы) идутъ далѣе перваго страшнаго момента и первыхъ хлопотъ и терзаній. Каково будетъ ей жить въ будущемъ? Плакальщица сулитъ ей не радостное житье: у тебя остановится вся крестьянская работа, разорится и запустѣетъ хозяйство, ты будешь слыть бобылочкой-сиротиночкой; вездѣ, и на полѣ, и въ лугу вспомнишь ты мужа и залъешься слезами. Но смотри, не входи въ отчаянную тоску-кручинушку, не забудь и о своей головѣ, поминай почаще въ церкви умершаго

и тебѣ станетъ легче. — Такъ кончается этотъ выдающійся по художественности плачъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Олонецкой губ. очень многія женщины въ минуты сильнаго горя и сейчасъ создаютъ новыя заплачки или по крайней мѣрѣ примѣняютъ къ своимъ обстоятельствамъ извѣстный раньше текстъ причитанья. Извѣстный собиратель Рыбниковъ записалъ въ 60-хъ годахъ въ Олонецкой губ. отъ одной дѣвушки причитанье, созданное ею по поводу смерти ея двоюроднаго брата: вся семья оплакивала умершаго, но скорбь этой дѣвушки вылилась съ такой силой и свѣжестью, что ея заплачка тотчасъ же получила извѣстность, была перенята другими женщинами и поется теперь ими, когда ихъ постигаетъ подобное горе. — Хорошей вопленицей несомнѣнно можетъ быть только выдающаяся натура, сердечная и въ то же время одаренная художественнымъ чутьемъ. Такова именно была Ирина Федосова, которая пѣла въ Петрозаводскѣ собирателю Барсову свои плачи. Вотъ ея портретъ. „Невзрачная на видъ, небольшого роста, 50 лѣтняя женщина, сѣдая и хромая, но съ богатыми силами души и въ высшей степени поэтическимъ настроеніемъ; рѣчь у нея живая и бойкая: то и дѣло льются съ языка пословицы и поговорки. 13 лѣтъ она была уже вопленицей, извѣстной по всему Заонежью. Вотъ ея рассказы о самой себѣ: „Родители мои были прожиточные и степенные; мать — бойкая, на 22 души пекла и варила и вездѣ поспѣла, не рыкнула, не зыкнула, отецъ рьяной — буде прокричалъ, а сердце въ не было. Я была сурова; по крестьянству куды какая: колотила, молотила, вѣяла и убирала; 8 лѣтъ знала, на какую полосу сколько сѣять, 6 лѣтъ на ухожъ лошадь гоняла и съ ухोजа домой пригоняла; разъ лошадь сплеснулась, я пала, съ тѣхъ поръ до теперь хрома. Я грамотой не грамотна, за то памятью я памятна, гдѣ што слышала, пришла домой, все рассказала, будто въ книгѣ затвердила, пѣсню ли, сказку ли, старину ли какую. Шутить была мастерица, шутками, да дурками всѣхъ расшевелю. Имя мнѣ было съ изотчиной, грубнаго слова не слыхала: бѣдный сказать не смѣлъ, богатого сама обожгу. Стали меня люди знать и къ себѣ приглашать — свадьбы играть и мертвымъ честь отдавать“. Съ младости ей честь и мѣсто въ большомъ углу; на свадьбахъ ли пѣсню за-

БИБЛИОТЕКА
 Высшей Партийной школы
 при ИК ВКП(б)
 № 130886

поеть—старики заплашутъ, на похоронахъ ли завопить — каменный заплачетъ — голосъ былъ такой вольный и нѣжный“. Ирина представляетъ необыкновенно привлекательный типъ русской женщины, соединяющей глубину чувства и горячую нѣжность съ энергией и самостоятельностью характера, а дѣловитость и здравый житейскій смыслъ съ какимъ то поэтическимъ настроеніемъ, сообщающимъ печать художественной красоты всякому проявленію этой богатой натуры. Такой именно типъ, очевидно, носился передъ глазами Некрасова, когда онъ рисовалъ свою Дарью въ „Морозѣ“, а особенно Матрену, такъ назыв. губернаторшу, въ поэмѣ „Кому на Руси жить хорошо“. Здѣсь кстати будетъ сказать, что вся послѣдняя поэма насквозь пропитана народной поэзіей, а рассказъ Матрены о своемъ замужествѣ и о потерѣ сына Демущки построенъ на Олонекскихъ заплачкахъ и наиболѣе сильныя мѣста цѣликомъ взяты изъ причитаній. Съ подобнымъ фактомъ мы встрѣчаемся въ поэзіи различныхъ народовъ: вездѣ поэты-художники пользуются народнымъ творчествомъ для своихъ произведеній.

130886

II.

Переходимъ къ другимъ разрядамъ пѣвцовъ, хранителей народного духовнаго богатства—къ тѣмъ, у которыхъ это дѣло составляетъ болѣе или менѣе постоянную профессію. Они обыкновенно кормятся этимъ, такъ какъ не могутъ жить крестьянскимъ трудомъ: большинство ихъ—слѣпцы. Это—современные остатки древнихъ „каликъ-перехожицъ“, путешественниковъ по святымъ мѣстамъ, стоявшихъ издревле близко къ религіи, къ церкви и во имя ея пропитывавшихся. Они главнымъ образомъ служили, а отчасти и теперь служатъ, религіозно-нравственнымъ потребностямъ народа. Поэтому они обладаютъ совершенно особымъ запасомъ народныхъ произведеній — поютъ духовные стихи, псалмы и кантычки. Они распространены по всей Руси и носятъ различныя названія въ разныхъ мѣстностяхъ. На сѣверѣ ихъ зовутъ древнимъ именемъ „каликъ“, въ Бѣлоруссіи и Южной Россіи—общимъ именемъ „старцы“, такъ что слѣпой (или даже зрячій) нищій, будь онъ молодой, даже

Десять газетных
 Центральные
 № 130886
 при ИК ВКП(б)

Центральные Книжные
 Библиотека
 Родченков

ребенокъ, называется „старецъ“ или „старчикъ“. Тамъ, гдѣ они сопровождаютъ свое пѣніе игрой, ихъ зовутъ по ихъ инструментамъ лирниками, кобзарями, бандуристами.

Весь этотъ людъ составляетъ нѣчто отдѣльное отъ остальнаго населенія. Горькая необходимость скитаться по міру за кускомъ хлѣба, а затѣмъ самая ихъ слѣпота создаетъ имъ особое положеніе среди народа и способствуетъ развитію у нихъ своихъ особыхъ взглядовъ, привычекъ;—напр. въ иныхъ мѣстахъ они имѣютъ особый „старецкій“ языкъ, свои сборища и свои суды, своихъ старость и т. д. Необходимо отличать каликъ-пѣвцовъ отъ простыхъ нищихъ. Эти послѣдніе, особенно тѣ, которые нищенствуютъ постоянно, еще болѣе оторваны отъ остальнаго міра, не принимаютъ никакого участія въ жизни народа и не оказываютъ на него духовнаго вліянія; вся ихъ связь съ населеніемъ ограничивается милостыней и ночлегомъ. Такое фальшивое положеніе профессиональныхъ нищихъ нерѣдко развиваетъ въ нихъ антипатичныя стороны. Такіе нищіе больше всего держатся около городовъ, желѣзныхъ дорогъ, торговыхъ и промышленныхъ центровъ; чѣмъ глуше мѣстность и тише жизнь, тѣмъ ихъ меньше, такъ какъ среди населенія, трудящагося съ утра до вечера сообща на одной и той же работѣ, гдѣ жизнь каждаго на глазахъ у всѣхъ, ихъ фальшивое положеніе ярко бьетъ въ глаза, и они встрѣтятъ мало сочувствія и поддержки. Я буду говорить лишь о нищихъ-пѣвцахъ, которые тоже кормятся подаеніемъ, но платятъ за него духовнымъ своимъ богатствомъ, цѣну котораго народъ прекрасно понимаетъ и относится къ носителямъ этого богатства иногда очень расположено. Нашъ труженикъ-народъ привыкъ трудомъ измѣрять цѣну чело-вѣка, поэтому очень важно, что большинство такихъ пѣвцовъ—слѣпцы: невозможность работать искупаютъ въ глазахъ народа невольный грѣхъ жизни на счетъ другихъ. При томъ въ болѣе или менѣе глухихъ мѣстахъ, которыя я все время буду имѣть въ виду, „старецъ“ нерѣдко соединяетъ свое занятіе съ крестьянствомъ: я знаю въ Бѣлоруссіи такого слѣпца, который имѣетъ землю; семья его занимается хозяйствомъ, онъ самъ работаетъ все, что можетъ, и лѣтомъ почти совсѣмъ оставляетъ свое старецкое дѣло, а зимой въ подспорье хозяйству надѣваетъ за спину торбу, а черезъ плечо

лиру и идетъ къ добрымъ людямъ. Этотъ слѣпецъ среди своихъ односельчанъ равный имъ человекъ, онъ даже выше ихъ своими талантами, поэтому въ праздникъ они идутъ къ нему въ хату послушать „божественнаго“; онъ дорогой гость и на пирушкѣ, гдѣ его лира издаетъ уже веселые звуки.

Значеніе такого пѣвца въ народной жизни также разнообразно, какъ разнообразенъ его репертуаръ. Въ Бѣлоруссіи на „кирмашахъ“, т. е. церковныхъ праздникахъ, соединенныхъ обыкновенно съ ярмаркой, куда стекаются старцы и лирники со всей округи, народъ послѣ церковной службы охотно обступаетъ ихъ и слушаетъ пѣніе. Обыкновенно имъ заказываютъ помянуть „сродниковъ“; получивъ такой заказъ, „старецъ“ поетъ и читаетъ въ установленномъ порядкѣ рядъ церковныхъ молитвъ, перечисляетъ сродниковъ, имена которыхъ ему диктуетъ заказавшій, и получаетъ плату. Одинъ писатель вѣрно объясняетъ происхожденіе этого обычая: „Церковное богослуженіе въ эти дни слишкомъ общественно, и крестьянинъ считаетъ, что лично на его долю, долю умершихъ сродниковъ, изъ общей молитвы приходится очень немного, тѣмъ болѣе, что въ такой выдающійся день онъ не слышалъ поименного помина. Этотъ пробѣлъ восполняютъ для него старцы“. Старцовъ иногда приглашаютъ въ дома нарочно (или пользуются случаемъ, когда старецъ зайдетъ за подаваемъ) и заказываютъ имъ помолиться о той или другой надобности; у старцевъ есть молитвы о здравіи, объ урожаѣ хлѣба и о плодovitости скота и т. п. Нужно замѣтить, что большинство такихъ „спѣвовъ“ народнаго происхожденія, слѣдовательно, вполне близки и знакомы крестьянину. Вотъ почему населеніе такъ охотно обращается къ старцамъ всякій разъ, когда чувствуетъ потребность въ религіи, такъ сказать, въ своемъ домашнемъ обиходѣ. Духовные стихи, распѣваемые старцами и лирниками подъ музыку, отвѣчаютъ болѣе крупнымъ идеальнымъ запросамъ народной души. Стихъ о Лазарѣ настраиваетъ крестьянина сочувственно къ бѣднымъ, стихи о Егоріи или Алексѣѣ Божьемъ человекѣ, объ отшельникѣ Асахвіи-царевичѣ, о страшномъ судѣ будятъ въ немъ мысли о духовныхъ подвигахъ, о нравственномъ самопожертвованіи, о воздаяніи по дѣламъ, о будущей жизни. Все это отрываетъ крестьянина отъ дѣйствительности, часто тя-

желой, несправедливой или слишком грубой и огрубляющей; все это дает ему нравственный отдых и утѣшеніе и сообщает нѣкоторый идеальный порывъ его душѣ, задавленной неизбѣжными матеріальными заботами. И крестьянинъ отходитъ отъ старца съ чувствомъ благодарности, чувствуя, что онъ не просто подалъ ему Христа ради, но и отъ него самъ получилъ нѣчто такое, чего подчасъ жаждетъ его душа, но не находитъ въ ежедневной жизни.

Лирикъ знаетъ и народныя лирическія пѣсни; въ хатѣ передъ собравшимися провести свободное время сосѣдами онъ споетъ подъ незатѣйливые звуки своего инструмента и рекрутскую пѣсню, при чемъ растрогаетъ до слезъ молодую солдатку, съумѣетъ и развеселить юмористической пѣсней про двухъ неудачниковъ Хому и Ерому, да еще ухитрится между строкой бросить по ихъ адресу мѣткое словцо, немедленно покрытое дружнымъ хохотомъ публики. Такъ разнообразна и богата духовная пища, предлагаемая имъ народу. Что же мудренаго, что лучшіе представители этого люда очень любимы и уважаемы народомъ.

А какое значеніе имѣли еще въ недавнемъ прошломъ въ Малороссіи исчезающіе теперь бандуристы и кобзари, которые пѣли историческія казачкія думы, гдѣ глубоко памятные народу событія казачества, полныя яркихъ чертъ, и скорбныхъ, и героическихъ, выступаютъ въ прочувствованныхъ художественныхъ образахъ на фонѣ чудной украинской природы, той степи, которую такъ любить малороссъ.

Въ 70-хъ годахъ въ Петербургѣ пѣлъ публично старый кобзарь Остапъ Вересай, со словъ котораго тогда же была записана его біографія. Тамъ онъ говоритъ между прочимъ, какъ онъ самъ понимаетъ роль свою и своихъ пѣсенъ въ жизни людей. Разъ онъ разсердился на одного казака: „я співаю, а винъ каже: „та це усе не одъ Бога сказано, — люди повыдумливали, а ви, дурни, слухаете, та ще и милостыню даєте!“—Якъ згадаю, такъ сердце и кипить,—здається убивъ би его: одъ кого же якъ не отъ Господа Іисуса Христа? Якъ то сказано, чога винъ сходивъ на землю? А то такъ сказано, що сходивъ винъ, щобъ у царство небесное насъ привлекти *и одъ мукъ ослобонити*“. Такимъ образомъ Вересай считаетъ, что пѣснями онъ облегчаетъ горе людямъ, вообще оказы-

ваетъ на нихъ нравственное воздѣйствіе. Онъ продолжаетъ: (перевожу по русски) „если гдѣ сынъ пошелъ въ службу, или зять вдову бѣдную не уважаетъ, такъ какъ заиграешь имъ про это самое, и по-



Кобзарь ОСТАПЪ ВЕРЕСАЙ.

лѣзетъ имъ въ голову, всѣ и заплачутъ кругомъ: и сынъ плачетъ, и молодухи, и дѣвицы, а больше всего вдова—такъ и залется“. Съ такимъ свидѣтельствомъ самого кобзаря о себѣ вполне согласуется все то, что мы знаемъ изъ другихъ источниковъ о народномъ пѣвцѣ въ Малороссіи. Вездѣ кобзарь является съ одними и

тѣми типическими чертами — добродушнаго, некорыстолюбиваго, правдиваго старика, сердечно живущаго и горемъ, и радостями своего народа.

Перелистайте „Кобзаря“ Шевченко, посмотрите, какое видное мѣсто занимаетъ въ этомъ сборникѣ фигура „сиваго дида“ съ его кобзой и негромкимъ задумчивымъ пѣніемъ.

Шевченко прекрасно обрисовалъ роль кобзаря въ малорусской деревнѣ и его типъ въ стихотвореніи „Перебендя“.

Перебендя, — старый, хилый, —
Кто его не знаетъ?
Онъ шатается повсюду
Съ кобзой, да играетъ,
А того, кто имъ играетъ.
Люди уважаютъ:
Самъ кручинится, а людямъ
Горе разгоняетъ.
.

Репертуаръ его разнообразенъ; онъ знаетъ кому, что слѣдуетъ пѣть:

Въ полѣ съ дѣвками — поетъ имъ
„Гриця“ да „Веснянку“
Въ кабацѣ-же съ молодцами —
„Сербына“, „Шинкарку“;
Съ молодцами на свадьбѣ —
(Гдѣ свекруха злая) —
Про „Тополю“, „Злую долю“,
А потомъ — „У гаю“.
На базарѣ — „Лазарь“ — пѣсню,
Аль, чтобъ люди знали,
Запоетъ, какъ Сѣчь родную
Войски разоряли.

Кобзарь — желанный гость въ деревнѣ, особенно для молодаго населенія; оно и задумается подъ его пѣсню о славныхъ прошлыхъ

дняхъ казачества, и уронить слезинку объ несчастной дивчинѣ или паробкѣ, которымъ не задалась счастливая доля; оно же и весело спляшетъ „Горлицу“ подъ веселую пѣсню дѣда, умѣющаго извлекать и удалые звуки изъ своей кобзы. Сцена встрѣчи кобзаря въ селѣ хорошо изображена у Шевченко въ отрывкѣ поэмы „Черныця Марьяна“.

Вообще народная поэзія, разносимая кобзарями, играла до послѣдняго времени большую роль въ Малороссіи. Самыя стихотворенія Шевченки зачастую навѣяны народными пѣснями и почти всѣ безъ исключенія задуманы и созданы въ народномъ стилѣ. И Шевченко — не исключеніе въ данномъ случаѣ.

Достаточно сказать, что великій художникъ нашъ Гоголь создалъ всего своего Тараса Бульбу изъ малороссійскихъ народныхъ пѣсенъ и думъ, откуда многія мѣста цѣликомъ перенесены въ эту героическую поэму, составляя въ ней лучшія красоты. Вотъ одно изъ такихъ мѣстъ.

„И всѣ казаки до послѣдняго выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли казаки, поднявши руки, и сильно задумались они.

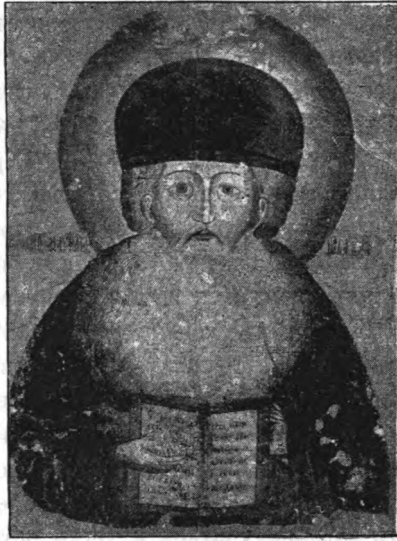
Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдаль судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро омывшись казацкой ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями; далече раскинутся чубатые головы съ перекрученными и запекшимися въ крови чубами и запущенными книзу усами, будутъ, налетѣвъ, орлы выдирать и выдергивать изъ нихъ казацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ нощлежѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло, и не пропадетъ, какъ малая порошокъ, съ ружейнаго дула, казацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ съ сѣдою по грудь бороною, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ свое густое, лучшее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о нихъ, ибо далеко разносится могучее слово“ *).

*) Вотъ для сравненія въ переводѣ нѣсколько мѣстъ изъ малороссійской

„Это могучее слово“ и есть народная поэзія, въ которую народъ вложилъ всю свою славу, всѣ великодушныя дѣла своего прошлаго, всѣ пережитыя имъ сердечныя движенія. Его бандуристы и другіе пѣвцы служатъ ему неотдѣненную службу: они связываютъ жизнь каждаго поколѣнія со всѣмъ историческимъ прошлымъ народа, питаютъ и поддерживаютъ въ немъ духовныя интересы и, что особенно дорого, дѣйствуютъ всего болѣе именно въ такихъ мѣстахъ нашей родины, гдѣ еще не сіяетъ могучій свѣтъ грамотности, школы, образованія.



думы о походѣ противъ поляковъ (по сборнику Максимовича): „Вотъ пошли казаки на четыре поля.... Что однимъ полемъ пошелъ Самко Мушкетъ... Самко Мушкетъ думаетъ-гадаетъ, говоритъ словами: а что какъ наши головы казацкія молодецкія по степи-полю полягутъ, да еще и родной кровью омотаются, расколотыя саблями покроются?.. Пропадетъ, какъ порошина съ дула, та казацкая слава, что по всему свѣту дыбомъ встала—что по всему свѣту степью разлеглась, протянулась... Закричитъ воронъ, степью летучи, заплачетъ кукушка, лѣсомъ скачучи, закуркуютъ сизые кречеты, задумаются сизые орлы—и все, и все по своимъ братьяхъ, по буйныхъ товарищахъ казакахъ... А вотъ кости лежатъ, сабли торчатъ, кости хрустятъ, расколотыя сабли бренчатъ... А головы казацкія—словно швецъ Семеньъ шкуру потерялъ! А чубы—словно чертъ жгуты повилъ: въ крови всѣ засохли: за то и славы набрались!“



МАКСИМЪ ГРЕКЪ *).

I.

Во второй половинѣ XV вѣка уже все пространство земель бывшей Византійской Имперіи было въ рукахъ турокъ. Униженная, порабощенная и разоренная страна утратила въ это время послѣдніе остатки образованности: руки дикихъ пришельцевъ, не щадившихъ храмовъ, коснулись и школъ, и библиотекъ. Въ такое тяжелое для Греціи время въ албанскомъ городѣ Артѣ (около 1480 года) родился Максимъ Грекъ. Родители его, Мануиль и Ирина, были знатнаго происхожденія (одно сказаніе о Максимѣ называетъ его воеводскимъ сыномъ). Но воспитаніе ребенка при тогдашнихъ бѣдственныхъ обстоятельствахъ страны не могло быть обставлено всѣми необходимыми для того средствами. Поэтому-то первое воспитаніе

*) Изображеніе печатается впервые, съ рѣдкаго оригинала, принадлежащаго Императорскому Историческому музею и любезно предоставленнаго г. Директоромъ Музея, И. Е. Забѣлинымъ.

Максима, по словамъ его біографа, было благочестивое, но скудное, и впечатлѣнія ранняго дѣтства крайне тяжелыя.

Въ то самое время, какъ въ Греціи, по замѣчанію самого Максима, „науки угасли“, Италія, на рубежѣ двухъ столѣтій—XV и XVI, представляетъ почти единственную въ Европѣ страну, гдѣ кипитъ умственная дѣятельность. Здѣсь еще гораздо ранѣе изъ весьма естественнаго сочувствія къ своему прошлому развился интересъ къ изученію классической древности и началось такъ-называемое Возрожденіе древнихъ наукъ и искусствъ. Въ XV вѣкѣ эта умственная дѣятельность усиливается, и Италія становится школою для Европы. Сюда начинаютъ эмигрировать ученые греки и встрѣчаютъ радушный пріемъ; сюда же стремятся и греческіе юноши, ищущіе образованія. Въ числѣ послѣднихъ отправился и Максимъ. Какъ сынъ знатныхъ родителей и при томъ людей образованныхъ (сказаніе ихъ называетъ „философами“), онъ могъ довольно рано почувствовать желаніе учиться и легко осуществить его.

Въ итальянскомъ образованіи господствовало въ то время филологическое направленіе. Многіе итальянскіе университеты открываютъ кафедры греческаго языка; любовь къ литературамъ, древнегреческой и римской, порождаетъ желаніе собирать древнія рукописи и устраивать роскошныя бібліотеки. Знатные и богатые люди Италіи соперничаютъ другъ съ другомъ въ меценатствѣ. Древняя языческая философія находитъ своихъ покровителей и почитателей, которые ведутъ жаркіе споры о преимуществахъ Платона или Аристотеля, предпринимаютъ попытки къ соглашенію ихъ ученій.

Максимъ, по свѣдѣніямъ его біографовъ, занимался главнымъ образомъ изученіемъ древнихъ памятниковъ своего языка. Впослѣдствіи онъ называлъ древнихъ эллинскихъ писателей своими первыми учителями и иногда ссылался на нихъ въ своихъ сочиненіяхъ. Извѣстно также, что въ Венеціи онъ находился въ близкихъ отношеніяхъ къ знаменитому тамошнему ученому и издателю, Альду Мануччи и здѣсь основательно изучилъ латинскій языкъ. Альдъ, по словамъ Максима, „грамотѣ и по-римски, и по-гречески добрѣ гораздо“. Максимъ „часто хаживалъ къ нему книжнымъ дѣломъ“. Въ это время, говоритъ біографъ, Альдъ печаталъ Аристотеля и свой первый опытъ латино-греческаго словаря; вліяніе послѣдняго

труда отразилось въ литературной дѣятельности Максима, въ его „Толкованіяхъ личныхъ именъ“, вошедшихъ потомъ въ наши Азбуковники. Здѣсь же, въ Венеціи онъ учился, какъ полагаютъ позднѣйшіе биографы, у своего знаменитаго соотечественника Іоанна Ласкариса. Занятія языческой философіей не особенно, кажется, привлекали юнаго Максима. По его собственнымъ словамъ, онъ „не довольно пребывалъ даже въ преддверіи ея“, и впослѣдствіи не любилъ, когда его называли философомъ. Однако есть основаніе думать, что во время своего пребыванія въ Италіи, когда онъ былъ еще очень молодымъ человѣкомъ и ходилъ „въ мірскихъ платьяхъ“, онъ не чуждъ былъ увлеченія древними философами и о многомъ думалъ и разсуждалъ не такъ, какъ впослѣдствіи, когда сдѣлался монахомъ. Онъ и самъ признавался въ томъ позднѣе, въ своихъ сочиненіяхъ. Изъ древнихъ философовъ онъ предпочиталъ предъ Аристотелемъ возвышеннаго Платона, идеализмъ котораго былъ, вѣроятно, ближе благочестивому настроенію юноши Максима. Но это увлеченіе, какъ видно, было непродолжительно и не сильно. Воспитанному въ духъ греческаго православія Максиму многое не нравилось въ Италіи, и онъ векорѣ охладѣлъ къ тому направленію, которое приняло итальянское возрожденіе.

Въ самомъ дѣлѣ, на свѣтломъ фонѣ картины умственнаго оживленія Италіи было не мало темныхъ пятенъ. Политическая неурядица въ разбитой на мелкія отдѣльныя государства странѣ дошла до крайнихъ предѣловъ; безнравственность общества и представителей власти какъ свѣтской, такъ и духовной была почти безпримѣрна. Въ такое тяжелое время весьма естественно было отыскивать идеалы въ своемъ отдаленномъ, но славномъ прошломъ. Жизнь древнихъ стала представляться въ свѣтлыхъ заманчивыхъ образахъ. Все въ ней казалось совершеннымъ и достойнымъ подражанія. Даже нѣкоторые пороки и злодѣянія находили оправданіе въ примѣрахъ изъ жизни древнихъ. Христіанская религія потеряла свою цѣну; распространилось невѣріе. И этому не мало способствовало то обстоятельство, что христіанское ученіе утратило свою первоначальную чистоту: безнравственное духовенство изуродовало его въ своихъ интересахъ. На ряду съ безвѣріемъ легко прививались самыя нелѣпыя суевѣрія, отъ которыхъ не были свободны даже

люди образованные. Всѣ прониклись вѣрою въ слѣпой рокъ. Появилось множество книгъ о судьбѣ, въ которыхъ проводились мысли о колесѣ счастья, о томъ, что все въ этомъ мѣрѣ непрочно, все случайно. Астрологія древнихъ стала пользоваться уваженіемъ; стали вѣрить, что мѣръ управляется движеніемъ и вліяніемъ звѣздъ.

Такое направленіе, конечно, должно было возмутить благочестиваго греческаго юношу и въ значительной степени умѣрить его увлеченіе древними классиками. Къ этому присоединилось еще вліяніе пламенныхъ проповѣдей Іеронима Савонаролы, искоренившихъ послѣдніе остатки молодыхъ увлеченій языческою древностью.

Въ сочиненіяхъ Максима Грека, написанныхъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, во время пребыванія его въ Россіи, разсѣяно множество воспоминаній изъ жизни за-границею. Но изъ всего того, чему онъ былъ „слышатель“ и „самовидецъ“ въ Италіи, самое сильное впечатлѣніе произвела на него проповѣдь и дѣятельность Савонаролы. Максимъ прожилъ пять лѣтъ во Флоренціи, въ этой столицѣ итальянскаго возрожденія, гдѣ, благодаря покровительству извѣстныхъ Козьмы и Лоренцо Медичи, были собраны знаменитые ученые и писатели того времени и гдѣ дѣйствовалъ знаменитый проповѣдникъ. Максимъ зналъ смѣлаго и даровитаго Іеронима, который, видя всеобщее развращеніе нравовъ, „жегомый божественною ревностью“, началъ во имя Христовой любви грозную обличительную проповѣдь противъ общественныхъ пороковъ. Максимъ видѣлъ изумительное дѣйствіе рѣчей Савонаролы на флорентійцевъ, которые подъ вліяніемъ ихъ отказались отъ прежняго образа жизни. На его глазахъ горѣли костры, сложенные изъ предметовъ роскоши, и пышная, веселая столица Медичи приняла видъ большаго монастыря, гдѣ вмѣсто веселыхъ пѣсенъ раздавались только духовные гимны и плачь женщинъ и стариковъ. Онъ былъ свидѣтелемъ переворота, изумившаго всю Европу, произведеннаго скромнымъ монахомъ и притомъ одною духовною силою, силою слова, и самъ не могъ не подчиниться этой силѣ. Четыре года господствовалъ Савонарола въ своей теократической республикѣ. Слѣды впечатлѣній отъ флорентійскихъ событій сохранились на всю жизнь въ душѣ Максима. Его „Повѣсть страшна и достопамятна“, написанная въ Россіи много лѣтъ спустя, исполнена многихъ интересныхъ подробностей изъ жизни Іе-

ронима и чувства благоговѣнія къ священному иноку. Этотъ инокъ, по словамъ Максима, „преполонъ всякія премудрости — и разума богодохновенныхъ писаній и вѣшняго наказанія, сирѣчь философіи, подвижникъ презлѣнъ и божественною ревностью довольно украшаемъ“. Изображая силу „богодохновенныхъ ученій“ его, Максимъ передаетъ интересный разсказъ, свидѣтельствующій о нравственномъ вліяніи знаменитаго проповѣдника на общество. „Сынъ одной убогой флорентійской вдовицы нашель на улицѣ мѣшокъ съ пятью стами золотыхъ. Онъ отнесъ его своей матери, а она не возрадовалась тому, что такой находкой можно избыть свою нужду, и не скрыла мѣшокъ у себя, а отнесла къ священному учителю и сказала: видишь, учитель, мошну, которую нашель мой сынъ; возьми и возврати потерявшему, чтобъ онъ не скорбѣлъ объ этомъ. Удивился Савонарола правдолюбивому праву вдовы и, благословивъ, отпустилъ ее. Въ одинъ день, по окончаніи поученія во храмѣ, онъ возопилъ: если кто потерялъ какое имущество, выдь на середину и скажи количество потеряннаго и опиши мѣшокъ, и день, когда потерялъ ты, назови, и получишь свое. И потерявшій вышелъ и сказалъ, когда онъ потерялъ и сколько, и описалъ мѣшокъ. Возвращая мѣшокъ, Савонарола сказалъ ему: возьми, юноша, свое и утѣшь убогую вдовицу, какъ произволяешь, ибо избавила она тебя отъ большой скорби. Тотъ далъ ей сто золотыхъ съ большою радостію. „Вдову сію, прибавляетъ Максимъ, сравнить можно со вдовою, хвалимой въ евангеліи ради двухъ лептъ, ибо та въ своемъ маломъ показала боголюбіе, а эта въ чужомъ и многомъ свое правдолюбіе и человѣколюбіе“. Далѣе онъ разсказываетъ о томъ, какія грустныя оскорбленія приходилось переносить проповѣднику отъ противившихся его ученію, и какое онъ проявлялъ „долготерпѣніе и Спасову кротость“ къ врагамъ своимъ, желая одного— всеобщаго спасенія. Съ глубокимъ чувствомъ говорить онъ о томъ безстрашии, съ которымъ обличалъ Иеронимъ развращенное римское духовенство и самого папу. Съ негодованіемъ передаетъ разсказъ о коварныхъ дѣйствіяхъ римскаго первосвященника, о несправедливыхъ обвиненіяхъ, которыя взведены были на неповиннаго проповѣдника. Сказавъ наконецъ о трагической кончинѣ Савонаролы и двухъ священныхъ мужей, раздѣлившихъ съ

нимъ ту же участь, Максимъ сравниваетъ погибшихъ съ древними защитниками благочестія. Но опасаясь обвиненія въ пристрастіи къ латинской вѣрѣ, считавшейся на Руси и „проклятой“, и „поганой“, онъ осторожно прибавляетъ: „все это я пишу не для того, чтобы показать, что латинская вѣра чиста, совершенна, но чтобы показать православнымъ, что и у не правомудренныхъ латинянъ есть забота и прилежаніе евангельскихъ спасительныхъ заповѣдей и ревность за вѣру, хотя и не по совершенному разуму“.

Благоговѣйное удивленіе передъ героизмомъ знаменитаго проповѣдника и то живое сочувствіе ко всей его дѣятельности, которыя сквозятъ чуть ли не въ каждомъ словѣ „Повѣсти страшной и достопамятной“, ясно говорятъ намъ о силѣ нравственнаго вліянія Савонаролы на Максима. Нѣтъ сомнѣнія, что дальнѣйшая судьба его рѣшена была здѣсь, во Флоренціи, подъ впечатлѣніемъ флорентійскихъ событій. Сѣмена благочестія, заброшенная въ его душу родительскою рукою въ раннемъ дѣтствѣ, пышно возросли подъ благопріятствовавшимъ небомъ Флоренціи и принесли плодъ: аскетическій идеалъ въ этой душѣ уже созрѣлъ. О совершившемся въ немъ нравственномъ переломѣ, въ силу котораго онъ окончательно охладѣлъ къ суетной грѣховной жизни міра, онъ говоритъ впоследствии въ религіозномъ духѣ, приписывая его милосердію пекущагося о спасеніи всѣхъ Бога, который, сжалившись надъ нимъ, озарилъ его мысль и избавилъ отъ гибели вмѣстѣ съ тамошними „предстателями нечестія“. Одинъ изъ біографовъ Максима дѣлаетъ весьма вѣроятное предположеніе, что „религіозное созерцаніе и мистицизмъ рано стали господствующею чертою его характера“. Такимъ образомъ, поступленіе его въ монастырь, совершившееся вскорѣ по возвращеніи изъ Италіи, объясняется и вышеизложенными обстоятельствами его жизни, и его характеромъ.

Но, какъ человѣкъ образованный, онъ, по словамъ біографа, искалъ такой обители, гдѣ можно было бы предаваться не однимъ иноческимъ подвигамъ, но и занятіямъ умственнымъ. Монастыри Аѳона, издавна славившіеся своимъ книжнымъ богатствомъ, болѣе всего привлекали его вниманіе. Изъ нихъ онъ выбралъ обитель Ватопедскую, которая была богаче всѣхъ другихъ обителей Аѳона книгами.

Здѣсь въ теченіе десяти лѣтъ онъ пріобрѣлъ очень обширныя

свѣдѣнія по церковной литературѣ и усвоилъ окончательно аскетическій взглядъ на свѣтскую науку. Слѣдуя Іоанну Дамаскину, по мнѣнію котораго истину можно познавать только смиреніемъ, а не „пестрыми умышленіями внѣшней мудрости“, Максимъ началъ называть науку „рабынею богословія“, „внѣшней мудростью“, а пытливый разумъ — „лжеименнымъ“. „Словеса внѣшнихъ мудрецовъ“ допускается изучать только потому, что и въ нихъ можно, по его мнѣнію, найти душеполезное. Однако, несмотря на то, что онъ глубоко проникся взглядами Дамаскина и подобныхъ ему писателей византійскихъ, не смотря на десятилѣтнее пребываніе въ монастырѣ, въ немъ все-таки остались слѣды европейскаго образованія, не допустившіе его сдѣлаться врагомъ и гонителемъ просвѣщенія. Какъ увидимъ впослѣдствіи, въ немъ очень часто изъ подъ монашеской религіозной исключительности выказывался умный и просвѣщенный человѣкъ, который признавалъ за образованіемъ нравственное и общественное значеніе. Можетъ быть, русское невѣжество и связанное съ нимъ огрубѣніе нравовъ, съ которыми ему суждено было встрѣтиться въ Россіи, убѣдительно все подѣйствовали на Максима въ этомъ направленіи.

Находясь въ обители Ватопеда, кромѣ книжныхъ трудовъ, онъ совершалъ и другіе труды, лежавшіе на обязанности аѳонскаго инока: былъ посылаемъ, по его же словамъ, „по милостыню“ и „свѣтло проповѣдывалъ православную вѣру“.

Въ 1515 году на Аѳонъ пришло письмо отъ великаго князя московскаго Василя Ивановича съ просьбою прислать съ посланными его Василемъ Копыломъ и Иваномъ Варавинымъ „изъ Ватопеды монастыря старца Саву, переводчика книжново на время, а тѣмъ бо есте намъ послужили, а мы *оужь дастъ Богъ, его пожиловавъ, опять къ вамъ отпустимъ.*“ Но старецъ Савва былъ уже такъ дряхлъ, что не могъ выдержать далекаго путешествія, и потому, вмѣсто него, братія рѣшила послать инока Максима, „свѣдущаго въ божественномъ писаніи и способнаго къ изъясненію и переводу всякихъ книгъ...“ Максимъ совсѣмъ не зналъ ни русскаго, ни церковно-славянскаго языковъ, но его филологическое образованіе и выдающіяся способности позволяли надѣяться аѳонской братіи, что онъ „и русскому языку борзо (скоро) навькнетъ“.

Вмѣстѣ съ нимъ отправили еще грека, болгарина и русскаго, можетъ быть, въ томъ предположеніи, что они будутъ помощниками Максиму при переводѣ, а, можетъ быть, и просто за милостынею. Патріархъ константинопольскій также принималъ участіе въ выборѣ переводчика, но у него были свои особыя соображенія. Максимъ былъ человѣкъ образованный, хорошо зналъ положеніе церковныхъ дѣлъ на западѣ, отличался горячимъ патріотизмомъ и поэтому, по мнѣнію патріарха, болѣе, чѣмъ кто-либо другой, годился для представительства и защиты въ Москвѣ интересовъ византійскихъ. Въ своемъ письмѣ къ митрополиту московскому Варлааму, патріархъ Теолиптъ, изобразивъ бѣдственное положеніе греческой церкви, проситъ „поспѣшить ей на помощь дѣломъ и словомъ“. Максимъ, какъ увидимъ, не обманулъ ожиданій Теолипта и горячо отстаивалъ и политическіе, и церковные интересы своей родины во время пребыванія въ Москвѣ.

По пріѣздѣ въ Москву въ 1518 году, Максимъ былъ принятъ весьма радушно: ему отвели помѣщеніе въ Чудовомъ монастырѣ, а содержаніе назначили отъ великокняжескаго двора. Съ этого времени его жизнь и дѣятельность всецѣло принадлежать Россіи. Не смотря на ясно выраженное въ письмѣ великаго князя обѣщаніе отпустить книжнаго переводчика домой, когда минуется въ немъ надобность, Максиму не суждено было вернуться на Аѳонъ. Сверхъ всякаго ожиданія съ его стороны и помимо его желанія, ему пришлось стать русскимъ дѣятелемъ, войти во всѣ духовные интересы тогдашней русской жизни и принять самое дѣятельное участіе во всѣхъ вопросахъ, волновавшихъ современное ему русское общество.

Поэтому мы считаемъ необходимымъ разсказу о жизни и дѣятельности Максима въ Москвѣ предпослать бѣглый очеркъ состоянія русскихъ умовъ и нравовъ XVI вѣка.

II.

Занесенные къ намъ изъ Византіи вмѣстѣ съ христіанствомъ начатки знаній служили исключительно средствомъ къ утвержденію и распространенію новаго вѣроученія, и имъ не суждено было выбиться изъ круга церковныхъ предметовъ, выработаться въ свѣт-

скую науку и дать жизнь свѣтской литературѣ. Древне-русская школа оставалась почти вплоть до реформъ Петра школою простой грамотности съ характеромъ церковно-служебнымъ. Въ глазахъ свѣтскаго человѣка она по этой причинѣ теряла всякую привлекательность, всякій интересъ. Уже съ XII вѣка у русскихъ людей складывается прочное убѣжденіе, что грамотность и книжныя знанія нужны только церковнику. Въ тотъ періодъ времени, когда Русь собиралась вокругъ Москвы и въ великорусскихъ областяхъ складывалось сильное единоедержавное царство Московское, уровень знаній не повысился, а скорѣе понизился. Если встрѣчаются въ это время заявленія о необходимости школьнаго обученія, то только со стороны духовенства и для духовенства, и вызываютъ ихъ исключительно церковныя нужды. „А се приведуть ко мнѣ мужика, говоритъ архіепископъ Геннадій въ своемъ знаменитомъ посланіи къ митрополиту Симону, и язъ велю ему апостоль дати чести, и онъ не умѣеть ни ступити, и язъ ему велю псалтырю дати, и онъ и по тому одва бредеть, и язъ его оторку (откажу)... А моей силы нѣтъ, что ми ихъ не учивъ ставити (т. е. ставить въ священно-служители). А язъ того для челомъ бью государю, чтобы велѣлъ училища учинити“... Далѣе драгоцѣнное посланіе Геннадія объясняетъ, какого рода училища желательны съ его точки зрѣнія. „А мой совѣтъ о томъ, что учити во училищѣ, первое азбука граница истолкована совсѣмъ (т. е. азбука со всѣми гранями—отдѣлами), да и подтительныя слова, да псалтыря съ слѣдованіемъ (т. е. съ возслѣдованіями—съ присовокупленіемъ простыхъ службъ вечерни, утрени и нѣкоторыхъ другихъ дополненій) накрѣпко; и коли то изучить, можетъ послѣ того проучивая и конархати (т. е. канонархати. Канонархъ—церковнослужитель, объявляющій, при пѣніи канона обоими клиросами, сначала гласъ, а потомъ и самыя слова канона) и чести всякыя книги“. Немногого, какъ видно, желалъ Геннадій для новыхъ училищъ, но современная ему дѣйствительность была далека и отъ этихъ ничтожныхъ требованій. Школъ, какъ можно догадываться изъ дальнѣйшаго содержанія посланія, почти совсѣмъ не было; учились большею частію у „мужиковъ невѣжъ“, которые „ребятъ учать да рѣчь ему испортитъ“. Эти учителя, „мастеры“, получали, по словамъ посланія, за свою работу

десять чтеній.

3

плату сдѣльно: „за ученіе вечерни — кашу да гривну денегъ, за утреню то же или и больше; за часы особо“... Въ половинѣ XVI столѣтія, т. е. пятьдесятъ лѣтъ спустя, царемъ Иваномъ Грознымъ и отцами Стоглаваго Собора было вновь заявлено, что даже самые „мастеры“ малограмотны и силы божественнаго писанія не знаютъ и учиться имъ негдѣ.

Такъ стояло дѣло просвѣщенія въ самомъ образованномъ древнерусскомъ сословіи, въ духовенствѣ. Что же касается остальныхъ сословій, то въ нихъ чаще всего отсутствовала всякая грамотность. „Мы не встрѣчаемъ нигдѣ извѣстій объ образованности князей и вельможъ, говоритъ Соловьевъ, изображая русскіе нравы XV вѣка: о Димитріи Донскомъ прямо говорится, что онъ не былъ хорошо изученъ книгамъ; о Василии Темномъ говорится, что онъ не былъ ни книженъ, ни грамотенъ“. Въ XVI вѣкѣ встрѣчаются записи и грамоты, въ которыхъ сказано, что князья и дѣти боярскія не приложили къ нимъ рукъ за неумѣніемъ грамотѣ. За богатыхъ „гостей“ (купцовъ) по ихъ безграмотству росписываются обыкновенно ихъ духовные отцы. Иностранцы, посѣщавшіе Россію въ XVI и даже XVII вв., часто говорятъ о даровитости русскихъ людей и въ то же время свидѣтельствуютъ о почти поголовномъ безграмотствѣ ихъ. Если и встрѣчались примѣры сравнительно высокой для того времени образованности, то они представлялись отдѣльными рѣдкими случаями и были обыкновенно плодами чужой, не русской школы.

Тогдашняя школа, обучая „четью“, „пѣтью“ церковному и „канонарханію“, не давала знаній, необходимыхъ для жизни свѣтскаго человѣка. Съ помощію одного только навыка, говоритъ Забѣлинъ, велось всякое дѣло: торговое, ремесленное, земледѣльческое, канцелярское, судейское. Легко себѣ представить тѣ непреодолимые затрудненія, которыя долженъ былъ испытывать древнерусскій человѣкъ на каждомъ шагу, при полномъ отсутствіи, на примѣръ, ариметическихъ знаній. Извѣстно, что мы почти вплоть до реформъ Петра не были знакомы съ десятичною арабскою системою цифръ, съ самыми простыми ариметическими дѣйствіями, и числа у насъ означались еще буквами; при вычисленіяхъ съ большими числами мы просто становились въ тупикъ, вслѣдствіе чего

и называли десятки тысячъ „тмою“, а сотни тысячъ „невѣдемъ“; ариметическое „невѣдіе“ заставляло насъ и дробныя числа означать только словесно и при томъ очень мудреннымъ способомъ: $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ еще имѣли простыя названія „пол“ и „четь“, а $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{32}$ и т. д. уже не имѣли соотвѣтствующаго ихъ значенію названія и обозначались такъ: $\frac{1}{8}$ „пол-четь“, $\frac{1}{16}$ — „пол-пол-четь“, $\frac{1}{32}$ — „пол-пол-пол-четь“; подобнымъ же образомъ $\frac{1}{3}$ называлась „третникъ“, а $\frac{1}{6}$ — „пол-третникъ“, $\frac{1}{24}$ — „пол-пол-пол-третникъ“, $\frac{1}{96}$ — „пол-пол-пол-пол-пол-третникъ“, и т. д. Не больше знали мы и въ другихъ наукахъ. Всѣ наши тогдашнія знанія носили средне-вѣковой полуфантастическій характеръ. Въ то время, когда для западной Европы была уже открыта Америка, нашъ книжникъ, человѣкъ XVI вѣка, черпалъ свои космографическія свѣдѣнія изъ любимой книги Козьмы Индикоплова, относящейся къ началу VI вѣка. Оттуда онъ узнавалъ, что земля есть продолговатый отъ востока къ западу четверугольникъ, покрытый небомъ, какъ сводомъ, что ночное захожденіе солнца и др. свѣтилъ совершается за высокую гору, находящуюся на сѣверѣ, и т. п. Историческія свѣдѣнія были скудны и перемѣшаны съ поэтическими преданіями. Даже ветхозавѣтная и новозавѣтная исторія была переполнена рассказами изъ книгъ ложныхъ, апокрифическихъ, и древне-русскій книжникъ, при отсутствіи образованія, критики, не умѣлъ отличить подлиннаго отъ ложнаго. Толковая Палая, служившая однимъ изъ главныхъ источниковъ знанія библейской исторіи, есть произведеніе апокрифическое, а между тѣмъ она ставилась въ ряду книгъ „истинныхъ“ и приписывалась Іоанну Златоусту или Іоанну Дамаскину. Митрополитъ Макарій считалъ каноническою книгу Еноха Праведнаго, а она есть произведеніе апокрифическое. Отсутствие необходимыхъ знаній давало себя чувствовать и въ вопросахъ религіозныхъ: при всемъ желаніи сохранить во всей чистотѣ греческое православіе, мы по недостатку знанія распространяли подложныя сочиненія, въ которыхъ сохранялись остатки языческихъ вѣрованій. Исслѣдователи московской старины очень удачно характеризуютъ тогдашнюю образованность словомъ „книжность“. Церковная книга давала рядъ готовыхъ, безспорныхъ религіозныхъ и моральныхъ истинъ. Этотъ книжный матеріалъ усвоивался механически,

одною памятью. Человѣкъ, начитавшійся книгъ, могъ говорить „отъ писанія“, т. е. имѣлъ въ головѣ обильный запасъ цитатъ. Для рѣшенія какого-нибудь вопроса достаточно было привести нѣсколько подходящихъ выдержекъ изъ книгъ. Самостоятельныхъ разсужденій не требовалось и даже не допускалось.

Эти свойства школы отразились и на произведеніяхъ духовныхъ писателей того времени. Они представляютъ собою въ большинствѣ случаевъ своды готовыхъ мыслей, занесенныхъ издавна съ чужой стороны и застывшихъ въ неподвижныхъ, какъ бы окаменѣлыхъ формахъ. Таковы, въ концѣ XV и началѣ XVI вѣка сочиненія Іосифа Волоцкаго, митрополита Даніила, даже Нила Сорскаго и многихъ другихъ. Византія передала намъ главнымъ образомъ произведенія церковной литературы, которыя и служили нашимъ книжникамъ образцами. Что же касается до произведеній греческой научной литературы, въ особенности классическаго періода, которыми съ успѣхомъ воспользовались итальянскіе гуманисты, то они къ намъ почти совсѣмъ не попадали, да и ученые греки, какъ до паденія Константинополя, такъ и послѣ, направлялись не къ намъ, а въ Италію. Подражая византійскимъ образцамъ, наши писатели постоянно вращались въ области чисто церковныхъ вопросовъ и аскетической морали. Если въ видѣ исключенія изрѣдка являлась живая мысль, живое слово, касавшееся текущей дѣйствительности, если при этомъ высказывалось мнѣніе, идущее въ разрѣзъ съ общепринятымъ, то оно тотчасъ клеймилось названіемъ „ереси“ и подвергалось строгому осужденію, хотя бы на самомъ дѣлѣ ничего еретическаго въ себѣ не заключало. Такъ случилось съ Максимомъ Грекомъ; такъ едва не случилось съ Ниломъ Сорскимъ, который уже былъ заподозрѣнъ въ ереси и не подвергся суду только потому, что устранился отъ спора. Въ то время имѣть свои мнѣнія никому не дозволялось; допускалось и одобрялось только „плетеніе словесъ“, т. е. риторическія украшенія при изложеніи готовыхъ истинъ.

Неподвижность русской мысли отражалась и на религіозномъ пониманіи, и на нравственности. Истины религіи и морали были поняты чисто внѣшнимъ образомъ: на первомъ планѣ стоялъ обрядъ, строгое, но чисто внѣшнее, формальное исполненіе предписаній.

Тогдашній богачъ аккуратно въ извѣстные дни раздавалъ милостыню, но, исполняя эту христіанскую обязанность, нерѣдко осыпалъ нищую братію грубою бранью. Вся сущность христіанскаго ученія, вся вѣра заключалась для тогдашняго книжника въ обрядовомъ благочестіи и въ благоговѣннн передъ буквой писаній. Все, что стояло въ церковной книгѣ, имѣло силу неизмѣннаго догмата. Іосифъ Волоцкій относилъ къ божественнымъ писаніямъ не только произведенія отцовъ церкви и житія святыхъ, но даже и „градскіе законы“. Прибавить, убавить или измѣнить что-нибудь въ церковной книгѣ или обрядѣ считалось величайшей смѣлостью и вызывало суевѣрный страхъ. Помощникъ Максима, писецъ Михаилъ Медоварцевъ рассказывалъ, что когда, по приказанію Максима, онъ долженъ былъ загладить нѣсколько невѣрныхъ строкъ въ молитвѣ, употребляемой при окончаніи богослуженія, то его „дрожь великая поимала, и ужасъ напалъ“. Лѣтопись сообщала, какъ о крупномъ событіи, извѣстія о томъ, что „нѣкоторые философовъ начаша пѣти: О, Господи помилуй, а друзіи—Осподи помилуй“.

Грубость нравовъ была весьма естественна, при тогдашнемъ состояніи умовъ. Если нельзя сказать, что образованіе непременно дѣлаетъ человѣка нравственнымъ, то несомнѣнно однако, что оно возвышаетъ его до болѣе духовнаго пониманія истинъ морали и что безъ образованія никакая нравственность не можетъ быть прочной: кромѣ хотѣнія добра, нужно и глубокое пониманіе того, что добро и что зло. Несмотря на громкую проповѣдь пастырей церкви о христіанской любви, въ тогдашнемъ обществѣ царилъ духъ эгоизма. „Всегда наслаженіе и упитѣніе, всегда пиры и позорища, всегда бани и лежаніе, всегда мысли и помыслы нечистые“... Такова была жизнь боярина того времени, по словамъ одного изъ проповѣдниковъ. „Червленіе ланитъ“ и „многоплотіе“ (т. е. тучность тѣла), поставлявшіяся въ достоинство знатному лицу, были результатомъ такого образа жизни. Эта жизнь, по словамъ Костомарова, представляла полный контрастъ жизни простолюдина: „когда знатный бояринъ одѣвался въ золото и жемчугъ, ѣдалъ на серебрѣ и заставлялъ себѣ подавать десятки кушаньевъ за разъ, деревенскій бѣднякъ во время частыхъ неурожаевъ ѣлъ хлѣбъ изъ соломы или лебеды, коренья и древесную кору“. Во многихъ словахъ и по-

ученіяхъ XVI вѣка въ обилии разсѣяны яркія картины нравовъ того времени, подобныя только-что приведенной. Изображаются грубыя пороки, злоупотребленіе властей, разладъ и интриги въ высшемъ боярствѣ, тяжелое положеніе лишенной правъ и нравственнаго значенія женщины, бѣдственное состояніе рабовъ...

Много было потрачено усилій со стороны лучшихъ проповѣдниковъ на разъясненіе высокихъ истинъ христіанской морали, но ни кроткое слово пастырскаго увѣщанія, ни угрозы обличителей вѣчными муками не производили надлежащаго дѣйствія. Настоящаго пониманія этихъ истинъ не было, а взволнованную совѣсть очень легко было успокоить точнымъ исполненіемъ обряда. Нѣкоторые моралисты того времени довольно близко подходили къ одному изъ вѣрныхъ средствъ, содѣйствующихъ подъему нравственности: „никогда же да не послабиши, говоритъ одинъ изъ нихъ, почивати уму своему“. Но они не догадывались о томъ, что могло разбудить спавшій умъ русскаго человѣка.

Однако вѣками сложившійся строй древнерусской жизни, имѣвшій, повидимому, такія прочныя основы, сталъ замѣтно колебаться, и это съ особенною силою обнаружилось въ XVI вѣкѣ. Русская мысль искала, очевидно, выхода изъ того рѣзко очерченнаго круга интересовъ, за который не смѣлъ переступать московскій книжникъ. Такъ какъ интересы религіозные въ то время господствовали надъ интересами мірскимп, то и первое недовольство существующимъ порядкомъ сказалось въ области церковныхъ вопросовъ. Съ одной стороны, какъ протестъ противъ грубаго пониманія религіозныхъ и моральныхъ истинъ и противъ нравственной распущенности, появляется съ конца XIV вѣка цѣлый рядъ ересей, образовавшихся, какъ полагаютъ, не безъ вліянія западныхъ реформаціонныхъ идей. Правда, еретичество впадаетъ въ другую крайность — въ грубое отрицаніе основныхъ положеній вѣроученія, догматовъ, но важно то, что во многихъ еретическихъ головахъ замѣчается стремленіе къ болѣе духовному пониманію религіи и мелькаютъ иногда высоко гуманныя мысли, какъ, на примѣръ, у Башкина, мысль объ освобожденіи рабовъ. Съ другой стороны, среди самого православнаго духовенства съ конца XV вѣка раздаются голоса противъ обрядоваго благочестія, противъ богатствъ монастырскихъ, какъ

главной причины паденія монастырскихъ нравовъ, противъ крайней нетерпимости къ еретическимъ заблужденіямъ. Таковы были взгляды строгаго пустынника Нила Сорскаго, довершившаго свое богословское образованіе на Аѳонѣ, и его учениковъ и послѣдователей, подвижниковъ Бѣлоозерскихъ скитовъ и монастырей, извѣстныхъ подъ именемъ „Заволжскихъ старцевъ“.

Эти внутренніе враги установившагося въ средѣ книжной міровозрѣнія вызвали на борьбу съ собой самыхъ энергичныхъ изъ московскихъ книжниковъ, архіепископа Геннадія и Іосифа Волоцкаго, основателя Волоколамскаго монастыря.

Оба проявили много ревности къ дѣлу православія и еще болѣе жестокости къ еретикамъ. Писались обличенія противъ еретическихъ заблужденій, собирались соборы на еретиковъ, безпощадно осуждавшіе ихъ на казни и заточенія. Но еретичество продолжало существовать, такъ какъ условія, породившія его, оставались неизмѣнными. Такъ, несмотря на соборъ 1504 года, нанесшій, по видимому, рѣшительный ударъ ереси жидовствующихъ, ересь продолжала волновать русскіе умы, и Максиму Греку, обличительная дѣятельность котораго началась въ двадцатыхъ годахъ, пришлось писать длинное слово на іудеевъ, опровергать тѣ самыя ложныя основанія, которыя раньше опровергалъ Іосифъ Волоколамскій.

Ставшій въ главѣ московскихъ книжниковъ, Іосифъ велъ полемику и съ Ниломъ Сорскимъ. Какъ основатель и игумень богатаго уже въ то время Волоколамскаго монастыря, онъ былъ задѣтъ за живое проповѣдью Нила о нестяжательности монастырей. Всѣ преимущества въ этой борьбѣ, какъ и въ борьбѣ съ ересью, были на его сторонѣ: его взгляды раздѣляла свѣтская власть и большинство тогдашнихъ іерарховъ, и онъ вышелъ побѣдителемъ изъ этого спора. Но и вопросу о монастырскихъ имуществахъ, какъ и многимъ другимъ церковнымъ вопросамъ, суждено было еще долго волновать русскіе умы. По смерти Нила и Іосифа, полемика продолжалась съ меньшимъ ожесточеніемъ ихъ послѣдователями— „іосифлянами“ и „заволжскими старцами“.

Но не одни критическія мнѣнія Сорскаго да ереси, эти внутренніе враги, расшатывали старыя взгляды, сложившіеся подъ исключительнымъ одностороннимъ вліяніемъ Византіи; въ XVI вѣкѣ

нахлынули на старую Русь новые, внѣшніе враги, съ которыми справиться было еще труднѣе. Это тѣ вліянія западныхъ книжекъ, западныхъ идей и обычаевъ, отъ которыхъ мы никакъ не могли уберечься. Несмотря на вошедшіе въ нашу плоть и кровь завѣты Византіи, издавна внушавшей намъ ненависть „къ латинѣ“, мы должны были въ силу потребностей быстро развивающагося государства русскаго по неволѣ обратиться за помощью къ латинскому западу: Москва, этотъ третій Римъ, которому, по сказанію старца Филофея, надлежало стоять вѣчно, была неповинна ни въ какомъ знаніи, ни въ какомъ художествѣ. И вотъ мы принуждены выписывать съ запада образованныхъ иностранцевъ художниковъ, мастеровъ.

Встрѣча и знакомство съ иностранцами вскорѣ отражается и въ жизни русскихъ людей.

Русскіе люди начинаютъ носить иностранное платье, брить бороду и усы. И въ литературѣ этого времени замѣтно большое оживленіе. Появляются книги съ новымъ западнымъ направленіемъ: альманахи, планидники, книги о судьбѣ, и находятъ большой кругъ читателей. Распространяются мысли о фортунахъ, астрологическія суетвѣрія во всѣхъ слояхъ общества. Передовые люди того времени перестаютъ бояться думать, страшиться „проклятаго мнѣнія“, начинаютъ читать не только церковныя книги, но и свѣтскія: аскетическій идеаль теряетъ свое обаяніе. Бояринъ Ѳеодоръ Карповъ, другъ Максима Грека, читаетъ латинскія книги и въ нихъ ищетъ разрѣшенія своихъ недоумѣній. Онъ зараженъ пристрастіемъ къ астрологіи, которую усердно распространялъ въ то время врачъ великаго князя, „нѣмчинъ“, „латынинъ“ Николай Люевъ (или Булевъ). Карповъ увлекается красотой природы, удивляется тому стройному порядку и правильности, которые обнаруживаются въ ея явленіяхъ. Онъ упрекаетъ Максима Грека, предостерегающаго его отъ излишняго увлеченія природою, за строгій приговоръ свѣтскому знанію, чѣмъ вызываетъ длинное посланіе со стороны послѣдняго.

По мѣрѣ того, какъ усиливается западное вліяніе, вліяніе Византіи все болѣе и болѣе слабѣетъ. Знаніе латинскаго языка у насъ въ это время болѣе распространено, чѣмъ знаніе греческаго. Вызовъ ученаго святогорца въ Москву объясняется именно тѣмъ, что въ Москвѣ

не нашлось человѣка, знающаго греческій языкъ. Первые переводы Максима, по незнанію русскаго языка, сдѣланы имъ при помощи русскихъ толмачей, которымъ онъ „сказывалъ по-латыни“, а они уже переводили по-русски. Еще раньше Геннадій, при составленіи полной библіи, пользовался латинскимъ текстомъ и латинскими переводчиками. Греки, участвующіе въ умственномъ движеніи Россіи XVI и XVII столѣтій, какъ Максимъ Грекъ, Арсеній Грекъ, Паисій Лигаридъ, братья Лихуды, являются людьми, хотя и сохранившими восточное православіе, но учившимися въ западныхъ училищахъ и университетахъ. Даже въ дѣлахъ церковныхъ замѣтно ослабленіе греческаго вліянія: русскіе митрополиты уже поставляются у себя дома и дѣлаются вполне независимыми отъ константинопольскаго патріарха. Мало того, русскіе начинаютъ смотрѣть подозрительно на византійцевъ: у нихъ является мысль, что греки успѣли развратиться подъ властію турокъ.

Обнаружившіеся въ XVI столѣтіи въ русской жизни и литературѣ новшества возбуждаютъ негодованіе и страхъ за будущее русской земли въ людяхъ стараго порядка. Они всѣми силами стараются удержать старые взгляды, старые обычаи, получившіе въ ихъ глазахъ религіозное освященіе. Бояринъ Берсень въ дружеской бесѣдѣ съ Максимомъ съ твердою увѣренностью говоритъ, что та земля, которая переставливаетъ обычаи, не долго стоитъ. Отцы Стоглаваго Собора заявляютъ, что „обычаи поиспатались“, и стремятся „утвердить неколебимо въ роды и роды“ русскую національную отчину и православную старину. Домострой также представляетъ собою стремленіе закрѣпить на вѣки сложившійся въ древней Руси строй домашней жизни. Макарій, собирая „все святыя книги, которыя въ русской землѣ обрѣтаются“, въ своихъ Четьи-Минеяхъ старается положить какъ-бы предѣлы, за которые не должна переступать русская мысль. Эта тревога въ лагерь охранителей, идеаломъ которыхъ была неподвижность старины, ясно указываетъ, что русское общество уже расколосось на двѣ неравныя части, что среди старой Руси нарождалась уже новая Русь, въ которой давали себя чувствовать непочатыя силы великаго народа, освобожденнаго отъ тяжелыхъ вѣковыхъ запретовъ старины. Передовое меньшинство не могло еще торжествовать побѣды надъ ста-

рыми вѣковыми преданіями, но оно представляло собою живое начало историческаго движенія, заявляло рѣзко и сильно о своемъ существованіи и носило въ себѣ залогъ будущаго успѣха.

III.

Когда Максимъ Грекъ пріѣхалъ въ Москву, при дворѣ великаго князя наибольшимъ вліяніемъ пользовались два лица: митрополитъ Варлаамъ и инокъ Вассіанъ Косой (въ міру князь Василій Ивановичъ Патрикѣевъ, попавшій въ опалу при Иванѣ III и насильно постриженный въ монахи). Оба они отличались твердостью убѣжденій и по своимъ взглядамъ принадлежали къ тѣмъ „Заволжскимъ старцамъ“, которые воспитались въ идеяхъ Нила Сорскаго. Въ пріѣздѣ грекъ они въ скоромъ времени увидѣли своего единомышленника, и между ними установились близкія искреннія отношенія. Вниманіе со стороны вел. князя, расположеніе вліятельныхъ при дворѣ лицъ дали Максиму возможность занять въ Москвѣ сразу высокое, почетное положеніе.

Послѣ осмотра богатой книгами великокняжеской библіотеки, которая, по словамъ Максима, была почти всегда на запорѣ, ему дали порученіе перевести Толковую Псалтирь. При выборѣ книги для перевода руководились, какъ предполагають, тѣмъ, что псалтирь была наиболѣе любимую и распространенною книгою у нашихъ предковъ и что она въ послѣднее время пострадала отъ искаженій, сдѣланныхъ „жидовствующими“, которые „испревращали“ псалмы въ своихъ видахъ. Такъ какъ Максимъ не зналъ славянскаго языка, то въ помощь ему дали двухъ толмачей: Дмитрія Герасимова, учившагося въ ливонскихъ училищахъ, и Власія, которые знали латинскій языкъ, а для записыванія назначили писцовъ: Миханла Медоварцева и инока Силуана. „Нынѣ, господине, писалъ одному дяку Герасимовъ, Максимъ Грекъ переводитъ Псалтирь съ греческаго толковую великому князю, а мы съ Власомъ у него сидимъ, перемѣняяся: онъ сказываетъ по-латынски, а мы сказываемъ по-русски писаремъ“... Это былъ, какъ мы видимъ, двойной переводъ, требовавшій вниманія и осторожности отъ всѣхъ участниковъ; слѣдова-

тельно, и отвѣтственность за ошибки не могла падать всею своею тяжестью на одного Максима. Толковая Псалтирь заключала въ себѣ, кромѣ текста псалтири, сводъ различныхъ толкованій, часто расходившихся въ объясненіи однихъ и тѣхъ же псалмовъ, при чемъ среди толкователей были и еретики. Максимъ раздѣлилъ толкованія на классы, далъ характеристики направленій, опредѣливъ и степень православія каждаго изъ нихъ, и приложивъ свои замѣчанія для руководства простодушному русскому читателю. Уже при этой первой работѣ вполне обнаружились и обширныя знанія, и критическій талантъ святогорца. Около полутора года трудился Максимъ надъ переводомъ псалтири и такъ сильно былъ занятъ, что „не имѣлъ праздности дыхати“, по его собственнымъ словамъ. Трудность работы заключалась какъ въ самомъ переводѣ съ греческаго языка, богатаго значеніями словъ и способами выраженія, на языкъ славянскій, еще не разработанный до такихъ тонкостей, такъ и во многихъ ошибкахъ, открывшихся въ прежнемъ переводѣ псалтири, сдѣланномъ до Максима, и объясняемыхъ неискусностью прежнихъ переводчиковъ и переписчиковъ. Въ посланіи въ великому князю, которое было и введеніемъ къ его труду, Максимъ говоритъ о своихъ стараніяхъ удалить явныя несообразности, но откровенно сознается, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ и его сотрудники ничего не могли сдѣлать и оставили, какъ было. Скромность заставляетъ его признать свой трудъ слабымъ и требующимъ многихъ исправленій, однако для этой цѣли, по его мнѣнію, нужны люди, не только сильныя въ знаніи греческаго языка, но и вооруженныя „грамматичными художествами и риторскою силою“.

По окончаніи перевода, Максимъ представилъ его вел. князю. Считалъ ли онъ, что дѣло, для котораго его вызвали, окончено, или московская жизнь была ему не по душѣ, но только долѣе оставаться въ Москвѣ онъ не хотѣлъ. Въ томъ же посланіи къ князю, ходатайствуя о вознагражденіи за усердіе своихъ сотрудниковъ, для себя онъ проситъ, какъ милости, позволенія возвратиться на Афонъ. „Избавь насъ отъ печали долгой разлуки, пишетъ Максимъ, возврати бездѣдно честному монастырю Ватопедскому, давно уже насъ ждущему. Дай намъ совершить обѣты иноческіе тамъ, гдѣ мы ихъ произнесли... Отпусти насъ скорѣе въ мирѣ, чтобы намъ возвѣ-

ститъ и тамъ находящимся православнымъ о твоихъ царскихъ доблестяхъ, да вѣдаютъ бѣдствующіе христіане тѣхъ странъ, что есть еще на свѣтѣ царь, не только владѣющій многими народами, но и цвѣтушій правдою и православіемъ, подобно Константину и Θεодосію Великимъ“... При чтеніи этихъ строкъ, невольно думается, что Максимъ, какъ человѣкъ просвѣщенный и наблюдательный, успѣлъ уже за это время подмѣтить такія стороны московской жизни, съ которыми мириться былъ не въ силахъ, и что онъ былъ какъ будто томимъ тяжелымъ предчувствіемъ отказа, заставлявшимъ его усиливать выраженія своего посланія.

Спустя нѣсколько времени переведенная псалтирь была принесена въ царскія палаты и въ присутствіи цѣлаго собора духовныхъ лицъ, торжественно одобрена митрополитомъ, который назвалъ ее источникомъ благочестія. Великій князь съ радостію принялъ книгу, отпустилъ пріѣхавшихъ съ Максимомъ святогорцевъ, пославъ съ ними богатую милостыню, но самого переводчика, щедро вознаградивъ за трудъ, расположилъ, какъ говоритъ одинъ біографъ, остаться въ Москвѣ для дальнѣйшей работы.

Такимъ образомъ, предчувствіе Максима сбылось. Въ тѣ времена, справедливо замѣчаетъ тотъ же біографъ, иностранцу не такъ легко было выѣхать изъ Москвы, какъ въѣхать въ нее, если только присутствіе его считали полезнымъ для себя или возвращеніе домой почему-либо вреднымъ.

Но, оставаясь въ Москвѣ, Максимъ Грекъ уже не могъ ограничиться ролью простаго переводчика книжнаго. Русская жизнь сама, такъ сказать, врывается въ его келью. У него уже были друзья; ученый авторитетъ его стоялъ такъ высоко, что на него смотрѣли, какъ на человѣка, который можетъ указать, какъ митрополиту жить и какъ государю устроить свою землю; къ нему приходили болѣе просвѣщенные изъ Москвичей „спираться межъ себя о книжномъ“; къ нему обращались за совѣтами въ случаяхъ разныхъ недоумѣній; къ нему присылали новыя литературныя произведенія, желая знать его мнѣніе. Его умъ, благородная прямота и сердечная отзывчивость невольно привлекають къ нему лучшихъ людей того времени, изъ которыхъ многіе впослѣдствіи приобрѣли историческую извѣстность. Въ самомъ непродолжительномъ времени

Максимъ былъ введенъ своими друзьями во все вопросы, волновавшие тогда московскую книжную среду. Ближе всехъ стоялъ къ нему Вассианъ, который былъ сильно занятъ вопросомъ о монастырскихъ имуществахъ. Будучи ученикомъ Нила Сорскаго и ревностнымъ послѣдователемъ его, Вассианъ велъ теперь горячую полемику съ „юсифлянами“, настойчиво доказывая мысль своего учителя о неприличіи монастырямъ владѣть населенными имѣніями. Благодаря услугамъ Максима, дѣлавшаго для него переводы съ греческихъ подлинниковъ, Вассианъ составилъ новый сборникъ церковныхъ правилъ, изъ котораго выяснилось, что греческіе монастыри, служившіе намъ образцами, не владѣли селами, а только угодьями: пашнями, садами, виноградниками. Вассианъ видѣлъ теперь въ Максимѣ своего просвѣтителя и проникся еще большимъ къ нему уваженіемъ. Дальнѣйшая работа святогорца по переводу и исправленію церковныхъ книгъ, надзоръ за которою былъ порученъ Вассиану, окончательно убѣдила его въ неисправности русскихъ книгъ и еще болѣе возвысила въ его глазахъ авторитетъ ученаго грека. Онъ съ свойственною ему несдержанностію и рѣзкостью началъ теперь во всеуслышаніе говорить, что до Максима по старымъ книгамъ Бога не славили, а хулили, и тѣмъ, какъ увидимъ, крайне вредилъ своему другу.

Пользуясь полнымъ довѣріемъ митрополита и Вассиана, Максимъ продолжалъ свои труды пока съ полнымъ спокойствіемъ. Ему поручили пересмотръ и исправленіе нѣкоторыхъ богослужебныхъ книгъ; онъ сдѣлалъ переводъ житія пресв. Богородицы Метафраста и составилъ опись книгамъ великокняжеской библіотеки.

Но по мѣрѣ того, какъ Максимъ ближе всматривался въ окружающую его жизнь, болѣе и болѣе овладѣвалъ русскимъ языкомъ, подробнѣе знакомился съ русской литературой, онъ находилъ все новые поводы къ возмущенію, потому что на каждомъ шагѣ встрѣчался съ явленіями, стоявшими въ прямомъ противорѣчій съ его идеальными требованіями. Взлелѣянное вѣками невѣжество, печальное состояніе русскихъ нравовъ, неисправность церковныхъ книгъ, цѣлая литература апокрифическихъ сказаній, старыхъ и новыхъ, сохранившихъ часто остатки языческихъ вѣрованій, наплывъ новыхъ книгъ съ западнымъ направленіемъ — все это вызывало его

на борьбу. Многое из того, что онъ встрѣтилъ въ Москвѣ, могло напомнить ему Италію, и, можетъ быть, оживить въ его душѣ воспоминанія о знаменитомъ флорентійскомъ проповѣдникѣ. Какъ бы то ни было, но какъ человѣкъ горячо убѣжденный, прямой, не привыкшій скрывать своихъ взглядовъ, онъ во всякомъ случаѣ, не могъ долго молчать. Взявшись за перо, онъ задался цѣлью поднять русскіе нравы и очистить русскую литературу отъ всего того, что противорѣчило православнымъ преданіямъ.

Сочиненія Максима Грека представляютъ для исторіи литературы чрезвычайно цѣнный матеріалъ. Хотя онъ, какъ монахъ, съ своей аскетической точки зрѣнія о многомъ судилъ невѣрно и не всегда былъ правъ въ своихъ обличеніяхъ, но въ нихъ такъ или иначе отразились довольно полно умственное интересы, духовная жизнь его современниковъ.

Наблюдая русскіе нравы, Максимъ, стоявшій по своему образованію гораздо выше московскихъ книжниковъ, лучше ихъ видѣлъ причины нравственной грубости и распущенности. Указывая на злоупотребленія „властелей“, которые „лихоимствуютъ, хотятъ имѣнія и стяжанія вдовицъ и сиротъ“, онъ отлично понималъ, что тогдашнее право „кормленія“ составляло величайшее зло русской жизни и совѣтовалъ служилыхъ людей „обильно награждать“, потому что, обогащая ихъ, царь укрѣпляетъ государство, ограждаетъ вдовъ и бѣдныхъ отъ притѣсненій. Обличая грубѣйшіе пороки современниковъ, подобно нѣкоторымъ нашимъ тогдашнимъ моралистамъ, онъ, какъ монахъ, требуетъ строгаго примѣненія къ жизни евангельскихъ заповѣдей, и въ тоже время, какъ человѣкъ образованный, указываетъ русскимъ людямъ новое средство къ подъему нравственности—западную науку,—средство, о которомъ, какъ мы сказали, не догадывался ни одинъ изъ московскихъ книжниковъ. Восхищаясь Парижемъ, Максимъ среди безчисленныхъ его благъ считаетъ главными его школы, въ которыхъ можно найти „всякое художество, не точію нашего благочестиваго богословія и философія священныя, но и внѣшняго наказанія (т. е. свѣтской науки) всяческая ученія...“ Ученымъ, распространяющимъ тамъ науки, говоритъ онъ, даются „обильные оброки во вся лѣта отъ царскихъ сокровищъ.“ Туда собираются люди отъ всѣхъ западныхъ и сѣ-

верныхъ странъ и не только сыновья простыхъ людей, но и боярскаго и княжескаго сана, и царскіе сыновья. Обращаясь къ русскимъ людямъ, онъ прибавляетъ, что образованнымъ людямъ „подобаетъ бывати и у насъ“, потому что такіе возмогутъ, по его мнѣнію, не только свои непохвальныя страсти одолѣть и блюсти себя отъ лихонманія и сребролюбія, но и другихъ понудятъ раздражать имъ. Познакомившись съ бытомъ русскихъ монастырей, онъ обратился съ обличеніями къ монашеству за его распущенность, за стремленіе къ стяжанію и вступилъ въ горячую полемику съ „іосифлянами“. Вооруженный искусствомъ логики и діалектики, усвоившій у западныхъ гуманистовъ ихъ излюбленныя формы сочиненія: посланіе, ораторскую рѣчь, разговоръ, отличавшіяся живостью, онъ явился для „іосифлянъ“ гораздо болѣе опаснымъ соперникомъ, чѣмъ Вассіанъ. Вполнѣ раздѣляя взгляды Нила на монастырскія имѣнія, Максимъ, подобно ему, отрицаетъ монастырскія права на основаніи евангельскаго и апостольскаго ученія, но его рѣчи дѣйствуютъ сильнѣе своею живостью, доступностью и авторскимъ воодушевленіемъ. Нельзя, говоритъ онъ, стремиться иноку къ стяжанію, потому что не можетъ душа служить вмѣстѣ двумъ господамъ — Богу и мамонѣ, потому что нельзя человѣку смотрѣть однимъ глазомъ на землю, а другимъ на небо. Въ примѣръ русскимъ монахамъ онъ ставитъ картезіанскихъ, питавшихся однимъ подаяніемъ. Главное сочиненіе по этому вопросу написано имъ въ формѣ разговора между двумя лицами: Филоктимономъ и Актимономъ (любостяжателемъ и нестяжателемъ). Въ уста перваго онъ вложилъ тѣ доказательства, которыя обыкновенно выставлялись „іосифлянами“ въ защиту правъ монастырей на владѣніе селами, а въ уста втораго свои собственныя возраженія. Здѣсь онъ очень искусно разбиваетъ одинъ за другимъ доводы своихъ противниковъ, пользуется примѣрами, взятыми изъ жизни, наглядными сравненіями, и главную заботу его, какъ всегда, составляетъ угнетенный классъ — „бѣдные селяне“, обремененные „тягчайшими росты“, не могущіе „отдати заемое“, и „наипаче тружающіеся безпрестани и стражущіе въ селѣхъ нашихъ“. Главною цѣлью всѣхъ его нравоучительныхъ сочиненій было возвысить русскихъ людей до духовнаго пониманія религіозно-моральныхъ истинъ. Очень

часто у него сквозить мысль, что не столько важны догматы и обряды, сколько нравственная жизнь, согласованная съ евангельскимъ ученіемъ. И очень часто у него хватаетъ мужества ставить намъ въ образецъ западную жизнь, — жизнь тѣхъ самыхъ латинянь, которыхъ мы считали „погаными“ и за пристрастіе къ которымъ часто слѣдовало у насъ обвиненіе въ ереси и строгое осужденіе. У латинянь, [говоритъ онъ, неправильно ученіе, а жизнь лучше нашей: „не усовершеняетъ насъ единая православная вѣра, аще не притяжемъ евангельскихъ заповѣдей прилежно дѣланіе“. Окрестъ живущіе ляхи и нѣмцы, наставительно замѣчаетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, „всякимъ правосудіемъ и человѣколюбіемъ правятъ вещи подручниковъ (подвластныхъ)“.

Принявшись за изученіе русской литературы, Максимъ былъ пораженъ обиліемъ въ ней апокрифическихъ произведеній. Дѣйствительно, апокрифы представляли любимѣйшее, интереснѣйшее чтеніе для дѣтски наивнаго тогдашняго читателя, котораго, какъ ребенка, мучило любопытство знать каждую недоговоренную св. писаніемъ драматическую подробность того или другаго священнаго событія. Апокрифъ для человѣка, еще не отрѣшившагося отъ языческихъ представленій, привыкшаго къ образамъ и олицетвореніямъ, былъ доступнѣе, чѣмъ отвлеченныя разсужденія книжниковъ, своею наглядностью, картинностью изображенія и легкимъ живымъ изложеніемъ. Апокрифъ часто помогалъ, говоритъ одинъ изслѣдователь, пониманію отвлеченныхъ вопросовъ вѣроученія, представляя ихъ рѣшеніе въ поэтической картинѣ. Вотъ причины, по которымъ, не смотря на строгія преслѣдованія, апокрифическія произведенія имѣли у насъ большой успѣхъ. Максимъ Грекъ подвергаетъ строгому разбору многіе изъ старѣйшихъ у насъ апокрифовъ, вѣрно указывая въ нихъ мѣстами остатки языческихъ вѣрованій, мѣстами отступленія отъ православныхъ преданій и ложныя толкованія. Но большее вниманіе онъ удѣляетъ книгамъ съ новымъ западнымъ направленіемъ, распространявшимся вѣру въ судьбу, мысли о фортунѣ, астрологическія суетвѣрія.

Обиліе обличеній Максима Грека, направленныхъ противъ астрологій и главнымъ образомъ противъ распространителя этихъ ученій, „латынина“ и „прелестника“ Николая, несомнѣнно свидѣтельству-

ють о силѣ западнаго вліянія у насъ въ XVI вѣкѣ. Новымъ ученіемъ заражаются даже духовныя лица, какъ видно изъ посланія Максима къ „нѣкоему иноку, игумену бывшу, о нѣмецкой прелести фортунѣ“, и князья, какъ показываетъ другое посланіе его къ „нѣкоему князю: словцо на звѣздочетцевъ...“ Максимъ, какъ челоуѣкъ западной школы, вѣрно указываетъ источникъ этихъ суевѣрій, слѣдитъ за исторіей ихъ развитія, объясняя, когда и откуда заимствовали ихъ „латыне зловѣрные“ и „нѣмцы прегордые“. Главная мысль его доказать, что вѣра въ фортуны подрываетъ вѣру въ Промыслъ Божій. Какъ монахъ, онъ называетъ эти выдумки порожденіемъ дьявола и современныя бѣдствія объясняетъ наказаніемъ за то, что мы прельщаемся ими. Приходя въ сильное негодованіе на звѣздочетовъ, онъ даже совѣтуетъ изгонять ихъ изъ общества, какъ орудіе демоновъ. Въ связи съ новыми книгами астрологическаго содержанія стоитъ сборникъ, подъ названіемъ „Луцидаріусъ“, только что переведенный съ нѣмецкаго какимъ-то Георгіемъ и присланный Максиму, вѣроятно для оцѣнки. Это цѣлая народная энциклопедія, гдѣ на ряду съ вопросами религіозными трактуются вопросы физическіе и космографическіе и помѣщены разсужденія о вліяніи планетъ на судьбу и темпераментъ челоуѣка. Максимъ сурово отнесся къ этой книгѣ и, подвергнувъ подробно ее разбору, совѣтовалъ автору „отлучаться римскихъ и эллинскихъ ученій“, которыми „зѣло“ прельстились латыняне, и читать книгу Дамаскина, находя, что съ нею можно быть и хорошимъ богословомъ, и естествовѣдомъ.

Литературная дѣятельность Максима Грека въ лучшихъ историко-литературныхъ изслѣдованіяхъ послѣдняго вѣмени разсматривается съ двухъ сторонъ. Какъ челоуѣкъ богословски и филологически образованный, онъ стоялъ неизмѣримо выше московскихъ грамотеевъ, въ пониманіи религіозныхъ вопросовъ и вопросовъ христіанской морали, и въ своихъ сочиненіяхъ, касающихся этой области, является передовымъ писателемъ, руководителемъ, указывающимъ новые пути; но въ оцѣнкѣ свѣтской дѣятельности, свѣтскаго знанія онъ, какъ монахъ, на многія явленія жизни смотрѣлъ глазами нашихъ старинныхъ книжниковъ.

Не смотря на то, что Максимъ былъ въ Италіи въ самый раз-
десять чтеній.

гарь увлеченій классическою древностью и находился въ самомъ центрѣ этого умственнаго движенія, во Флоренціи, онъ не сдѣлался настоящимъ гуманистомъ. Воспитанный на родинѣ въ духѣ строгаго православія, впечатлительный юноша боялся отдаться вполнѣ изученію языческой мудрости и, какъ мы видѣли, „не довольно пребывалъ въ ея преддверіи“. Отрицательныя стороны итальянскаго возрожденія оттолкнули его, а положительныя остались ему чужды. Фанатическая проповѣдь Савонаролы изгладила послѣдніе слѣды того легкаго увлеченія классиками, въ которомъ онъ самъ признается. Главная заслуга гуманизма, освободившаго свѣтскую науку изъ подчиненнаго положенія, какое занимала она въ средніе вѣка при богословіи, была имъ непонята. Точно также были имъ непоняты и результаты этого освобожденія: новыя понятія о природѣ и человѣкѣ, зарожденіе вѣротерпимости, духъ свободной критики, которые распространялись по Европѣ подъ вліяніемъ идей гуманизма. Онъ былъ даже враждебно настроенъ къ этой пытливости человѣческаго ума. „Кромѣ преданія писаннаго глаголати что или учити, говоритъ онъ при разборѣ Луцидарія, нѣсть похвально“. „Мнѣ же заповѣдь есть высшихъ себе не взысковиати, замѣчаетъ Максимъ въ другомъ мѣстѣ, ні уставляти, о нихъ же единому открыся отъ вѣка“. Аскетическій взглядъ на земную жизнь человѣка, вынесенный изъ проповѣдей Іеронима и монастырскихъ библиотекъ Аѳона, мѣшалъ ему справедливо оцѣнить свѣтскую дѣятельность и свѣтское знаніе. Правда, онъ признавалъ возможность душевнаго спасенія не для одного монаха, а и для мірянина, но жизнь и дѣятельность послѣдняго онъ ставилъ невысоко сравнительно съ монашескою, которую уподоблялъ ангельскому житію. Онъ признавалъ, какъ мы видѣли, и значеніе свѣтскаго знанія и совѣтовалъ русскимъ людямъ поучиться, но суживалъ его значеніе, смотря на образованіе, только какъ на средство къ лучшему разъясненію религіозно-моральныхъ истинъ и смягченію нравовъ. Отсюда его наивный простодушный взглядъ на природу человѣка и все, его окружающее, взглядъ, приближающій его къ нашему книжнику. Ему, напр., не нравятся толкованія Луцидарія о движеніи неба, потому что, по его мнѣнію, оно есть „комара“ или шатеръ, раскинутый надъ землею и опирающійся на ея бока. Онъ про-

стодушно вѣрять во вмѣшательство злыхъ и добрыхъ силъ въ жизнь человѣка и раздѣляетъ общее въ то время мнѣніе о скорой кончинѣ міра. Пораженный и напуганный тѣми явленіями, которыя онъ встрѣтилъ въ русской жизни и литературѣ и которыя представлялись ему гибельными отступленіями отъ православія, онъ представляетъ московское царство въ видѣ вдовы, сидящей на распутіи, въ пустынь, окруженной хищными звѣрями, при чемъ пустынный путь въ этой аллегоріи есть путь этого окаяннаго послѣдняго вѣка. Въ другомъ словѣ онъ говоритъ еще яснѣе: „антихристъ не зѣло далече есть, но при дверехъ уже стоитъ“ и ожидаетъ „второго страшнаго на земли Спаса Христа пришествія“. Аскетическая точка зрѣнія мѣшала ему правильно отнестись къ той странѣ, въ которую онъ былъ закинутъ судьбой, и къ тѣмъ новымъ для этой страны вліяніямъ, которыя привели его въ напрасный ужасъ. Передъ нимъ была страна съ только-что зараждавшимися умственными интересами, и новыя вліянія, медленно и тайкомъ прокрадывавшіяся въ нее, не представляли ничего ужаснаго и не заслуживали строгаго осужденія. Занесенныя къ намъ съ запада, на примѣръ, астрологическія суевѣрія имѣли у насъ совсѣмъ не тотъ смыслъ, что въ Италіи. Сравнительно съ вѣрою въ „чохъ“ и „встрѣчу“ и т. п. предрасудками они представляли шагъ впередъ: они основывались на знакомствѣ съ небесными свѣтилами, ихъ положеніемъ, движеніемъ и составляли извѣстную переходную ступень въ развитіи астрономическихъ знаній. Не даромъ ими увлекались любознательные, передовые люди того времени, какъ бояринъ Карповъ. Боязнь утратить чистоту православія заставляла Максима иногда метать свои обличительныя стрѣлы въ совершенно пустое пространство. Такъ, онъ обличаетъ нашихъ предковъ въ пристрастіи къ древне-эллинской языческой мудрости, о которой они не имѣли никакого понятія.

Ревностная защита русской православной старины ставитъ Максима въ ряды нашихъ охранителей того времени; онъ стоитъ здѣсь рядомъ съ старцемъ Филоеємъ и Макаріємъ, и симпатіи нашихъ раскольниковъ къ преподобному Максиму, обличителю звѣздозрительной прелести и вообще „земской мудрости“, становятся совершенно понятными. Для него, византійскаго монаха, эта православная русская старина особенно дорога, потому что основы ея со-

ставляютъ тѣ самыя святоотческія писанія, въ духѣ которыхъ онъ воспитанъ.

Но по мѣрѣ того, какъ росла и расширялась дѣятельность заѣзжаго святогорца, касаясь все новыхъ и новыхъ сторонъ русской жизни, положеніе его въ Москвѣ становилось все опаснѣй.

Уже одно исправленіе книгъ вызвало всеобщее недовольство въ книжной средѣ. Извѣстно, что еще при первомъ переводѣ нѣкоторые изъ сотрудниковъ Максима выражали недовѣріе къ его поправкамъ. Тѣхъ основаній, которыми руководился при своей работѣ ученый грекъ, конечно, тогдашніе грамотеи понять не могли, потому что они никогда не слыхали ни о грамматикѣ, ни о риторикѣ, ни о логикѣ, ни о какихъ другихъ наукахъ. Какъ велика была та пропасть, которая отдѣляла Максима отъ московскихъ людей, можно видѣть изъ разъясненій и наставленій, которыя ему приходилось дѣлать для нихъ. Этимъ бородаатымъ книжникамъ онъ объяснялъ напримѣръ, что слова въ концѣ Іоаннова Евангелія о невмѣстимости въ цѣломъ мірѣ книгъ, съ подробнымъ изложеніемъ дѣяній Иисуса Христа, слѣдуетъ понимать не буквально, что въ словахъ ектеніи „о свышнемъ мирѣ“ не слѣдуетъ понимать міра ангельскаго, а миръ—спокойствіе, что слову исполинъ неправильно придавать значеніе звѣря; приходилось толковать о значеніи словъ, помѣщаемыхъ на иконахъ Богородицы, и объяснять, что это слова греческія и значатъ Матерь Божія, а не Марѳа и не Мирѳа, „якоже нѣпціи всеу непщуютъ (предполагаютъ)“. Любопытно прочесть также наставленія, которыя давалъ Максимъ книжникамъ, желая предупредить дальнѣйшую порчу книгъ плохими переводчиками. Онъ написалъ по-гречески русскими буквами 16 стиховъ героическаго и элегическаго размѣра, приложилъ къ нимъ греческіе тексты съ славянскимъ переводомъ, и говорилъ: если кто придетъ къ вамъ послѣ моей смерти и скажетъ, что знаетъ греческій языкъ, заставьте его перевести эти строки; если сможетъ, то вѣрьте ему—„добръ есть и искусень“; если при этомъ скажетъ, какою мѣрою сложены стихи эти, то „предобръ есть, примите его съ любовію и честію и жалуйте нещадно“... При отсутствіи взаимнаго пониманія между Максимомъ и той средой, для которой онъ трудился, столкновение было неизбежно. „Ты досаждаешь, говорили ему недовольные его исправле-

ніями богослужебныхъ книгъ, возсіявшимъ въ нашей землѣ чудотворцамъ: они старыми священными книгами благоугодили Богу и прославились отъ него святостію и чудотвореніемъ“. Максимъ отвѣчалъ имъ, основываясь на извѣстныхъ словахъ ап. Павла, что не всякому даются всѣ дары духовные, что святымъ чудотворцамъ русскимъ за ихъ святую жизнь данъ даръ исцѣлять, творить чудеса, но дара языковъ и сказанія (т. е. выраженія) они не принимали свыше. „Иному же, какъ мнѣ грѣшному, паче всѣхъ земнородныхъ, дано разумѣть языки и сказаніе, и потому не удивляйтесь, если я исправляю описки, которыя утаились отъ нихъ“.

Но еще большее недовольство вызвалъ Максимъ въ средѣ московскихъ іерарховъ, большинство которыхъ вышло изъ стѣнъ Волоколамскаго монастыря, своимъ содѣйствіемъ Вассіану и своими собственными обличительными сочиненіями, направленными противъ „іосифлянъ“. Его проповѣдь о нестяжательности монашеской была понята, подобно книжнымъ исправленіямъ, какъ оскорбленіе, какъ хула на русскихъ святыхъ, спасавшихся въ русскихъ монастыряхъ и угодившихъ Богу.

Въ то время, какъ росло число недовольныхъ Максимомъ, обстоятельства складывались также неблагоприятно для него, увеличивая опасность его положенія. Въ 1521 году старецъ Варлаамъ, всегдашній заступникъ передъ властью за обвиненныхъ и человѣкъ твердыхъ убѣжденій, по какимъ-то неприяностямъ съ великимъ княземъ долженъ былъ оставить митрополію и отправиться въ одинъ изъ отдаленныхъ сѣверныхъ монастырей. Великій князь Василій Ивановичъ, благоволившій въ послѣднее время въ Волоколамскому монастырю, при выборѣ новаго митрополита остановился на игуменѣ этого монастыря Данилѣ, который былъ назначенъ на игуменство самимъ покойнымъ Іосифомъ. Будущему митрополиту было лѣтъ 30. Это былъ молодой, румяный лицомъ и тучный тѣломъ человѣкъ. По характеру своему онъ представлялъ полную противоположность своему предшественнику. Воспитанный въ правилахъ внѣшняго „благоповеденія“, гласившихъ: „ступаніе имѣй кротко“, „гласъ умѣренъ“, „буди въ отвѣтахъ сладокъ“ и т. п., онъ вышелъ податливымъ, угодливымъ, практическимъ человѣкомъ. Волоколамскій монастырь выпустилъ многихъ іерарховъ, и всѣ они болѣе

или менѣ похожи были другъ на друга, какъ люди одной школы, но Даниилъ признается историками за самаго типическаго іерарха „іосифлянина“. Его влеченіе къ внѣшнимъ удобствамъ, любовь къ пирамъ и роскошной одеждѣ, какъ говорятъ, составляли предметъ толковъ въ тогдашнемъ обществѣ. Сдѣлавшись митрополитомъ, онъ оказался преданнымъ слугою вел. князя. Когда князь сѣверскій, заподозрѣнный въ измѣнѣ, былъ вызванъ въ Москву и, опасаясь ловушки, боялся ѣхать для оправданій, вел. князь вмѣстѣ съ Данииломъ ручались ему письменно въ безопасности, при чемъ митрополитъ взялъ его „на образъ Пречистыя, да на чудотворцевъ, да на свою душу“. Василий Ивановичъ, преслѣдуя свои политическія цѣли, измѣнилъ своему слову и велѣлъ заключить пріѣхавшаго въ тюрьму, а митрополитъ не только не ходатайствовалъ за него, что составляло его нравственный долгъ, но даже одобрялъ поступокъ великаго князя.

Вассіанъ и Максимъ, конечно, не могли ладить съ новымъ митрополитомъ, по отсутствію въ немъ тѣхъ нравственныхъ качествъ, которыя были особенно ими цѣнимы въ его предшественникѣ. Кромѣ того, воззрѣнія Даниила такъ были противоположны ихъ воззрѣніямъ, что столкновение было неизбежно. И дѣйствительно, отношенія новаго митрополита къ Вассіану съ самаго начала стали враждебными, а съ Максимомъ произошелъ разрывъ въ очень скоромъ времени. Сдѣлавши, по порученію Даниила, переводъ бесѣдъ св. Іоанна Златоуста, Максимъ отказался перевести сочиненія Θεодорита, хотя митрополитъ трижды настойчиво просилъ его объ этомъ. Отказъ Максима былъ сдѣланъ искренно и мотивированъ имъ основательно тѣмъ, что сочиненія Θεодорита для народа малообразованнаго могли представлять опасность, такъ какъ среди нихъ помѣщены письма нѣкоторыхъ ересіарховъ; но тѣмъ не менѣ этотъ отказъ глубоко оскорбилъ самолюбиваго Даниила. Къ этому надо прибавить, что и Вассіанъ и Максимъ, продолжая дѣло книжнаго исправленія, уже не обращались за совѣтомъ и благословеніемъ къ новому митрополиту, какъ они дѣлали это по отношенію къ его предшественнику. Такая самостоятельность дѣйствій со стороны простыхъ иноковъ и пренебреженіе къ авторитету его власти еще болѣе усиливали его нерасположеніе къ нимъ. А колкія обличенія

Максима, которыя явно были направлены на нѣкоторыя, указанныя нами, слабости Данила обратили его нерасположеніе уже въ прямую вражду.

Въ то же время, къ несчастію для обоихъ иноковъ, и отношеніе къ нимъ великаго князя стало понемногу измѣняться къ худшему. Удаленіе Варлаама и выборъ новаго митрополита, іосифлянина, уже обнаруживали охлажденіе Василя Ивановича къ тому направленію, котораго держались Вассіанъ и Максимъ. Вскорѣ имъ обоимъ представился новый случай испытать свое мужество и дать прямо самому великому князю рѣшительный и непріятный для него отвѣтъ по вопросу, чрезвычайно щекотливому. Задумавъ развестись съ первой женою и вступить въ новый бракъ, Василій Ивановичъ пожелалъ знать объ этомъ мнѣніе обоихъ иноковъ, какъ людей близкихъ къ нему и свѣдущихъ въ дѣлахъ церковныхъ. Максимъ и Вассіанъ не привыкли въ угоду кому-нибудь измѣнять свои убѣжденія и рѣшительно отказались одобритъ намѣреніе князя. А Даниилъ и въ этомъ случаѣ оказался человѣкомъ податливой совѣсти: съ его разрѣшенія и благословенія состоялся въ скоромъ времени и разводъ, и новый бракъ Василя Ивановича. Понятно, что съ этого времени иноки нестяжатели потеряли окончательно расположеніе великаго князя. При этомъ не послѣднюю роль играли и обличительныя посланія Максима, касавшагося съ своею ответственною ему смѣлостью и „безчинія царей“, и тѣхъ, „иже царскій санъ растлѣвають“.

Лишившись въ лицѣ великаго князя послѣдняго защитника, Максимъ стоялъ теперь одиноко передъ своими многочисленными врагами: дружба Вассіана, утратившаго вліяніе при дворѣ, не могла оказать ему поддержки. Враги поняли беззащитность его положенія и готовились къ нападенію. Мы уже говорили, что установившаяся за Максимомъ репутація умнаго и просвѣщеннаго человѣка собрала вокругъ него людей, которые ходили къ нему бесѣдовать и спорить о разныхъ предметахъ; съ помощію доносовъ, бывшихъ въ то время въ большомъ ходу, открыли теперь, что въ числѣ ходившихъ къ нему были опальные бояре: Иванъ Никитичъ Беклемишевъ-Берсень и дьякъ Федоръ Жареный, по дѣлу которыхъ въ это время началось слѣдствіе. Келейникъ Максима на судѣ по-

казывалъ, что когда приходилъ бояринъ Берсень, Максимъ всѣхъ высылалъ вонъ и сидѣлъ съ нимъ подолгу одинъ на одинъ. Врагамъ святогорца было это на руку: имъ представлялась возможность замѣшать его въ дѣло опальныхъ и окончательно уронить въ глазахъ великаго князя. Привлеченный къ допросу, Максимъ съ свойственною ему откровенностью, въ данномъ случаѣ излишнею, изложилъ довольно подробно содержаніе своихъ бесѣдъ съ Берсениемъ, чѣмъ повредилъ и себѣ и ему. Оказалось, что Берсень высказывалъ недовольство современными порядками, жаловался на притѣсненія и обиды отъ великаго князя, неодобрительно отзывался и о немъ, и о Даниилѣ. Максимъ, относясь къ нему съ полнымъ участіемъ, въ свою очередь, дѣлился съ нимъ своими наблюденіями надъ русскою жизнью, и оба приходили къ неутѣшительнымъ выводамъ. Какъ человѣкъ, задержанный въ Москвѣ противъ желанія, онъ имѣлъ, конечно, причины жаловаться также и на свое положеніе. Берсень при этомъ предсказывалъ, что его ни за что не отпустятъ домой. „Держить (князь) на тебя мнѣнія,“ говорилъ онъ, „пришелъ еси сюда, а человѣкъ еси разумный, и ты здѣсь увѣдалъ наша добрая и лихая, и тебѣ тамъ пришедъ все сказывать“. Открытіе этихъ сношеній святогорца съ опальными, обнаружившееся въ ихъ бесѣдахъ недовольство властями, неодобрительные отзывы о нихъ такъ сильно подѣйствовали на Василя Ивановича, что онъ, очевидно, подозрѣвая, что на допросѣ сказано не все, отъ себя лично тайно подсылалъ къ одному изъ опальныхъ игумена троицкаго, чтобы вывѣдать „вся истину на Максима“.

Между тѣмъ враги Максима не теряли даромъ времени. Толки и пересуды, составлявшіе любимое препровожденіе времени праздныхъ москвичей, обращались иногда въ вѣрное средство уронить чью-нибудь репутацію, повредить кому-нибудь въ общественномъ положеніи. При помощи этого средства, вѣроятно, удалось набросить тѣнь подозрѣнія на отношенія Максима къ турецкому послу Скиндеру. По крайней мѣрѣ, Максимъ самъ говоритъ, что въ московскомъ обществѣ ходили толки о его измѣнѣ Россіи и многіе изъ знакомыхъ говорили ему объ этомъ прямо. Знакомство его со Скиндеромъ началось съ 1522 года, въ первый пріѣздъ посла; въ 1524 году онъ пріѣхалъ вторично. Свиданіе съ нимъ Максима, мо-

жетъ быть, и частыя, ничего удивительнаго не представляютъ. Максимъ былъ горячій патріотъ: его, конечно, интересовало все, что дѣлается на родинѣ; въ Скиндерѣ онъ видѣлъ своего соотечественника, грека по происхожденію; можетъ быть, томимый тоскою по родинѣ, онъ надѣялся при содѣйствіи Скиндера добиться возвращенія на Аѳонъ и просилъ его объ этомъ. Вотъ тѣ предположенія, какія допускаются историками для объясненія его связи съ турецкимъ посломъ, и нѣтъ никакихъ основаній подозрѣвать его въ томъ фантастическомъ замыслѣ поднять на Россію султана, въ которомъ подозрѣвали его нѣкоторые изъ тогдашнихъ москвичей. У враговъ Максима были свои цѣли: представить его въ глазахъ князя человѣкомъ коварнымъ и крайне опаснымъ и для самого князя, и для государства, и они совершенно успѣли въ этомъ. Максимъ былъ лишень свободы еще ранѣе суда надъ нимъ, вѣроятно, въ тѣхъ видахъ, чтобы скорѣе прекратить его опасныя сношенія съ посломъ.

Судъ надъ Максимомъ состоялся весною 1525 года, вскорѣ послѣ казни осужденныхъ Берсена и Жаренаго. Но на этомъ судѣ не было сказано ни одного слова объ отношеніяхъ его къ Скиндеру. Поднимать это дѣло въ виду присутствія въ Москвѣ самого Скиндера считали неудобнымъ, и потому пока разсматривались только церковныя вины Максима. Цѣлый соборъ іерарховъ подъ предѣлательствомъ митрополита, въ присутствіи великаго князя и многихъ вельможъ торжественно засѣдалъ въ царскихъ палатахъ. Много было взведено обвиненій на несчастнаго святогорца: ему приписывали дерзкую хулу на всѣ русскія книги, хулу на всѣхъ русскихъ святыхъ, на всю русскую церковь; обвиняли въ ереси на основаніи найденныхъ въ его переводахъ ошибокъ; обвиняли въ злонамѣренной порчѣ книгъ; ставили въ вину и то, что онъ не признавалъ самостоятельности русской церкви. Отцы собора потратили много усилій, чтобъ подобрать какъ можно больше обвиненій. Они пользовались для этого всѣми средствами: отыскивали ошибки въ книгахъ, собирали свидѣтелей словъ, произнесенныхъ въ разное время въ частной бесѣдѣ съ разными лицами; мысли, высказанныя Максимомъ, преувеличивались, искажались до неузнаваемости, или выхватывались изъ его сочиненій отдѣльно, безъ

связи съ предыдущими и послѣдующими мыслями. Такъ, напримѣръ, справедливая мысль Максима о неисправности нѣкоторыхъ или многихъ русскихъ книгъ была преувеличена на соборѣ свидѣтелями до дерзкой хулы на всѣ священныя книги. Свидѣтели утверждали, что будто Максимъ говорилъ, что на Руси нѣтъ ни евангелія, ни апостола, ни правилъ, ни уставовъ. И хотя обвиняемый отказывался отъ приписываемыхъ ему свидѣтелями словъ и возстановлялъ свою мысль въ истинномъ видѣ, митрополитъ все-таки далъ полную вѣру свидѣтельскимъ показаніямъ и назвалъ слова Максима „хулою и злымъ мудрованіемъ“. Обвиненіе въ ереси было основано на очевидномъ грамматическомъ недоразумѣніи иностранца, еще не понимавшаго тогда нѣкоторыхъ формъ чужаго языка и поставившаго, при исправленіи книги, вмѣсто „сѣдѣй одесную Отца“, „сѣдѣвъ одесную Отца“. Непониманіе разницы между формами „сѣдѣй“ и „сѣдѣвъ“ обнаружилось и на самомъ соборѣ: Максимъ и передъ судьями настаивалъ на своемъ, утверждая, что между этими выраженіями „разнствія никотораго нѣтъ“. Но соборъ закрывалъ глаза на все, что могло послужить къ оправданію подсудимаго и, признавъ обвиненіе доказаннымъ, нашелъ еретическій смыслъ въ ученіи Максима о Христѣ, заключавшійся въ противной православному ученію мысли о мимомедшемъ, минувшемъ сидѣніи Христа одесную Отца. Только нѣсколько лѣтъ спустя, вникнувъ въ смыслъ этой ошибки, Максимъ догадался о своемъ промахѣ и прямо искренно признался въ незнаніи языка: „Азъ тогда не вѣдахъ различіе сивевыхъ реченій, писалъ онъ въ своемъ „Исповѣданіи вѣры“, аще бы вѣдалъ бы, никако же бы замолчалъ, но всяко исправилъ быхъ такову нелѣпотную опись“.

Вопросъ о монастырскихъ имуществвахъ въ связи съ обличеніями современнаго монашества игралъ на судѣ важную роль. Большинство присутствовавшихъ іерарховъ были тѣ самые „іосифляне“, съ которыми Максимъ велъ горячую полемику по этому вопросу и которыхъ главнымъ образомъ касались его обличенія. Само собой разумѣется, что отъ такихъ судей невозможно было ждать ни спокойнаго, безпристрастнаго обсужденія, ни справедливаго рѣшенія. И дѣйствительно, всѣ мнѣнія Максима по вопросу о монастырскихъ имуществвахъ, вся его проповѣдь о иноческой

нестязательности были признаны соборомъ за еретическое мудрованіе и дерзкую „хулу на церковные уставы и законы, и на святые чудотворцы и на святые монастыри“.

Забоясь только о количествѣ обвиненій, отцы собора, какъ мы видѣли, не принимали во вниманіе ни прежнихъ заслугъ подсудимаго, ни тѣхъ обстоятельствъ, которыя явно служили къ оправданію или извиненію его, и съ совершенной спокойной совѣстью осудили, какъ еретика, того самаго человѣка, который такъ много положилъ труда именно на защиту православія и на пользу русскаго просвѣщенія. Кромѣ несомнѣннаго пристрастія, въ несправедливомъ рѣшеніи собора обнаруживается для насъ другая, главная причина — невысокій уровень умственнаго развитія судей Максима.

Приговоръ собора былъ очень суровъ. Максима отправили въ заточеніе въ Іосифовъ Волоколамскій монастырь, другими словами, отдали прямо въ руки враговъ. Ему было запрещено писать; у него отобрали греческія книги. Изъ Москвы онъ былъ вывезенъ такъ тайно, по словамъ біографа, что никто не зналъ, живъ ли онъ. Къ его монастырской тюрьмѣ приставлены были два инока: Тихонъ Ленковъ и Іона, которые слѣдили за каждымъ шагомъ осужденнаго. Его мучили голодомъ, дымомъ, морозомъ, иногда въ такой степени, что онъ впадалъ въ омертвѣніе. И нравственное его состояніе было не легче: его томило непривычное умственное бездѣйствіе, мучило сознаніе своей правоты и своего безсилія; ко всему этому присоединялся и страхъ за неизвѣстное будущее. Въ минуты отчаянія онъ изливалъ свою скорбь въ молитвахъ, которыя за недостаткомъ чернилъ и бумаги писалъ углемъ на стѣнахъ своей тюрьмы. Говорятъ, что по временамъ онъ впадалъ въ безсознательное состояніе. Однако бывали минуты, когда бдительный надзоръ за тюрьмой Максима ослабѣвалъ. Вѣроятно, и въ стѣнахъ самаго монастыря нашлись люди, съ участіемъ относившіеся къ несчастному узнику и доставлявшіе ему возможность вести переписку съ своими друзьями и иногда выпускать въ свѣтъ новыя посланія съ новыми обличеніями своихъ враговъ.

Такъ прошло шесть лѣтъ. За это время обстоятельства измѣ-

нились не къ лучшему для Максима, отыскались новыя вины, и въ 1531 году, его снова привезли „съ Волоку на Москву и поставили передъ митрополитомъ всея Руси, и передъ архіепископы, и епископы, и передъ всѣмъ освященнымъ соборомъ“.

Ближайшимъ поводомъ къ вызову его на новый соборъ послужила смерть турецкаго посла Скиндера, давшая возможность врагамъ Максима напомнить ему о томъ мнимомъ политическомъ преступленіи, о которомъ не смѣли заикнуться при жизни Скиндера.

При открытіи собора, митрополитъ Даніиль обратился къ Максиму, укоряя его въ неблагодарности къ вел. князю, въ злыхъ замыслахъ и хулѣ на него, въ посылкѣ какихъ-то грамотъ къ султану и пашамъ. Прочія вины, выставленныя на второмъ соборѣ противъ несчастнаго святогорца, заключались въ его нераскаяніи, непризнаніи за собой ни въ чемъ виновности, въ новыхъ обличеніяхъ и новыхъ ошибкахъ, отысканныхъ усердными обвинителями въ прежнихъ трудахъ. Главнымъ пунктомъ обвиненія была хульная строка въ житіи пресв. Богородицы. При прочтеніи этой строки на соборѣ Максимъ самъ пришелъ въ ужасъ, нашель ее хульною и отказался отъ нея. Ужасъ его былъ непритворнымъ, но митрополитъ объяснилъ его страхомъ передъ отвѣтственностью и не повѣрилъ въ искренность его отказа отъ хульныхъ словъ. Еслибы судьи Максима обладали способностью спокойно и трезво обсуждать дѣло, они легко объяснили бы себѣ вкрадшуюся въ переводъ житія грубую ошибку: переводъ былъ сдѣланъ въ 1521 году, ровно за десять лѣтъ до суда, когда Максимъ совсѣмъ не владѣлъ русскимъ языкомъ, слѣдовательно, не могъ понимать всего того, что писали его помощники. Вѣрнѣе всего было объяснить ошибку небрежностью данныхъ ему толмачей или писарей. Но соборъ заботился исключительно объ обвиненіяхъ. Въ его глазахъ страшнымъ преступленіемъ казалось и то, что по распоряженію Максима было зачеркнуто нѣсколько словъ молитвы въ одной богослужебной книгѣ. По понятіямъ Даніила, это значило уничтожить „догматъ премудрый“. Отцы собора показали, что они по своимъ воззрѣніямъ стояли нисколько не выше темной массы приверженцевъ буквы писаній. Они совершенно серьезно выслушали и новое обвиненіе, взведенное на Максима иноками, караулив-

шими его тюрьму. Усердіе невѣжественныхъ монаховъ—стражниковъ дошло до того, что они обвиняли заключеннаго въ волхвованіи. Они рассказывали, что онъ „волшебными хитростями еллинскими писалъ водками на дланѣхъ своихъ, и распростиралъ длани свои противъ великаго князя, также и противъ иныхъ многихъ поставлялъ, волхвуетъ“.

Измученный физически и нравственно шестилѣтнимъ тяжелымъ заключеніемъ, Максимъ сильно упалъ духомъ. Всѣ его старанія на судѣ направлены были къ тому, чтобы умиловать судей, смягчить суровость ихъ приговора. Онъ признавалъ себя виновнымъ въ „нѣкихъ малыхъ описяхъ“, что приписывалъ забвенію, скорби, даже излишнему винопитію. Онъ повергался трижды ницъ передъ соборомъ, моля о прощеніи. Торжество Данила надъ лишеннымъ силъ противникомъ было полное. Его злорадство дошло до такой степени, что онъ, по словамъ его біографа, потерялъ всякое самообладаніе и въ присутствіи всѣхъ гнѣвно провѣщаль поверженному ницъ Максиму: „достигоша тебѣ, окаянне, грѣси твои, о немъ же отрелся перевести ми священную книгу блаженнаго Теодорита!“ Послѣднія слова обнаружили всю силу личной ненависти Данила къ несчастному иноку, имѣвшему когда-то смѣлость перечить волѣ митрополита, отказываясь отъ исполненія его порученій.

Соборный судъ приговорилъ Максима къ новому заточенію, отлучивъ его, „аки хульника и священныхъ писаній тлителя“, отъ причащенія ст. таинъ и запретивъ даже посѣщеніе церкви. Его повезли въ оковахъ, но уже не въ Волоколамскій, а въ Тверской Отрочъ монастырь. Волоколамская тюрьма, какъ думаютъ, освобождалась для новаго узника. Извѣстно, что судъ надъ Вассіаномъ начался тотчасъ послѣ суда надъ Максимомъ. Ему также пришлось жестоко поплатиться за свои смѣлыя нападки на „іосифлянъ“: онъ обвиненъ былъ въ ереси и заточенъ на мѣсто Максима, въ Волоколамскомъ монастырѣ, гдѣ вскорѣ и умеръ. Вмѣстѣ съ Максимомъ были осуждены и разосланы по разнымъ монастырямъ и сотрудники его: Михайлъ Медоварцевъ и просвѣщенный старецъ Сильванъ. Данилъ чувствовалъ крайнее раздраженіе и противъ нихъ, потому считалъ ихъ единомышленниками и совѣтниками Максима и Вассіана.

Такимъ образомъ Даниилъ вышелъ побѣдителемъ изъ борьбы съ своими противниками, и это вполне естественно: за него стояло большинство тогдашнихъ книжниковъ, и онъ былъ настоящимъ представителемъ взглядовъ и стремлений этого большинства. Ему легко удалось разбить и уничтожить противную партію, которая представлялась ему опасною, потому что была сильна не только знаніемъ и нравственнымъ мужествомъ, но и вліяніемъ при дворѣ.

Слишкомъ двадцать лѣтъ провелъ несчастный Максимъ въ послѣднемъ мѣстѣ заточенія, въ Тверскомъ монастырѣ. Хотя тверской епископъ Акакій, по словамъ біографа Максима, оказался человѣкомъ добрымъ и принялъ узника благосклонно, и можно думать, что онъ не подвергался больше физическимъ страданіямъ, однако нравственное его состояніе было невыносимо тяжелое. Горькое сознаніе незаслуженности, несправедливости обрушившихся на него наказаній, лишеніе свободы и мучительная мысль о томъ, что онъ никогда не увидитъ св. горы и обители Ватопедской, непрерывно въ теченіе послѣднихъ лѣтъ томили его. Къ тому же онъ былъ лишень послѣдняго для вѣрующаго человѣка утѣшенія—посѣщенія церкви и св. причастія. По временамъ въ его измученной душѣ вспыхиваетъ надежда возвратиться на родину, и онъ употребляетъ всѣ усилія, пускаетъ въ ходъ всѣ средства, которыя находятся въ его распоряженіи: но цѣлый рядъ такихъ попытокъ оканчивается совершенно безуспѣшно. Онъ пишетъ свое „Исповѣданіе православныя вѣры“, желая представить во всей чистотѣ свои религіозныя убѣжденія и оправдаться отъ обвиненія въ ереси, при этомъ прибавляетъ, что онъ никогда не былъ и врагомъ русской державы. Какъ истинный христіанинъ, пишетъ примирительное посланіе къ бывшему врагу своему, главному виновнику его несчастій, Даниилу. Въ малолѣтство царя Іоанна онъ шлетъ посланіе къ боярамъ правителямъ съ оправданіемъ и просьбою отпустить его на Аѳонъ. Съ тою же просьбою обращается Максимъ къ митрополиту Макарію и наконецъ къ самому царю Ивану Грозному. За него ходатайствуютъ патріархи Константинопольскій и Іерусалимскій съ цѣлымъ соборомъ митрополитовъ и епископовъ. Но все безуспѣшно. Ни грамота патріарховъ, ни просьбы разныхъ лицъ, сочувствовавшихъ ему, ни его собственныя оправдательныя и про-

сительныя посланія не имѣли никакого дѣйствія. Митрополитъ Макарій, приславшій ему денежное благословеніе, при всемъ сочувствіи къ его горю ничего не могъ сдѣлать. „Узы твоя цѣлуемъ, писалъ онъ, яко единого отъ святыхъ, пособити же тебѣ не можемъ“. Москва стояла на своемъ: она не хотѣла выпустить за свои предѣлы челоуѣка, узнавшаго московское лихо. Берсень предсказывалъ вѣрно—онъ хорошо зналъ московскіе порядки. Біографъ Максима справедливо замѣчаетъ, что просьбы патріарховъ, подчеркивая значеніе Максима, какъ представителя Греціи и ея интересовъ, могли только вредить несчастному святогорцу. Только черезъ семнадцать лѣтъ, благодаря расположенію Макарія, могъ добиться Максимъ разрѣшенія посѣщать церковь и принимать св. тайны. И только за три года до смерти, по ходатайству нѣкоторыхъ бояръ и троицкаго игумена Артемія, онъ былъ освобожденъ изъ заточенія. Въ 1553 году Максимъ былъ переведенъ на житье въ Троицкую Лавру.

Въ томъ же году царь Иванъ Васильевичъ, отправляясь по обѣщанію въ Кирилловъ монастырь, завернулъ въ Лавру и посѣтилъ при этомъ старца св. горы. Біографъ Максима особенно отмѣчаетъ, что въ этой послѣдней своей бесѣдѣ съ царемъ Максимъ, неуклонно слѣдовавшій всегда своимъ убѣжденіямъ, выступаетъ съ словомъ печалованія за несчастныхъ сиротъ. Онъ отговаривалъ, какъ извѣстно, царя отъ поѣздки и указывалъ ему заняться другимъ, болѣе, по его мнѣнію, богоугоднымъ дѣломъ,—устройствомъ судьбы вдовъ и сиротъ павшихъ подъ Казанью воиновъ. Въ 1554 году его приглашали на соборъ, по дѣлу Башкина, но Максимъ отказался, очевидно, изъ боязни, что его могутъ замѣшкать въ это дѣло. Въ 1556 году онъ скончался.

Печальная судьба, постигшая Максима въ Россіи, поучительна. Она свидѣтельствуетъ о полной несостоятельности той московской старины, которую съ такимъ усеріемъ отстаивали охранители XVI вѣка. Почувствовавъ опасность при столкновеніи съ новыми мнѣніями, съ новыми разумными требованіями, защитники старины въ лицѣ своихъ болѣе сильныхъ представителей, какъ Геннадій, Іосифъ, Даніилъ, умѣли дѣйствовать только преслѣдованіями, заточеніями и казнями; иныхъ средствъ не оказалось въ ихъ распо-

ряженіи. При этомъ въ своей слѣпотѣ они часто не могли разглядѣть въ мнимомъ врагѣ своего единомышленника. Такъ именно случилось съ несчастнымъ святогорцемъ. Человѣкъ, не чуждый духа критики, не молчавшій по благородной прямотѣ характера, онъ долженъ былъ казаться московскимъ книжникамъ человѣкомъ опаснымъ, какъ всякій, кто имѣлъ свое мнѣніе и заявлялъ о немъ, и за это долженъ былъ пострадать, какъ страдали другіе выдающіеся люди того времени. „Всѣмъ бѣдамъ мать—мнѣніе“, говоритъ одинъ изъ учениковъ Іосифа. Такимъ образомъ горе Максима есть общее горе лучшихъ умовъ того времени. Оно есть истинное горе отъ ума XVI вѣка.



ХУЛИТЕЛИ НАУКЪ ВЪ ЖУРНАЛЬНОЙ САТИРѢ ЕКАТЕРИНИНСКАГО ВѢКА.

Наше сближеніе съ западомъ не было случайностію, происшедшею неожиданно и по волѣ одного лица, какъ иногда думаютъ. Оно совершалось въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ и при томъ въ силу постепеннаго сознанія нашей отсталости, которая обнаружилась гораздо раньше появленія на русскомъ престолѣ великаго преобразователя и заставила обратиться за помощью къ западнымъ книжкамъ и западнымъ людямъ для удовлетворенія умственныхъ запросовъ и настоятельныхъ государственныхъ нуждъ. Желаніе учиться у образованныхъ націй Европы почувствовалось передовыми русскими людьми еще въ XVI вѣкѣ, а западныя вліянія начали проникать къ намъ, какъ полагаютъ серіозные изслѣдователи русской старины, еще съ конца XIV вѣка. Петръ I, самъ воспитанный уже въ новыхъ взглядахъ и при новой обстановкѣ, найдя готовыхъ совѣтниковъ и сотрудниковъ, употребилъ свою громадную энергію на то, чтобы ускорить это движеніе. Однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ, при выполненіи задуманныхъ реформъ, онъ справедливо считалъ распространеніе въ Россіи просвѣщенія. Для этой цѣли онъ призывалъ малорусскихъ ученыхъ, среди которыхъ занималъ такое видное мѣсто знаменитый его сотрудникъ Теофанъ Прокоповичъ, самъ ѣздилъ на западъ, посылалъ туда великоросовъ, заводилъ школы, заботился о составленіи первоначальныхъ учебниковъ, о переводахъ иностранныхъ сочиненій, входилъ въ сношенія съ знаменитыми западными учеными и положилъ начало рус-

скому журналу. При немъ новая западная наука, обѣщавшая войти въ интересы свѣтскаго человѣка, пошла къ намъ уже прямою дорогою, а не окольными путями, черезъ Польшу и Кіевъ, какъ это было раньше.

Но русскій человѣкъ давно привыкъ думать, что все, что идетъ отъ народовъ другихъ вѣроисповѣданій, представляетъ несомнѣнную опасность для православія. Если прежде онъ относился подозрительно и недоброжелательно даже къ кіевскимъ ученымъ, къ кіевскимъ „новотворнымъ“ книгамъ, то какъ могъ онъ теперь чувствовать довѣріе къ той наукѣ, къ тѣмъ книгамъ, которыя шли уже прямо съ „еретическаго“, по его мнѣнію, запада. Кромѣ того, надо знать, что въ русскомъ человѣкѣ вѣками воспиталась боязнь всякаго проявленія живой мысли. Ему твердили постоянно: „не высокоумствуй, но пребывай въ смиреніи“. Отцы внушали дѣтямъ: „учися грамотѣ, учися и держати умъ, высочайшаго не ищи, глубочайшаго не испытуй“. Неудивительно послѣ этого, что большинство смотрѣло на дѣла Петра и новую науку враждебно и что первоначальное обученіе русскихъ людей западной наукѣ шло туго. Они, по свидѣтельству Посошкова, уклоняясь отъ ученья, залѣзали въ озеро по бородѣ и бѣгали въ лѣсные скиты.

Таковы были противники Петра. Стронниковъ было гораздо меньше, да и изъ нихъ немногіе понимали всю силу и значеніе новаго просвѣщенія. Большею частію это были люди податливые, падкіе на блестящія приманки европейской жизни, освобождавшей русскаго человѣка отъ многихъ старинныхъ запретовъ. Они, въ угоду царю, легко сбросили старинную прадѣдовскую ферязь, облеклись въ европейское платье, завели у себя иностранныя кареты, обставили по европейски свои жилища и всячески старались походить на европейцевъ своимъ внѣшнимъ видомъ. Но этимъ они и ограничились: дальше усвоенія европейской внѣшности они не пошли.

Какъ приверженцы старины, такъ и европейцы по платью, были въ одинаковой степени невѣжественны и относились къ наукѣ презрительно или враждебно, съ тою только разницею, что старозавѣтные люди ожесточеннѣе нападали на нее и приводили въ доказательство ея вреда больше доводовъ, чѣмъ мнимые европейцы. Од-

нако при жизни Петра I, наука, пользовавшаяся его покровительствомъ, была надежно защищена отъ нападеній. Онъ умѣлъ сдерживать враждебно настроенныя партіи, и противники просвѣщенія должны были молчать. Но со смертію его положеніе еще молодой, не пустившей прочныхъ корней науки становится шаткимъ. Съ воцареніемъ малолѣтняго императора Петра II наступаетъ тяжелое время для русскаго просвѣщенія. Враги науки начинаютъ дѣйствовать съ особенною энергіею: многія изъ прежнихъ постановленій отменяются, нѣкоторыя изъ книгъ, осуждавшихъ старину, запрещаются, даже закрывается та типографія, которая выпускала сочиненія Теофана Прокоповича. Положеніе сторонниковъ новаго направленія становится труднымъ и не безопаснымъ. Теперь они въ свою очередь замолкаютъ.

Въ такіе мрачные періоды общественнаго развитія духовная жизнь замираетъ на время, живая мысль обыкновенно робко прячется отъ свѣта, но никогда не исчезаетъ безслѣдно: нѣтъ той силы, которая могла бы уничтожить мысль, если только она имѣетъ всѣ права на существованіе и развитіе и запала глубоко въ общественное сознаніе. Такъ и въ это тяжелое для русской мысли время на защиту ея выступаетъ русская сатира въ лицѣ молодаго двадцатилѣтняго писателя, князя Антиоха Кантемира. Это былъ едва ли не самый образованный человѣкъ своего времени. Основательное знаніе языковъ и литературъ древнихъ и новыхъ, большая начитанность, близкое знакомство со священнымъ писаніемъ и страстная любовь къ наукѣ возвышаютъ его надъ современниками. Правда, онъ выступаетъ робко—его сатира „На хулящихъ ученіе“ появляется въ рукописи, но она находитъ многихъ читателей и почитателей. Теофанъ Прокоповичъ особенно старается о ея распространеніи; онъ пишетъ даже стихи въ поощреніе молодому сатирику.

Сатира „На хулящихъ ученіе“ чрезвычайно правдиво изображаетъ общественное настроеніе того времени: по ней мы видимъ ясно, на чьей улицѣ былъ тогда праздникъ. Самъ авторъ говоритъ въ примѣчаніяхъ, что толки о наукѣ, приводимые въ сатиру, не выдуманы, а подслушаны среди тогдашняго общества. Больше вниманія и мѣста онъ удѣляетъ въ своемъ произведеніи типамъ людей стариннаго до-петровскаго склада мыслей. И скопидомъ—помѣщикъ

Сильванъ, и ханжа Критонъ, и невѣжественный судья, попирающій „граждански уставы“, „естественный законъ“ и „народны права“, и многіе другіе, которыхъ авторъ „могъ исчезть смѣлѣ“, но не нашелъ удобнымъ, — всѣ громко вопіютъ противъ науки. Какъ люди стариннаго образа мыслей, воспитавшіеся на вышеприведенныхъ правилахъ, они цѣнили только житейскій опытъ, понимали и допускали только развитіе памяти и испытывали невольный страхъ передъ пытливостью человѣческой мысли, которая хочетъ всему знать поводъ, причину, вывѣдать строй міра и премѣну вещей. Этотъ односторонній и обветшалый взглядъ на умственное развитіе человѣка Кантемиръ прекрасно опровергаетъ въ „Посланіи къ Трубецкому“. Человѣкъ, доказываетъ онъ, становится умнѣе не столько отъ числа прожитыхъ лѣтъ, сколько отъ числа приобрѣтенныхъ знаній; жизнь обогащаетъ насъ опытностью въ позднюю пору, а образованіе дѣлаетъ насъ искусными и въ молодости; старые, но не ученые люди знаютъ только предметы и явленія, а ученые, хотя и молодые, понимаютъ причины явленій и сущность предметовъ. Ханжи, въ родѣ Критона, приводили еще доводъ въ доказательство вреда науки, утверждая, что она разрушаетъ вѣру. Въ примѣчаніяхъ къ сатирѣ Кантемиръ легко опровергаетъ и этотъ доводъ, приводя въ примѣръ св. апостола Павла, Василя Великаго и др., которые были людьми учеными, но не сдѣлались еретиками. Въ Россіи ереси и расколы, по его справедливому мнѣнію, происходятъ не отъ ученія, а отъ невѣжества. Изъ хулителей новыхъ, образовавшихся въ эпоху Петра I, сатирикъ выводитъ только одного — щеголя Медора, да и тотъ очень не смѣлъ, кратокъ и наивенъ въ своихъ разсужденіяхъ о бесполезности наукъ. Очевидно, что жизнь дала писателю немного матеріала для созданія этого типа, что люди этого рода не имѣли вліянія на ходъ дѣлъ въ государствѣ и не играли замѣтной роли въ тогдашнемъ обществѣ.

Приведенная сатира представляетъ несомнѣнное доказательство шаткости, непрочности положенія новой науки въ Россіи. Переходъ до-петровскаго „небытія“, какъ тогда выражались, къ послѣ-петровскому „бытію“ совершался очень медленно. Быстрые и частыя перемѣны представителей власти послѣ Петра I вмѣстѣ съ перемѣнами во взглядахъ и направленіи ихъ дѣятельности не могли спо-

собствовать успѣшному развитію наукъ и литературы въ Россіи. Вслѣдствіе этого плоды личныхъ трудовъ преобразователя и его помощниковъ въ дѣлѣ распространенія наукъ среди русскаго народа обозначились очень поздно, хотя XVIII вѣкъ выставилъ цѣлый рядъ ревностныхъ послѣдователей Петра I, защищавшихъ съ необыкновеннымъ энтузіазмомъ интересы просвѣщенія. Отъ Теофана Прокоповича и Кантемира до Новикова и Радищева включительно не было ни одного выдающагося русскаго писателя, которому бы не приходилось доказывать пользу науки или опровергать мнѣніе о вредѣ, приносимомъ ею. Изъ нихъ въ особенности выдаются два замѣчательныхъ человѣка, одержимыхъ страстнымъ желаніемъ просвѣтить тотъ самый простой народъ, котораго нисколько не коснулся свѣтъ знанія и изъ котораго они сами вышли.

Это—Посошковъ и Ломоносовъ. Непоколебимая вѣра въ будущее русской науки, свѣтлыя надежды на то, что она займется разработкою самыхъ неотложныхъ вопросовъ русской жизни, и несокрушимая энергія, съ которою они дѣйствовали, составляютъ ихъ отличительныя черты.

Во второй половинѣ XVIII вѣка на защиту интересовъ просвѣщенія выступаютъ сатирическіе журналы екатерининской эпохи. Но сатирическій элементъ въ нашей литературѣ появился гораздо раньше. Сатира всегда и вездѣ оказывала великія услуги человѣчеству, появляясь въ самые рѣшительные моменты его исторической жизни. Отражая въ себѣ происходящую въ жизни борьбу, она всегда стояла на сторонѣ разума, права, справедливости, всегда защищала обездоленную, угнетенную часть народа противъ господствующей, сильной. Такъ и наша русская сатира, появившись въ эпоху Петра I, когда шла рѣшительная борьба между старою и новою Россіею, сразу стала на сторонѣ справедливыхъ требованій естественнаго, свободнаго развитія русскаго ума, освобожденія его отъ многовѣковаго односторонняго византійскаго вліянія. Не успѣвъ еще облечься въ опредѣленную литературную форму, сатира въ эпоху Петра появлялась всюду: и въ шутовской интермедіи, осмѣивающей „супротивниковъ“ новаго направленія русской жизни и вставленной, по приказу царскому, между дѣйствіями пьесъ, которыя разыгрывались труппою Куншта, „царскаго величества ко-

медіантскаго правителя“, и въ проповѣди, громившей и обличавшей тѣхъ же „супротивниковъ“ царскихъ реформъ, и даже въ законодательномъ памятникѣ, часто терявшемъ свой дѣловой тонъ и переходившемъ въ настоящую сатиру. При преемникахъ Петра сатира, какъ мы уже видѣли, робко заявляла о своемъ существованіи, не смѣя появиться въ печати, и распространялась только въ рукописи.

Позднѣе она находитъ мѣсто на страницахъ ученаго журнала академика Миллера, который въ своихъ „Ежемѣсячныхъ Сочиненіяхъ“ вводитъ новый отдѣлъ, служащій „для увеселенія читателя“. Но и здѣсь еще условія не благопріятствуютъ развитію настоящей живой сатиры, и она появляется въ такой безжизненной отвлеченной формѣ, что въ ней нѣтъ ничего напоминающаго текущую русскую дѣйствительность. Опасаясь „персональныхъ указаній“ и „противныхъ слѣдствій“, Миллеръ допускалъ въ своемъ журналѣ только нападки на общечеловѣческіе пороки. „Для обличенія зла“, по словамъ одного изслѣдователя, „авторъ бралъ названіе какого-нибудь ходячаго порока и рассказывалъ его исторію, какъ-то: союзъ съ другими пороками и вражду съ добродѣтелью“... „О гордости, напримѣръ, рассказывается, что она родилась отъ упрямства и презорства; ненависть и зависть были дѣдъ и бабка съ отцовской, а безуміе и самолюбіе—съ материнской стороны. Гордость вступаетъ потомъ въ бракъ съ честолюбіемъ, губитъ мужа, и сама погибаетъ“. Допускались редакторомъ и такія общія разсужденія, какъ напримѣръ, въ статьѣ „Лучше ли свѣтъ сталь или хуже въ разсужденіи обхожденія человѣческаго и перемѣняющихся модъ“, гдѣ Клеонъ и Доримена ведутъ разговоръ о суетности модъ и расточительности нынѣшнихъ людей, о пустотѣ и безсодержательности разговоровъ въ обществѣ, о предразсудкахъ, при чемъ Клеонъ старается доказать преимущества старыхъ временъ, а Доримена оспариваетъ его, утверждая, что свѣтъ отъ распространенія наукъ сталь лучше. Эти аллегоріи и общія разсужденія съ самыми отдаленными, неясными намеками на русскую жизнь не могли, конечно, представлять ни живаго интереса, ни даже простой занимательности для самаго невзыскательнаго читателя. Но вотъ въ 1759 году является сатира съ болѣе живымъ содержаніемъ.

Одинъ изъ сотрудниковъ Миллера, А. П. Сумароковъ, открываетъ свой собственный журналъ „Трудолюбивая Пчела“. Сумароковъ справедливо считается „провозвѣстникомъ“ послѣдующей сатиры екатерининскаго времени, указавшимъ ей путь и подготовившимъ ея появленіе. Хотя его сатирѣ не доставало еще полной живости, но онъ уже осмѣивалъ не пороки вообще, а пороки русскаго общества, и касался самыхъ больныхъ мѣстъ общественной жизни. „Гдѣ нѣтъ наукъ, тамъ нѣтъ ни счастья, ни покоя“, говоритъ онъ въ одномъ письмѣ, давая этимъ высокую цѣну просвѣщенію и выражая свою горячую любовь къ нему. Въ прозаическихъ статьяхъ своего журнала онъ иногда не безъ остроумія осмѣиваетъ самые вопіющіе пороки современнаго ему общества. Такъ, напримѣръ, въ ноябреской книжкѣ журнала онъ рассказываетъ „о нѣкоторой заразительной болѣзни“, которая „во времена Ипократовы была неизвѣстна, оттого и греческаго названія не имѣла. Во время Галеново, продолжаетъ онъ, можетъ быть, она была уже, что я заключилъ изъ латинскаго ея названія. Сіе латинское названіе и у насъ нынѣ, когда начали возрастать науки, къ украшенію нашего языка воспріято. У дѣдовъ нашихъ было имя сей болѣзни взятка, а мы, просвѣтившіеся ученіемъ, даемъ имя латинское „акциденція“ (такъ-называлась тогда, дѣйствительно, на языкѣ подъячихъ взятка). Въ декабрьской книжкѣ не безъ живости изображается тогдашній модникъ „петиметръ“, презирающій своихъ согражданъ. „Его поведеніе учтивости и нахальства смѣсь. Онъ говоритъ много, а не думаетъ почти никогда“... Онъ „члены свои ломаетъ и коверкаетъ походку“, по словамъ автора, „и всѣ дѣйствія страннымъ образомъ располагаетъ“, что „за особливую красоту почитается“.

Со вступленіемъ на престолъ Екатерины II для русской жизни и литературы наступаетъ новая пора. Въ эту эпоху съ особенною силою хлынули къ намъ съ запада новыя просвѣтительныя идеи. Сама императрица, еще будучи великою княгинею, съ увлеченіемъ читала Вольтера, Монтескье, Дидро и др. просвѣтителей, а впоследствии съ нѣкоторыми изъ нихъ вела продолжительную переписку, часто обращаясь за совѣтами. Вступивъ на престолъ, она даетъ обѣщаніе „вывести усердныхъ сыновъ Россіи изъ унынія и

оскорбленія“, осуждаетъ прежній порядокъ и стремится провести въ русскую жизнь новыя начала. Тотъ новый путь развитія, который указанъ русскому народу Петромъ, она признаетъ въ своемъ „Наказѣ“ правильнымъ и наилучшимъ путемъ. Понимая серіозное значеніе печати, какъ самага вѣрнаго средства для проведенія въ общество новыхъ идей, она съ этою цѣлю сама беретъ за перо, возбуждая своимъ примѣромъ въ лучшихъ людяхъ того времени желаніе отдать свои силы литературной дѣятельности. Все это, взятое вмѣстѣ, не могло не отразиться благотворно на успѣхахъ нашей литературы и просвѣщенія.

1769 годъ отмѣчается обыкновенно, какъ самое благоприятное время для русскихъ сатирическихъ изданій: въ этомъ году ихъ вышло восемь. Первымъ появился еженедѣльный листокъ „Всякая Всячина“, подъ редакціей Козицкаго, который служилъ „въ кабинетѣ ея императорскаго величества у принятія челобитенъ“ и исполнялъ литературныя порученія Екатерины. Въ этомъ журналѣ, какъ извѣстно, принимала участіе сама императрица. Вслѣдъ за „Всякой Всячиной“ вышли еще четыре журнала: „И то и сѣ“ Чулкова, „Ни то ни сѣ“ Рубана, „Поденьщина“ Тузова и „Смѣсь“ неизвѣстнаго издателя. Въ маѣ мѣсяцѣ этого года появился въ свѣтъ первый журналъ Новикова „Трутень“. На заглавномъ листѣ его эпиграфомъ въ первомъ изданіи стояли слова Сумароковской притчи: „Они работаютъ, а вы ихъ трудъ ѣдите“, а во второмъ два другіе Сумароковскіе стиха: „Опасно наставленіе строго, гдѣ звѣрства и безумства много“; виньетка изображала осла, придавленного сатиромъ. За „Трутнемъ“ вышла „Адская Почта“ Эмина и, кромѣ того, „Полезное съ пріятнымъ“, издатель и сотрудники котораго остались неизвѣстны. Послѣдній журналъ выходилъ только полгода и наполнялся преимущественно статьями серіознаго содержанія. Многія изъ этихъ изданій прекратили свое существованіе въ первый же годъ, но ихъ потомъ замѣнили другія, каковы: „Парнасскій Щепетильникъ“, „Пустомеля“, „Трудолюбивый Муравей“, „Живописецъ“—второй журналъ Новикова, появившійся на мѣсто исчезнувшаго „Трутня“—„Вечера“, „Мѣшанина“, „Кошелекъ“—третій журналъ Новикова, осмѣивающій слѣпое пристрастіе ко всему французскому, и многіе другіе. Самымъ старшимъ изъ

нихъ по времени выхода и по общественному положенію издателя и сотрудника была „Всякая Всячина“, именовавшая себя прабабкой сатирическихъ журналовъ. Самыми же серіозными и смѣлыми были журналы Новикова, имѣвшіе и наибольшій успѣхъ въ обществѣ. Вскорѣ послѣ выхода, новиковскому „Трутню“ пришлось вступить въ продолжительную и щекотливую полемику съ вліятельной „Всякой Всячиной“, по взгляду которой Новиковъ слишкомъ расширялъ предѣлы своей сатиры, очень ожесточенно нападалъ на взяточничество, съ непозволительною смѣлостію задѣвалъ „большихъ бояръ“, и она тономъ старшаго, наставника, рекомендовала ему слѣдовать ея примѣру и дѣйствовать въ ея безобидномъ, добродушно-шутливымъ „улыбательномъ духѣ“. Результатомъ этой полемики, въ которой издатель „Трутня“ держалъ себя съ рѣдкимъ для того времени тактомъ и благородствомъ, было невольное съ его стороны пониженіе тона, значительное обезпѣченіе журнала „Трутень“ и наконецъ совершенное его прекращеніе. Однако не смотря на эту виѣшнюю неудачу, Новиковъ своимъ остроуміемъ, смѣлостію и живостію изображенія русской жизни, какъ въ первомъ, такъ и въ послѣдующихъ журналахъ, далеко оставилъ позади вялые листки „Всякой Всячины“.

Страстное желаніе водворить на Руси истинное европейское просвѣщеніе выразилось въ тогдашней сатирѣ особенно сильными нападками на невѣждъ, какъ „староманерныхъ“, по выраженію Сумарокова, такъ и „новоманерныхъ“. Оба эти типа, отмѣченные еще сатирою Кантемира, дожили до екатерининской эпохи, съ тою только разницею, что „староманерные“ сохранились во всей своей цѣлости, а „новоманерные“ являются теперь съ новыми чертами, развившимися въ послѣдній періодъ при новыхъ условіяхъ. Самая мѣткая и живая сатира на невѣждъ находится на страницахъ „Трутня“ и „Живописца“. Сатира, помѣщенная въ послѣднемъ журналѣ, имѣетъ большое сходство съ первою сатирою Кантемира. Съ тою же безнадежностью, съ какою Кантемиръ обращается къ уму своему, доказывая его бесполезность, и Новиковъ начинаетъ доказательствами ненужности для писателя разума, критики, знанія русской грамматики. Но во времена Кантемира не было моды на писаніе, можно было „не писавъ летящи дни вѣка проводить“,

а. теперь, въ екатерининскую эпоху, писать стало моднымъ дѣломъ, но дѣломъ не труднымъ: для этого нужно, по словамъ сатирика, научиться чертить буквы, имѣть здоровую правую руку, перо, чернила и бумагу. И нельзя не согласиться съ справедливостью этого мнѣнія. Въ то время многіе въ подражаніе императрицѣ взялись за перо, считая это дѣломъ очень легкимъ. Явилось не мало своихъ доморощенныхъ поэтовъ; любовная пѣсенка и ода, это „мануфактурное произведеніе“, по остроумному выраженію одного изслѣдователя, пользовались особеннымъ расположеніемъ свѣтскаго общества; да и нѣкоторые издатели тогдашнихъ журналовъ и ихъ сотрудники, не понимая серіознаго значенія печати, смотрѣли и на сатиру, какъ на модную забаву: они дѣйствовали въ томъ одобренномъ вліятельнымъ журналомъ „улыбательномъ направленіи“ и разсматривали общественные недостатки исключительно съ смѣшной, забавной стороны.

Типы „староманерныхъ“ людей, выведенные Новиковымъ, имѣютъ поразительное сходство съ типами первой сатиры Кантемира. Домовитые помѣщики екатерининской эпохи ничѣмъ не отличаются отъ Сильвана. Они такіе же скопидомы, также разсуждаютъ, что безъ науки жилось лучше, богаче, покойнѣе, что науки да книги переводятъ только деньги. Своимъ дѣтямъ они говорятъ: „рости только великъ, да будь счастливъ, а умъ будетъ!“ Ханжа екатерининскаго вѣка, живо изображенный въ „Трутнѣ“, совершенно подобенъ Критону; ему не достаетъ только однѣхъ четокъ. „Сказывали мнѣ“, пишетъ дядюшка къ своему племяннику, „будто ты по постамъ ѣшь мясо и, оставя увеселяющія чистыя сердца и духъ сокрушенный услаждающія священныя книги, принялся за свѣтскія. Чему ты научишься изъ этихъ книгъ? Вѣрѣ ли несомнѣнной, безъ нея же человѣкъ спасенъ быти не можетъ? Люви ли къ Богу и къ ближнимъ, ею же приобретается царствіе небесное? Надеждѣ ли быти въ райскихъ селеніяхъ, въ нихъ же водворяются праведники? Нѣтъ, отъ тѣхъ книгъ погибнешь ты безвозвратно“... Любопытно послушать, къ какимъ уловкамъ прибѣгали люди этого типа и какъ, прикрываясь наружнымъ благочестіемъ, оправдывали самыя вопіющія злоупотребленія. „Не тяжкій ли смертный грѣхъ“, продолжаетъ онъ, „что вы, молодые люди, дерзновеннымъ своимъ

языкомъ говорите: за взятки надлежитъ наказывать, надлежитъ исправлять слабости, чтобы не родились изъ нихъ пороки и преступления! Вѣдаете ли вы, несмысленные, ибо сіе не припишу я злобѣ вашего сердца, но несмыслию, вѣдаете ли, что и Богъ не за всякое прегрѣшеніе наказываетъ, но, вѣдая совершенную немощь нашу, требуетъ сокрушеннаго духа и покаянія? Вы твердите: я бы не бралъ взятокъ. Знаете ли вы, что такія слова не что иное, какъ первородный грѣхъ, гордость? Развѣ думаете, что вы сотворены не изъ земли и что вы крѣпче Адама? Когда первый человѣкъ не могъ избавиться отъ искушенія, то какъ вы, будучи въ толико кратъ его слабѣе, гордитесь несвойственною сложенію вашему твердостію?.. Опомнись, племянничекъ, и посмотри, куда тебя стремительно влечетъ твоя молодость? Оставь сіи развращающія разумы ваши науки, къ которымъ ты толико прилѣпляешься! Оставь сіи пагубныя книги, которыя дѣлаютъ васъ толико гордыми...“ Въ концѣ письма дядюшка впадаетъ совсѣмъ въ тонъ Критона. „Къ чему потребно тебѣ богопротивное умствованіе, какъ и изъ чего созданъ міръ? Вѣдаешь ли ты, что судьбы Божія не испытанны, и какъ познавать небесное, когда не понимаете и земнаго!..“ Также велерѣчиво дальше говоритъ онъ о вредѣ изученія иностранныхъ языковъ и перевода съ нихъ на русскій, потому что „чужеземскія книги“, по его мнѣнію, наполнены расколами и ересями. Какъ живо напоминаютъ эти разсужденія старинныя допетровскія правила воспитанія: „не высокоумствуй!..“, „держи умъ!..“, „высочайшаго не ищи, глубочайшаго не испытай!..“ Ясно, что „староманерные“ люди вѣка Екатерины также боялись свѣта науки, какъ ихъ дѣды и прадѣды. Стремленіе новой европейской науки познакомитъ человѣка съ законами природы и указать ему то мѣсто, которое онъ занимаетъ среди нея, пугало этихъ людей и заставляло относиться враждебно къ наукѣ вообще и къ естествознанію въ особенности. Такими печальными результатами оказалось (и должно было сказаться) многовѣковое отчужденіе русскаго человѣка отъ знанія и одностороннее направленіе его мысли. Журналы просвѣтительной эпохи немало посмѣялись надъ этою болезнью неразвитыхъ людей. „Трутень“ разсказываетъ, что Безразсудъ, житель одного города, помѣшался, прочтя книгу Фонтенелля

„Разговоры о множествѣ міровъ“, и даетъ этому простое и вѣрное объясненіе. „Сему удивляться не надлежитъ“, говоритъ онъ, „ибо Безразсудъ воспитанъ былъ подѣ присмотромъ старушки, которая всѣ извѣстныя простонародныя басни о сотвореніи міра въ самомъ еще младенчествѣ ему затвердила. Безразсудъ, достигнувъ совершенныхъ лѣтъ, не достигъ однако ни совершеннаго ума, ни истиннаго о вещахъ понятія. Съ лѣтами его суевѣріе и невѣжество приходили въ совершенство. Въ такомъ то состояніи онъ прочиталъ Фонтенелля...“ „Огромность всячихъ надъ нами тѣлъ и что оныя одно вокругъ другаго, а все совокупно съ землею и съ нами такъ скоро вертятся около солнца, его поразила. Куда онъ ни ходилъ и гдѣ ни сидѣлъ, вездѣ казалось ему, что какой-нибудь міръ оборвался и весь земной шаръ стремится расшибить въ пыль...“ Сатира Новикова ничего не преувеличивала въ изображеніи общественныхъ типовъ. Среди тогдашняго „староманернаго“ общества, дѣйствительно находились Безразсуды, которые обыкновенно враждебно относились къ научному знанію и его представителямъ. Въ доказательство приведемъ выдержку изъ записокъ такого Безразсуда, дворянина Нащокина. Въ то время, когда Ломоносовъ скорбѣлъ объ участи проф. Рихмана, убитаго громомъ при громоотводной машинѣ, и боялся, чтобы этотъ случай не возбудилъ боязливаго предубѣжденія и даже негодованія противъ пытливей науки о природѣ, дворянинъ Нащокинъ въ своихъ малограмотныхъ запискахъ рассказывалъ о смерти почтеннаго ученаго съ грубымъ неуваженіемъ и злорадною насмѣшкою. „Профессоръ Рихманъ“, пишетъ онъ, „машиною старался объ удержаніи и грома, и молніи, дабы отъ идущаго грома людей спасти; но съ нимъ прежде всего случилось при той самой сдѣланной машинѣ, съ нимъ, Рихманомъ, о мудрованіи сходно произошло въ древности, какъ Эсхиль тоже черезъ астрономію позналъ убіеніе себя верженіемъ сверху: орелъ съ высоты опустилъ желвь (черепаху) и разбилъ лысую голову Эсхила. Такъ и Рихманъ за вымыслы свои получилъ нечаянный конецъ“.

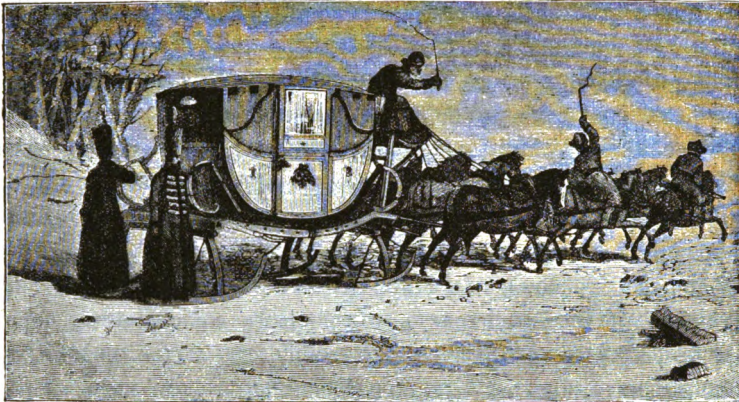
Журналы того времени, понимая всю важность вопроса о воспитаніи подрастающаго поколѣнія, отводили ему на своихъ страницахъ видное мѣсто. Здѣсь рисуется много безотрадныхъ картинъ.

У „староманерныхъ“ отцовъ и матерей, цѣнившихъ только житейскій опытъ, воспитаніе дѣтей большею частію предоставлялось слугамъ. Ученіе начиналось поздно и заключалось въ чтеніи Часослова, Четій Миней и Библии. Учителями были пономарь, дьячекъ, грамотный дворовый человекъ или такъ называемый „мастеръ“. Были среди поклонниковъ старины и болѣе податливые люди, склонные къ уступкамъ времени, которые, слѣдуя примѣру знатныхъ, рѣшались допустить въ свои дома иностраннаго гувернера; но собственное ихъ невѣжество лишало возможности сдѣлать надлежащій выборъ, и они нерѣдко попадали на какого-нибудь проходимца, обманщика. Порошинъ въ своихъ запискахъ рассказываетъ, какъ къ одному изъ московскихъ дворянъ нанялся въ учителя чухонецъ, назвавъ себя французомъ, и дѣтей его, вмѣсто французскаго, успѣшно выучилъ чухонскому языку. Впрочемъ, кто не знакомъ съ этою системою воспитанія по знаменитой комедіи фонъ-Визина. Поэтому мы перейдемъ теперь къ средѣ „новоманерныхъ“.

Общество, въ которое мы при этомъ попадаемъ, представляетъ, повидимому, полный контрастъ стариннымъ простакамъ, державшимся до-петровскихъ правилъ. Это—общество людей, изящныхъ по наружному виду, одѣтыхъ по послѣдней парижской модѣ, нерѣдко съ моднымъ французскимъ невѣріемъ въ головѣ, изъясняющихся на „божественномъ“ французскомъ языкѣ или, по крайней мѣрѣ, съ значительною примѣсью этого послѣдняго къ родному,—людей, которые, по словамъ французскаго посла Сегюра, „одѣвались, жили, меблировали свои комнаты, ѣли, встрѣчались, кланялись, вели себя на балѣ, какъ настоящіе французы“. Но „подъ покровомъ европейскаго лоска“ тотъ же умный и образованный французъ видѣлъ въ нихъ ясно „слѣды прежнихъ временъ“. Такимъ образомъ, при болѣе внимательномъ и глубокомъ наблюденіи надъ жизнью „староманерныхъ“ и „новоманерныхъ“, видимый глазу контрастъ между тѣми и другими значительно умался, и обнаруживались сходныя черты.

Французское вліяніе, начавшееся еще при Елисаветѣ, было чрезвычайно сильно въ просвѣтительную эпоху: оно отразилось на нашей образованности, нравахъ, на нашемъ свѣтскомъ обращеніи, костюмахъ, домашней обстановкѣ, развлеченіяхъ и даже кухнѣ.

Наше молодое общество, культура котораго началась только нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ и шла, какъ мы видѣли, временами довольно туго, не могло устоять противъ соблазновъ блестящей роскошной жизни французскаго высшаго общества. Старые запреты прадедовской морали были брошены, замѣнить ихъ было нечѣмъ, а требовалось наполнить чѣмъ нибудь душевную пустоту. И вотъ, оно жадно набросилось на модные наряды, на европейскія

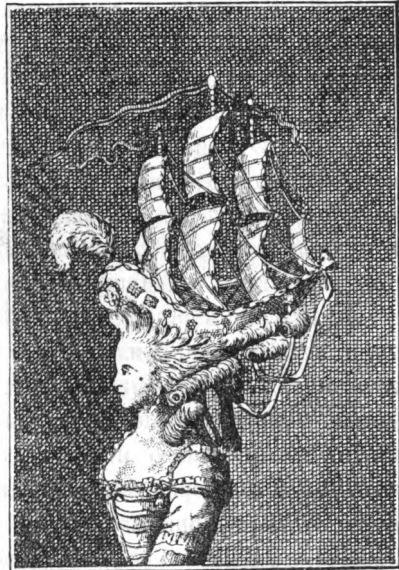


увеселенія, изысканную ѣду и пр. Недостатокъ умственнаго развитія, большой досугъ у людей привилегированнаго класса, со времени освобожденія (во второй половинѣ прошлаго вѣка) отъ обязательной службы государству, и полная матеріальная обеспеченность, благодаря крѣпостному праву, способствовали развитію у насъ интереса къ внѣшней, обстановочной сторонѣ жизни и распространенію роскоши. „Вкусъ умножился, подражаніе роскошнѣйшимъ народамъ возрастало“, говоритъ историкъ этой эпохи кн. Щербатовъ, „и человекъ дѣлался почтененъ по мѣрѣ великолѣпности своего житія“. Вельможи того вѣка много путешествовали по чужимъ краямъ и многое перенимали изъ того, что видѣли при европейскихъ дворахъ. До насъ дошло не мало свидѣтельствъ въ запискахъ современниковъ, по которымъ мы можемъ судить, до какой степени роскошна была обстановка въ домахъ екатеринин-

скихъ вельможъ. И домовъ такихъ было не мало въ обѣихъ столицахъ и ихъ окрестностяхъ. Дворецъ Потемкина и его зимній садъ такъ очароваль Державина, что онъ спрашивалъ себя: „не се ли эдемъ?“ Король шведскій, посѣтившій домъ гр. Безбородко во время бала, сказалъ: „это настоящій волшебный дворецъ!“ У Безбородко было два дома: одинъ въ Москвѣ, другой въ Петербургѣ; польскій король Станиславъ о нихъ пишетъ: „во всей Европѣ ничего не найдется подобнаго въ пышности и убранствѣ“. Танцевальныя залы сверкали хрустальными люстрами, а вазы, украшавшія ихъ, во время баловъ наполнялись цвѣтами, осыпанными брилліантами и жемчугомъ. Большіе пиры и праздники, которыхъ было такъ много въ то время, своею пышностью, затѣйливостью поражали иностранцевъ. Сегюръ, описывая балъ и ужинъ у Шереметева, въ подмосковной деревнѣ, говоритъ: „никогда я не видывалъ такого множества золотыхъ и серебряныхъ сосудовъ, столько фарфора, мрамора и порфира. Весь хрусталь на столѣ на сто приборовъ былъ осыпанъ дорогими каменьями всѣхъ цвѣтовъ и родовъ и самой высокой цѣны. Такъ-то русскіе вельможи, заключаетъ онъ, лишь только вступили на путь просвѣщенія, какъ уже начали подражать патриціямъ Рима“. Балы Потемкина, Нарышкина, вечера гр. Орлова имѣли громкую извѣстность. Такая жизнь требовала огромнаго штата прислуги, въ составъ которой входили пажы, гусары, казаки, скороходы, арапы, карлики, свои крѣпостные артисты, ху-



дожники, чтецы, стихотворцы, учителя, лѣкари, архитекторы, даже бывали астрономы. Для прислуги придумывались самые затѣйливые костюмы: арнаутскіе, польскіе, гусарскіе. Жить роскошно стремились всѣ, отъ перваго вельможи до послѣдняго офицера, помѣщика и чиновника. Болотовъ въ своихъ запискахъ говоритъ: „Всѣ, не только знатные и богатые, но и самаго посредственнаго состоянія



люди восхотѣли ѣсть на серебрѣ, и всѣ затѣвали дѣлать себѣ серебряные столовые сервизы“.

За столицами тянулась и провинція. Тогдашніе помѣщики, по словамъ одного изслѣдователя, заводили въ своихъ имѣніяхъ капельмейстеровъ, балетмейстеровъ, шталмейстеровъ, выписывая изъ за-границы душистыя помады, шампанскія, венгерскія, бургонскія вина, они забрасывали свои хозяйства и съ чувствомъ презрѣнія относились къ русскимъ бездѣлкамъ, въ родѣ хлѣба, домашняго холста, воску, меду. На балу въ Смоленскѣ, рассказываетъ Се-гюръ, „было до трехъ сотъ дамъ въ богатыхъ нарядахъ; онѣ по-

казали намъ, до какой степени внутри имперіи дошло подражаніе роскоши, модамъ и пріемамъ, которые встрѣчаешь при блистательныхъ дворахъ европейскихъ“. Сегюръ удивлялся роскошной жизни тогдашняго дворянства, ихъ имениннымъ торжествамъ, многочисленности прислуги, обычаю ѣздить въ каретѣ не иначе, какъ въ четыре или шесть лошадей, съ выѣздными гусарами и форрейторами. Обстановочные интересы сдѣлались главными жизненными интересами. По свидѣтельству Добрынина, генераль-губернаторъ Бѣлоруссіи шель обыкновенно въ присутствіе, предшествуемый и сопровождаемый чиновниками, знатнѣйшимъ шляхетствомъ губерніи, пажамъ и швейцарами. Журналъ „Смѣсь“, подмѣтивъ эту сторону жизни, удачно изображаетъ ее въ статьѣ „Каковы люди“. „Есть праздничные люди, говоритъ онъ, которые, кажется мнѣ, что представляютъ театральныя декорации. Они рѣдко смѣются, высоко носятъ голову, не смотря никогда на землю, говорятъ такъ, какъ сказываютъ продики, даютъ совѣты, какъ повелѣнія; знаютъ, какъ поступать съ тѣми, кои ихъ посѣщаютъ, и изъ какихъ кривыхъ линій должны состоять ихъ поклонны; у нихъ расписаны ихъ выѣзды; назначено, какое въ какой день надѣвать платье; и сіи то люди называются почтенными“.



Та же декоративность, то же стремленіе поразить глазъ сказывалось въ тогдашнихъ нарядахъ и уборахъ, перешедшихъ изъ Парижа, который былъ уже законодателемъ моды. Особенною вычурностью отличались головные женскіе уборы. При взглядѣ на нихъ невольно приходится удивляться, что находилось столько охот-

ницъ уродовать себя и подвергать добровольнымъ мукамъ. Чѣмъ только не убирали свои головы щеголихи того времени: шишаками, цвѣтами, на подобіе пчелиныхъ ульевъ, перьями, даже пѣльми кораблями. Какой высоты достигали иногда дамскія прически, можно судить по картинкѣ, изображающей уборъ подѣ названіемъ „чепца побѣды“. Московскій журналъ „Сатирическій Вѣстникъ“ шуточно замѣчаетъ по поводу такихъ уборовъ, что въ Каретномъ Ряду дѣлаются для удобства дамъ кареты трехъ сажень въ вышину. Журналъ „Вечера“ подробно рассказываетъ, какъ проводила щеголиха время за туалетомъ, на который требовалось не менѣе пяти часовъ, какъ при этомъ за каждую неудачу отвѣчаютъ крѣпостныя служанки „терпѣніемъ, а иногда щеками“. Провинція и по части моды не отставала отъ столицъ. „Разстояніе тысячи верстъ“, говоритъ провинціальная дама въ журналѣ „Смѣсь“, „не препятствуетъ новымъ модамъ доходить къ намъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ. Знаете ли, что петербургскій или московскій чепчикъ столько же здѣсь примѣчается, какъ венерино прохожденіе мимо солнца наблюдается астрономами. Онъ долгое время составляетъ матерію всѣхъ женскихъ разговоровъ, переходитъ изъ рукъ въ руки, привлекаетъ общее вниманіе, производитъ удивленіе и стараніе добыть ему подобный“.

Румяна, бѣлилы, мушки были необходимыми принадлежностями и дамскаго и мужскаго туалета. Франту того времени одѣться по модѣ стоило немало хлопотъ и времени. Часа два припекали ему волосы разными щипцами, потомъ страдалецъ пряталъ свое лицо въ бумажную маску, чтобы не задохнуться отъ пудры, которою пудрили ему голову. Особенно трудно приходилось щеголямъ въ праздничные дни, по словамъ журнала „И то и се“.

„Лишь только отъ сна, взглянувъ на свѣтъ очами,
Во первыхъ моются пахучими водами,
Гнутъ волосы въ крючки,
Потомъ касаются сурмилами бровямъ,
Румянъ и горсть бѣлилъ бросаютъ по щекамъ,
Сердечки изъ тафты желѣзомъ выбиваютъ
И, наклеивъ на персть, для моды прилѣпляютъ“.

Кафтаны и камзолы украшались золотымъ шитьемъ. Бархатъ, кружева, блонды составляли необходимыя украшенія мужскихъ костюмовъ. Рассказываютъ, что манжеты гр. Орлова изъ дорогихъ кружевъ стоили 30,000 рублей, Башмаки украшались большими пряжками, на пальцахъ щеголя были непременно дорогіе перстни, а въ рукахъ трость. Употребленіе париковъ держалось очень долго, одно время вошло въ моду собирать волосы сзади на подобіе женской косы и укладывать въ кошелекъ. Это дало поводъ Новикову назвать „Кошелькомъ“ свой третій журналъ, осмѣивавшій нашу французманію.

Теперь послушаемъ, какъ въ этомъ модномъ, блестящемъ обществѣ разсуждаютъ о просвѣщеніи. „Что въ наукахъ?“ говоритъ Нарцисъ новиковскаго „Живописца“. „Астрономія умножитъ ли красоту мою паче звѣздъ небесныхъ?—Нѣтъ: на что же она мнѣ? Математика прибавитъ-ли моихъ доходовъ? — Нѣтъ: чертъ-ли въ ней? Физика изобрѣтетъ ли новыя таинства въ природѣ, служащія къ моему украшенію? Нѣтъ: куда она годится? Исторія покажетъ ли мнѣ человѣка, который бы былъ прекраснѣе меня? Нѣтъ: какая-жъ въ ней нужда? Географія сдѣлаетъ ли меня любезнѣе? Нѣтъ: такъ она и недостойна моего вниманія“... Одна только изъ словесныхъ наукъ признается Нарцисомъ заслуживающею вниманія — стихотворство: ему иногда хотѣлось бы сочинить пѣсенку (это было въ то время въ модѣ). Онъ бы не прочь поучиться этому искусству, но бѣда въ томъ, что не знаетъ русскаго языка. Онъ точно такъ же, какъ и его покойный батюшка, съ презрѣніемъ и ненавистью относится къ родной странѣ и ея языку и съ негодованіемъ говоритъ о томъ, что родился въ Россіи, гдѣ человѣкъ его достоинствъ не можетъ найти счастья. При этомъ Новиковъ исчисляетъ высокія достоинства Нарциса: „танцуетъ прелестно, одѣвается щегольски, поетъ, какъ ангелъ, принялъ уже нѣсколько уроковъ отъ французскаго шпагобойца, играетъ во всѣ карточныя игры, а при томъ разумѣетъ по-французски.“

Мы видѣли уже, что „староманерные“ люди екатерининскаго вѣка не далеко ушли отъ кантемировскихъ Сильвановъ и Критоновъ: новыя вѣянія ихъ почти не коснулись, и они, оставшись при тѣхъ же чувствахъ и взглядахъ, тянули одну и ту же ста-

рую пѣсню. Но, приглядываясь внимательно къ новиковскому Нарцису и сравнивая его съ Медоромъ, мы не можемъ не замѣтить значительныхъ перемѣнъ, которыя произошли въ типѣ „новоманернаго“ щеголя за послѣднія десятилѣтїя.

Кантемировскій Медоръ былъ наивенъ и скромнень въ своихъ требованїяхъ отъ жизни: онъ по-дѣтски лепеталъ, что не смѣнить на Сенеку фунтъ доброй пудры, что Виргилій передъ моднымъ сапожникомъ двухъ денегъ не стоитъ, и былъ счастливъ или, по крайней мѣрѣ, доволенъ, когда хватало бумаги, чтобы завернуть его кудри. Екатерининскій Нарцисъ гораздо самоувѣреннѣе, бойчѣе, требовательнѣе и, слѣдовательно, опаснѣе.

Надѣвши модный европейскій костюмъ, обучившись танцамъ, свѣтскимъ манерамъ и французскому языку, Нарцисы гордо носили голову: они считали себя представителями прогресса. Они не сдѣлали успѣха въ наукахъ, знакомыхъ имъ только по названїямъ, но гордились сознаниемъ своихъ мнимыхъ достоинствъ и открыто заявляли презрѣнїе ко всему родному. Эта смѣлость и самоувѣренность Нарциса несомнѣнно свидѣтельствуетъ о томъ, что за нимъ стоитъ тотъ большой модный свѣтъ, который взростилъ, взлелѣялъ его и, любяся имъ, поддерживаетъ въ немъ эти чувства. Съ перваго взгляда этотъ типъ представляется жалкимъ, ничтожнымъ, но эта ничтожность только кажущаяся. Вдумавшись поглубже въ условїя окружающей его жизни, мы откроемъ въ немъ стороны, заслуживающїя серїознаго общественнаго вниманїя. Не слѣдуетъ забывать, что Нарцисы принадлежали къ привилегированному сословію по своему происхожденїю, что выходя изъ юношескаго возраста, посвящаемого исключительно вертопрашеству, они становились самостоятельными и получали возможность въ тотъ вѣкъ господства всесильнаго случая дѣйствовать нерѣдко въ широкихъ предѣлахъ. Наша сатира прошлаго вѣка, къ чести ея сказать, стремясь къ новому, болѣе разумному и справедливому порядку вещей, своевременно снимала съ пьедестала этихъ героевъ ложнаго прогресса и показывала обществу ихъ въ настоящемъ видѣ, открывая опасныя стороны внѣшняго европеизма.

Иногда дѣлаютъ огульный и поэтому несправедливый упрекъ сатирѣ XVIII вѣка за излишнее вниманїе къ щеголямъ и щеголи-

хамъ того времени. Но этотъ упрекъ справедливъ только по отношенію къ тѣмъ журналамъ, которые удѣляли имъ слишкомъ много мѣста и, дѣйствуя въ „улыбательномъ духѣ“, разсматривали ихъ съ чисто внѣшней стороны, съ исключительною цѣлью посмѣшить читателя.

Презрѣніе ко всему родному было до такой степени общимъ въ тогдашнемъ модномъ обществѣ, что всякій петиметръ и всякая щеголиха считали для себя позоромъ говорить на русскомъ языкѣ. О русскомъ театрѣ и русскихъ актерахъ въ большомъ свѣтѣ отзывались презрительно только потому, что они русскіе. Новиковъ въ своемъ „Кошелькѣ“ выступилъ съ обличительнымъ протестомъ противъ этого слѣпого увлеченія чужеземнымъ. Онъ страстно желалъ распространенія на Руси европейской науки, но съ сохраненіемъ національныхъ началъ, съ сохраненіемъ уваженія къ родной странѣ, ея исторіи и языку. Сатира того времени, по словамъ изслѣдователя, весьма удачно рѣшала поставленный Фонъ-Визинымъ вопросъ: „какъ истребить два сопротивные и оба вредные предразсудка: первый, будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй, будто въ чужихъ краяхъ все дурно, а у насъ все хорошо?“ „Сатира не щадила въ своихъ смѣлыхъ нападкахъ ни темныхъ предразсудковъ старины, ни слѣпота пристрастія къ чужеземнымъ обычаямъ и соединяла уваженіе и любовь къ родинѣ съ полнымъ уваженіемъ къ западной наукѣ“.

Не безъинтересно прочесть въ „Кошелькѣ“ письмо либеральнаго защитника французскаго вліянія. „Я объ Васъ сожалею, г. издатель“, говоритъ авторъ письма: „ваша любовь къ отечеству и къ древнимъ російскимъ добродѣтелямъ не что иное, какъ сумасбродство!..“ „Вамъ бы должно родиться давно, давно, т. е. когда древнія російскія добродѣтели были въ употребленіи, а именно: когда всѣ науки заключались въ однихъ святцахъ, когда разные меды и вино пивали ковшами, когда женились, не выдавъ невѣсты своей въ глаза, когда всѣ добродѣтели замыкались въ густотѣ бороды, когда за различное „знаменованіе“... „сожигали въ срубкахъ“,.. „словомъ сказать, когда было великое изобиліе всѣхъ тѣхъ добродѣтелей, кои отъ просвѣщенныхъ людей именуется нынѣ варварствомъ. Тутъ-то бы вы и прославились! Я думаю, что

вы бѣднымъ французамъ не дали бы и Нѣмецкой Слободы въ Москвѣ, но всѣхъ бы выгнали ихъ изъ государства“... „Не желаете ли, чтобы науки, въ Россію, помощію обращенія съ французами, введенныя, опять изъ Россіи изгнаны были вмѣстѣ съ французами?..“

Очевидно, что въ модномъ русскомъ обществѣ велись такіе разговоры, что Новикову приписывали нетерпимость къ иностранцамъ и слѣпое пристрастіе къ русской старинѣ, чего въ немъ совсѣмъ не было. Очевидно также, что общество не понимало, на что сатирикъ нападалъ и что онъ высоко цѣнилъ въ европейскомъ вліяніи. Ихъ точки зрѣнія на этотъ предметъ были различны. „Онъ (Петръ I) не съ той стороны принялся за просвѣщеніе нравовъ“, говоритъ французоманъ „Кошелекъ“ въ другомъ мѣстѣ: „ибо нѣмцы, голландцы и англичане никогда бы нравовъ нашихъ не просвѣтили. Однимъ французамъ честь сія предоставлена“... „Одно только обхожденіе съ французами и путешествіе въ Парижъ могло хотъ нѣкоторую часть россіянь просвѣтить“. Безъ французовъ развѣ могли бы мы назваться людьми? Умѣли ли мы прежде порядочно одѣться и знали ли всѣ правила нѣжнаго, учтиваго и пріятнаго обхожденія, тонкими вкусами утвержденныхъ? Безъ французовъ не знали бы мы, что такое танцованіе, какъ войти, поклониться, напрыскаться духами, взять шляпу и пр.“ Вотъ что цѣнило общество во французскомъ вліяніи и чѣмъ оно ограничивалось. Перенять приемы свѣтскаго обращенія считалось совершенно достаточнымъ для того, чтобы слыть образованнымъ человѣкомъ.

Русскій дворянинъ, побывавшій въ Парижѣ, пріѣзжалъ въ Россію, „ничему серіозно не учась“, говоритъ Новиковъ, „ученымъ человѣкомъ: онъ могъ смѣло критиковать дѣла военныя, гражданскія, политическія“. Такому на все готовому дѣятелю приходилось не долго ждать случая примѣнить свои знанія къ дѣлу, если у него только были хорошія связи въ большомъ свѣтѣ. Даже новиковскій „Молокососъ“, сынъ богатаго родовитаго батюшки, и тотъ служить, при чемъ начальники ему угождаютъ, потому что у него знатные родственники. Заканчивая свою сатиру на модниковъ, Новиковъ задаетъ читателю вопросъ: „читатель, скажи мнѣ, каковы будутъ дѣти Нарцисовы?“

Воспитаніе дѣтей въ средѣ „новоманерныхъ“ было въ модѣ по-

ручать французу-губернеру или французенкѣ. Пльбный французъ Белькуръ, жившій въ Россіи довольно долго, остроумно замѣчаетъ: „дворянинъ, который желаетъ быть свѣтскимъ чело-вѣкомъ, долженъ имѣть датскую собаку, скорохода, много при-слуги и француза учителя“. „Въ Россію, по словамъ Сегюра, пріѣзжало множество негодныхъ французовъ, искателей и иска-тельницъ приключеній, лакеевъ, которые ловкимъ обращеніемъ и умѣньемъ изъясняться скрывали свое званіе и невѣжество. Но этому не было виною наше правительство, говоритъ Сегюръ. Всѣ эти люди не были никѣмъ покровительствуемы. Скорѣе можно было винить самихъ русскихъ, потому что они съ непонятною без-печностью принимали къ себѣ въ дома людей, за способность и честность которыхъ никто не ручался. Любопытно и забавно было видѣть, какихъ странныхъ людей назначали учителями и настав-никами дѣтей въ иныхъ домахъ въ Петербургѣ и въ особенности внутри Россіи“. Одинъ изъ сатирическихъ журналовъ спрашиваетъ: „можно ли разсчитывать на нравственное развитіе ребенка, отдан-наго на руки такого чело-вѣка, достоинства котораго заключаются только въ томъ, что онъ родился во Франціи и дешево беретъ за ученье?“ Дворяне небогатые, подражая богатымъ, тянулись за ними, но хлопотали, главнымъ образомъ, чтобы достать француза подешевле. Журналъ „Вечера“ разсказываетъ о чудесномъ превраще-ніи француза де-Фаде, бывшаго лотерейнаго разносчика, въ учи-теля дѣтей одного дворянина. Разсказъ оканчивается тѣмъ, что дѣти почтеннаго дворянина черезъ нѣсколько времени забыли рус-скую грамоту, плохо узнали французскую, черезъ годъ выучились играть въ банкъ и др. игры, узнали билліардные дома и наконецъ промотали отцовское имѣніе. Что зло это существовало дѣйстви-тельно и въ большихъ размѣрахъ, подтверждается правительствен-нымъ указомъ, которымъ утверждено основаніе Московскаго Уни-верситета. Тамъ между прочимъ сказано: „у большей части помѣ-щиковъ жили на дорогомъ содержаніи учителя, изъ которыхъ многіе не только не могли преподавать науки, но и сами ничего не знали. Иные же родители, не имѣя знанія въ наукахъ, принимали такихъ, которые лакеями, парикмахерами и другими подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали“.

Воспитаніе дѣвушки въ кругу „новоманерныхъ“, при описанныхъ выше условіяхъ, разумѣется, также не могло быть поставлено на разумныхъ основаніяхъ. Система женскаго воспитанія, по „Сатирическому Вѣстнику“, была такова: сначала учили ѣсть опрятно, потомъ умѣнью присѣдать, вмѣсто старинныхъ поклоновъ. Обучивъ болтанію на французскомъ языкѣ на подобіе попугаевъ, обращались къ великой наукѣ ногъ. „По семъ вдругъ устремляли попеченіе свое о приданіи достоинствъ рукамъ: съ утра до вечера пригвождали молодую дѣвушку къ фортепіано“. Черезъ нѣсколько лѣтъ дѣвица, по мнѣнію родителей, могла назваться совершенно воспитанною. Всю программу воспитанія такимъ образомъ составляли танцы, французскій языкъ и фортепіано. Она, какъ извѣстно, дожила до времени Гоголя, хотя въ нѣсколько усовершенствованномъ видѣ: съ различными перестановками и съ прибавленіемъ новаго предмета—вязанія сюрпризовъ для будущаго супруга. Другъ Радищева, Ушаковъ, въ своихъ запискахъ вполнѣ подтверждаетъ приведенную сатиру.

„Въ нашемъ вѣкѣ, говоритъ онъ, дѣвушка воспитывается въ играхъ, забавахъ: вся разума ея округа внѣшнимъ ограничивается блескомъ; свобода въ убранствѣ, прелесть поступи и нѣсколько наизусть выученныхъ модныхъ словъ заступаютъ мѣсто мыслей и изгоняютъ природное чувствованіе“.

Неудивительно послѣ этого, что тогдашнія щеголихи вкривь и вкось разсуждали о совершенно чуждыхъ имъ наукахъ, что имъ казались смѣшными и глупыми люди, которые самыя прекрасныя лѣта тратили на обученіе. „Въ словахъ „умѣть нравиться“ заключаются всѣ наши науки“, говоритъ щеголиха новиковскаго журнала и всячески издѣвается надъ ученой женщиной, какъ надъ существомъ, по ея мнѣнію, безпримѣрно жалкимъ.

Не разумнѣе щеголихи смотритъ на образованіе и Рубакинъ (по второму изданію „Живописца“, а по первому — Худовоспитанникъ). Для него, военнаго человѣка, науки не годятся потому, что смягчаютъ сердце человѣческое, а отъ мягкосердечія, по его мнѣнію, до трусости одинъ только шагъ. Все образованіе военныхъ того времени заключалось въ знаніи фронтовой службы и строгой дисциплины“. Моя наука, говоритъ Рубакинъ, въ томъ состоитъ,

чтобы умѣть командовать: пали! коли! руби! и быть строго къ своимъ подчиненнымъ“.

Послѣдній типъ хулителя наукъ, выведенный въ „Живописецъ“ Новикова,—типъ невѣжественнаго судьи Кривосуда, который признаетъ только одну науку—знаніе указовъ и умѣніе пользоваться ими для своей выгоды. Уже со временъ Теофана Прокоповича и Кантемира раздавалось обличительное слово противъ недостатковъ нашего дореформеннаго суда. Сатира просвѣтительной эпохи со своей стороны смѣло указывала обществу на подкупность судей, на неправильное рѣшеніе и умышленное затягиваніе дѣлъ. Одинъ изъ современниковъ доказываетъ, какими средствами проситель могъ достигать своей цѣли: онъ долженъ былъ употреблять лесть, ласкательство, дары, угожденіе не только тому лицу, отъ котораго зависѣло исполненіе его просьбы, но и его секретарю, писцамъ, сторожамъ, лакеямъ и даже собакѣ, если она тутъ случится. Такъ, по замѣчанію изслѣдователя этой эпохи, жизнь вырабатывала типъ грибоѣдовскаго Молчалина.

Большинство судей плохо было знакомо даже съ указами; сами они и дѣломъ не занимались, подписывали только бумаги, часто не читая ихъ. Фамусовское правило: „подписано, такъ съ плечъ долой“ было уже готово. При такихъ условіяхъ тотъ или другой исходъ дѣла всегда зависѣлъ отъ секретаря. Роль секретаря была болѣе важная и болѣе активная. Секретари обыкновенно отличались опытностью и ловкостью въ крючкотворствѣ. Фонъ-Визинскій Артамонъ Взяткинъ рекомендуетъ Его Превосходительству, случайно сдѣлавшемуся судьей, взять къ себѣ на службу его сына, который, по его словамъ, „къ приказнымъ дѣламъ весьма сроденъ и уже сочинилъ совѣтъ новаго рода сводное уложеніе, прискавъ на каждое дѣло по два указа, изъ коихъ по одному отдать, а по другому отнять ту же самую вещь неоспоримо повелѣвается“. Будучи главнымъ лицомъ, направлявшимъ дѣло въ ту или другую сторону, секретарь былъ и главнымъ грабителемъ. Не даромъ стихотворная сатира XVIII вѣка („Сотвореніе секретаря“) изображаетъ его адскимъ созданіемъ. Царь ада, по сатирѣ, самъ собственноручно слѣпилъ истукана изъ смѣси, составленной изъ травъ: бездушья, грабежа, насилья и обмана, чернильной накипи и адскаго

дурмана. Когда истуканъ уже былъ одушевленъ духомъ самого сатаны и зашевелился, царь ада сказалъ ему:

„Тебѣ нѣтъ имени еще, любезна тварь:
Такъ будь же секретарь!
Тутъ секретарь челомъ своимъ кивнулъ
И обѣ руки протянулъ,
Чтобъ взять за то съ него,
Что сотворилъ его.“



Какъ тяжелъ былъ обществу этотъ неправый, нескорый и немилостивый дореформенный судъ, наглядно изображаетъ карриатура, съ объяснительной стихотворною надписью:

„На четверенкахъ челобитчикъ,
На немъ взмостились писаря,

На писаряхъ лежитъ повытчикъ,
А самъ несетъ секретаря.
На семъ послѣднемъ засѣдатель
Сидитъ и гордо внизъ глядитъ.
Теперь скажи, о мой Создатель
Кто больше всѣхъ изъ нихъ крахтитъ?“

Послѣ всего сказаннаго невольно рождается вопросъ: не бесплодна ли борьба науки съ невѣжествомъ и тѣсно связанными съ нимъ общественными пороками? Мы видѣли такія мнѣнія, нравы, обычаи, которые, доставшись намъ по наслѣдству отъ до-петровской старины, дожили почти во всей неприкосновенности до екатерининскаго вѣка; видѣли также, что къ недостаткамъ, образовавшимся въ эпоху Петра, присоединились новые, созданные новыми вліяніями. Такимъ образомъ, живучесть зла является несомнѣнною. Но несомнѣнно также и то, что та же сила исторической преемственности идей дѣйствуетъ и въ пользу передачи добра, истины изъ поколѣнія въ поколѣніе. Мы видѣли, что высокія стремленія нашихъ первыхъ энтузіастовъ просвѣщенія, Прокоповичей и Кантемировъ, несмотря на всѣ затрудненія, задержки, передались ихъ преемникамъ, что эти стремленія заявляли о своемъ существованіи даже въ самыя трудныя времена и что они обнаружились съ новою силою, какъ только явились благопріятныя условія. Свидѣтельствомъ тому служитъ необыкновенно оживленная умственная дѣятельность въ просвѣтительную эпоху Екатерины II. Весьма существенные успѣхи дѣлаетъ въ это время литература и просвѣщеніе. Въ литературѣ создается и упрочивается новое сатирическое направленіе, съ нимъ вмѣстѣ появляется и новый кругъ читателей, образуется тотъ „мѣщанскій вкусъ“, о которомъ говоритъ Новиковъ въ одномъ изъ своихъ предисловіій и которымъ онъ объясняетъ успѣхъ своихъ журналовъ. Это новое направленіе оказываетъ немалое противодѣйствіе ложноклассическому съ его аристократическою теоріею поэзіи и придворными сюжетами. Литература съ придворныхъ высотъ спускается въ среднее общество. Единоличныя, разрозненныя усилія Посошковыхъ и Ломоносовыхъ

на пользу русскаго просвѣщенія замѣняются соединенными дружными силами кружковъ, которые сплачиваются вокругъ издателей журналовъ. Замѣтны усиленныя заботы о просвѣщеніи со стороны не только правительства, но и частныхъ лицъ, и если не все, то многое изъ задуманнаго осуществляется.

Нельзя, конечно, не признать, что борьба со зломъ трудна и продолжительна, но она не бесплодна и, слѣдовательно, обязательна, и однимъ изъ самыхъ могучихъ средствъ въ этой борьбѣ всегда было и будетъ — распространеніе истинныхъ, научныхъ знаній.





Д. И. ФОНВИЗИНЪ.

Въ Москвѣ, въ Басманной части, недалеко отъ Гороховаго поля есть переулочъ, называемый Денисовскимъ. Существуетъ преданіе, что именемъ своимъ переулочъ обязанъ Денису Ивановичу Фонвизину. Здѣсь, будто, стоялъ 150 лѣтъ назадъ домъ его отца, Ивана Андреевича Фонвизина, небогатаго дворянина-помѣщика, служившаго въ военной службѣ, а послѣ некрupнымъ чиновникомъ въ ревизіонной коллегіи. Иванъ Андреевичъ былъ рѣдкостный человѣкъ своего времени. Не получивъ никакого образованія, кромѣ простой грамотности и, можетъ быть, начатковъ ариеметики, съ которыми его выпустила въ полкъ какая нибудь цифирная школа Петровскаго времени, онъ имѣлъ любовь и уваженіе къ книгѣ, къ образованію: въ семейномъ кругу онъ любилъ собратъ вокругъ себя дѣтей и читать или рассказывать имъ что нибудь. Должно думать, что рассказывалъ онъ съ охотой и умѣло, такъ какъ Денисъ Ивановичъ вспоминалъ послѣ, какъ онъ ребен-

комъ плакалъ отъ жалости, слушая отцовскій разсказъ о судьбѣ Иосифа, проданнаго братьями. Нашъ сатирикъ не помнилъ себя неграмотнымъ; это значитъ, что и учить его начали рано, и выучился онъ легко и скоро. Конечно, быстрые и легкіе успѣхи отчасти объясняются способностями мальчика, но кое-что надо приписать и разумнымъ дѣйствіямъ родителей. Посади они его за грамоту въ томъ возрастѣ, въ какомъ Митрофанушка учебнымъ голосомъ выводилъ по складамъ: „Азъ есмь скоть“, да поручи его руководству какого нибудь Кутейкина, или пономаря Брудастаго, у котораго учился маіоръ Даниловъ, — навѣрное, Денисъ Ивановичъ всю жизнь не забылъ бы, какъ и когда вкусилъ онъ впервые горькій корень ученія. Наконецъ, Иванъ Андреевичъ, по выраженію сына, „ни сутокъ не мѣшкалъ“ отдать двухъ старшихъ сыновей въ гимназію, едва она открылась вмѣстѣ съ университетомъ въ 1755 г. Таково было отношеніе къ образованности, къ наукѣ у этого совсѣмъ непросвѣщеннаго помѣщика Петровскихъ временъ. Нравственный обликъ Ивана Андреевича, довольно ясно сквозящій въ запискахъ его знаменитаго сына, необыкновенно симпатиченъ. Онъ былъ очень вспыльчивъ, но ни съ кѣмъ не ссорился и даже съ крѣпостными людьми обходился кротко; они платили ему за это преданностью; „сіе доказываетъ“, справедливо замѣтилъ Денисъ Иван., „что побои не есть средство къ исправленію людей“. Любопытенъ взглядъ Фонвизина—отца на дуэль. „Мы живемъ подъ законами“, говорилъ онъ, „и стыдно, имѣя таковыхъ священныхъ защитниковъ, каковы законы, разбираться самимъ на кулакахъ. Ибо шпаги и кулаки суть одно“. Нравственная чистота его была необыкновенна: онъ краснѣлъ, когда слышалъ, что кто нибудь при немъ лжетъ. Излишне прибавлять, какъ онъ относился къ взяткамъ. Въ доброе старое время судейскія обязанности обыкновенно такъ портили челоуѣку зрѣніе, что онъ даже на близкомъ разстояніи не могъ отличить сахарную голову отъ судебного доказательства: Иванъ Андр. никогда не смѣшивалъ этихъ двухъ предметовъ. Мать нашего сатирика, очевидно, тоже была женщина не заурядная. Сынъ характеризуетъ ее такими словами: „Разумъ имѣла тонкій и душевными очами видѣла далеко. Сердце ея было сострадательно и никакой злобы въ себѣ не вмѣщало: жена была добродѣтельная, мать чадолюбивая, хозяйка бла-

горазумная и госпожа великодушная“. Подобныхъ людей мы готовы признать за рѣдкое исключеніе для того времени;—кто знаетъ: быть можетъ, XVIII вѣкъ не такъ былъ бѣденъ подобными свѣтлыми личностями, какъ мы себѣ это представляемъ, но погибла ихъ память и лишь изрѣдка неожиданно глянуть они на насъ со страницъ какихъ нибудь семейныхъ мемуаровъ. Скромно сіяя въ тѣсномъ кругу семьи, они оставались незамѣченными литературой, которая одна могла увѣковѣчить ихъ, да и не подъ силу было нашей молодой литературѣ XVIII в. браться за передачу такихъ неяркихъ, тонкихъ и вполне простыхъ жизненныхъ образовъ: когда она бралась случайно за нихъ, они выходили изъ подъ ея рукъ въ видѣ мертвыхъ, отвлеченныхъ фигуръ, начиненныхъ книжной мудростью и прописной моралью. Такъ напримѣръ, можно съ вѣроятностью утверждать, что при сочиненіи фигуры Стародума въ умѣ Фонвизина носился образъ отца и еще другаго симпатичнаго человѣка Екатерининскаго времени—графа Н. И. Панина, но этого оказалось недостаточно, чтобы одѣть живой плотью сухой остовъ Софьиного дядюшки.

И такъ, дѣтство и юность Фонвизина прошли въ такой средѣ, гдѣ необразованность и патріархальная простота нравовъ соединились съ уваженіемъ къ наукѣ, любящимъ, человѣчнымъ отношеніемъ ко всѣмъ людямъ и высокой нравственной чистотой. Мальчикъ росъ чувствительнымъ и смышленнымъ. Онъ плакалъ навзрыдъ, слушая библейскій рассказъ, а вотъ примѣръ его смышленности. Тетка привозила иногда въ подарокъ дѣтямъ карты. Маленькій Фонвизинъ особенно любилъ карты „съ красными задками“. Онъ пишетъ: „я могу сказать, что на картахъ съ красными задками голова моя повернулась. И въ самомъ Римѣ едва ли оказали мнѣ такое удовольствіе арабески Рафаэлены, какъ тогда карты съ красными задками. По крайней мѣрѣ, смотря на первое, не чувствовалъ я такого наслажденія, какое ощущалъ отъ любимыхъ моихъ картъ, будучи младенцемъ“. Онъ началъ пускать въ ходъ всевозможныя хитрости, лукавства, чтобы при дѣлежѣ красныя карты доставались ему. „Но какъ хитрости мои рѣдко удавались, то пришелъ я въ уныніе и для полученія желаемаго рѣшился испытать другой способъ и чистосердечно открыться самой тетюшкѣ о моей печали;

но признаюсь, что и тутъ употребилъ я нѣкоторую хитрость, а именно: нашедшись съ нею наединѣ, составилъ я лицо такое печальное и простодушное, что тетушка спросила меня сама: о чемъ ты тужишь, другъ мой? На сей вопросъ признался я въ пристрастіи моемъ и, повинясь, что я ихъ всѣхъ обманывалъ, просилъ, чтобы впередъ на дѣлѣ доставались мнѣ любимыя карты. — „Ты хорошо сдѣлалъ, другъ мой, что мнѣ искренно открылся, сказала она: я для тебя привозить буду всегда особливо игру съ красными задками, кои въ дѣлежъ входить не будутъ“. Я въ восторгъ пришелъ отъ сего отзыва и тогда жъ почувствовалъ, что идти прямой дорогой выгоднѣе, нежели лукавыми стезями“. Эпизодъ доказываетъ несомнѣнно большую живость ума въ ребенкѣ, но онъ замѣчателенъ еще тѣмъ, что здѣсь въ бѣгломъ намекѣ обрисовались многія существенныя стороны характера и способностей Фонвизина. Здѣсь видны и сила эстетическихъ впечатлѣній, неудержимость желаній, чистосердечіе и вмѣстѣ большой практической смыслъ, острота соображенія, подсказавшая, какъ извлечь больше всего пользы изъ самаго чистосердечія, здѣсь наконецъ и мистификаторская жилка вмѣстѣ съ актерскимъ умѣньемъ „составить простодушное лицо“—это все черты, которыя отличали нашего сатирика и вполнѣдствіи.

Отданный въ 1755 г. въ Университетскую Гимназію, Фонвизинъ учится отлично, приобретаетъ порядочное знаніе латинскаго и нѣмецкаго языковъ и очень рано начинаетъ переводить. Извѣстный разговоръ Фонвизина о томъ, какъ онъ учился латинскому языку по пуговицамъ и получилъ медаль за отказъ направить Волгу въ какое бы то ни было море — должно принять съ осторожностью. Онъ, конечно, не вымышленъ, но острословіе, очевидно, завело Фонвизина дальше, чѣмъ слѣдовало, и одинъ какой нибудь случай онъ приводитъ, какъ характеристику всего преподаванія. По крайней мѣрѣ мы знаемъ, что черезъ два—три года ученья Фонвизинъ произноситъ на актѣ латинскую рѣчь, конечно, уже безъ помощи учительскихъ пуговицъ. За время пребыванія Фонвизина въ гимназіи и университетѣ, откуда онъ вышелъ въ 1762 г. 18-лѣтнимъ юношей, мы немного имѣемъ о немъ свѣдѣній, характеризующихъ его личность. Постепенно раскрываются основныя черты его двой-

ственной природы; живость темперамента и острый, ѣдкій умъ въ соединеніи съ добрымъ, мягкимъ сердцемъ дѣлають его пылкимъ, стремительнымъ юношей, смѣшливымъ и насмѣшливымъ и въ то же время нѣжнымъ, привязчивымъ, справедливымъ. Въ Москвѣ онъ еще на школьной скамьѣ прослылъ за „злаго и опаснаго мальчишку“, его язвительныя остроты носились по Москвѣ, задѣвая однихъ и забавляя другихъ; товарищи считали его великимъ критикомъ, и школьные поэты трепетали его суда и безбожно льстили ему, чтобы задобрить, но добродушное и неиспорченное сердце этого „злаго мальчишки“ не понимало подкладки этой лести; оно само трепетало отъ боязни обидѣть кого нибудь, кто не въ состояніи ему отмстить. „Ни передъ кѣмъ я такъ не трусилъ, какъ передъ тѣми, кои отъ меня зависѣли“, пишетъ онъ. Попавши на 15 году жизни въ Петербургъ, онъ восхищенъ до самозабвенія блескомъ и пышностью придворныхъ куртаговъ; сидя впервые въ театрѣ, онъ „хохочетъ изо всей силы, потерявъ благопристойность“, и потомъ „сошелъ было съ ума отъ радости“, узнавъ, что можетъ видѣть актеровъ въ домѣ у своего дяди. Но въ то же время онъ сильно скучаетъ по родителямъ и по нѣскольکو разъ въ день справляется на почтѣ, нѣтъ ли отъ нихъ писемъ. Здѣсь же остроуміе и находчивость выручаютъ его изъ одного затрудненія, нестерпимаго для 14-лѣтняго самолюбія. Въ театрѣ онъ свелъ знакомство съ однимъ знатнымъ подросткомъ-юношей, который, узнавъ, что Фонвизинъ не говоритъ по-французски, началъ немедленно обдавать его холодомъ презрѣнія съ высоты своей свѣтскости. „А я, говоритъ Фонвизинъ, примѣтя изъ оборота рѣчей его, что онъ кромѣ французскаго не смыслитъ болѣе ничего, сталъ отвѣдаться и моими эпиграммами загонялъ его такъ, что онъ унялся отъ насмѣшки и сталъ звать меня въ гости; я отвѣчалъ учтиво и мы разошлись пріятелями“. Фонвизинъ извлекъ изъ этого столкновения двойную пользу: онъ рѣшилъ учиться по-французски и черезъ два года уже переводилъ Вольтера, а кромѣ того онъ, вѣроятно, тутъ сдѣлалъ первый этюдъ съ природы для своего Иванушки.

Возвратившись изъ Петербурга, куда возилъ его директоръ въ числѣ лучшихъ учениковъ показать Ив. Ив. Шувалову, Фонвизинъ продолжаетъ ревностно учиться и въ то же время постепенно ста-

новится настоящимъ писателемъ. Онъ переводить цѣлый рядъ вещей, по большей части нравоучительныхъ, очевидно, находясь подъ вліяніемъ своихъ профессоровъ Шадена и Рейхеля. Сатирическій духъ его выразился въ эту пору въ переводѣ Гольберговыхъ басенъ, которыя внушили ему мысль написать свою первую сатирическую вещь—басню въ стихахъ „Лисица-кознодѣй“ (т. е. проповѣдникъ). Басни онъ переводилъ, вѣроятно, охотиѣе, чѣмъ поучительные романы; по крайней мѣрѣ ихъ простой и живой языкъ рѣзко отличается отъ надутаго слога серьезныхъ переводовъ. Вотъ одна басня 17-лѣтняго переводчика.

Свинья и петиметръ.

„Одинъ изъ тѣхъ молодыхъ людей, которые называются петиметрами, ѣхалъ верхомъ. Свинья, выдравшись изъ навоза, шла по улицѣ. Петиметръ, нимало не щадя ближняго, наскочилъ на свинью. Споткнулась лошадь. Петиметръ упалъ и задавилъ было свинью. „Чтобъ чортъ взялъ свинью!“ вскричалъ петиметръ: „платье мое все въ грязи отъ проклятой скотины“.— „Чтобъ чортъ взялъ этого сорванца!“ сказала свинья: „щетина моя вся въ пудрѣ“.

Въ оригинальной своей баснѣ, написанной годъ спустя, Фонвизинъ достигаетъ уже значительной силы выраженія: похвальное слово, которое говоритъ умершему Льву Лисица „съ смиренной харею, взмостяся на кафедру“,—очень удачная пародія на торжественныя рѣчи того времени:

„О рокъ, лютѣйшій рокъ! Кого лишился свѣтъ!
Кончиной кроткаго владыки пораженный
Восплачь и возрыдай звѣрей соборъ почтенный!
Се царь, премудрѣйшій изъ всѣхъ лѣсныхъ царей,
Достойный вѣчныхъ слезъ, достойный алтарей,
Своимъ рабамъ отецъ, своимъ врагамъ ужасенъ,—
Предъ нами распростерть, безчувственъ и безгласенъ!
Чей умъ постигнуть могъ число его добротъ,
Пучину благодати, величія, щедротъ?..

И затѣмъ—вульгарный, полународный языкъ Крота, который шепчетъ на ухо Собакѣ язвительный комментарий на рѣчь льстеца, — все это написано мѣтко и сильно. Будущій художникъ уже въ это время умѣлъ не только наблюдать то, что попадалось ему на встрѣчу, но и самъ отыскивалъ свою „натуру“ и изучалъ ее. Въ числѣ его московскихъ знакомыхъ было одно семейство, въ которомъ, пишетъ Фонвизинъ: „матушку ближніе и дальніе—словомъ, пѣлая Москва признала и огласила набитою дурой“. Бывая въ домѣ, Фонвизинъ часто нарочно вызывалъ эту матушку на разговоръ и утѣшался ея непроходимостью. „Признаю грѣхъ мой; она послужила мнѣ подлинникомъ къ сочиненію Бригадиршиной роли“.

Въ концѣ 1762 года мы видимъ Фонвизина въ Петербургѣ переводчикомъ иностранной коллегіи, вскорѣ затѣмъ на службѣ у кабинета—министра Елагина и наконецъ у министра иностранныхъ дѣлъ, гр. Н. И. Панина. 18-лѣтній юноша оторвался отъ горячо любимой семьи и промѣнялъ мирную Москву на пышный и шумный Петербургъ.

Дѣйствительно, Москва тогда довольно сильно отличалась отъ Петербурга. Богатое и знатное дворянство, дававшее тонъ обществу, все тѣснилось въ новой столицѣ, при дворѣ, а Москва носила на себѣ патріархально-провинціальный отпечатокъ.

Петербургъ тогда переживалъ свѣтлое и радостное время — первые годы правленія молодой, умной, живой и энергичной императрицы, исполненной горячаго желанія преобразовать важнѣйшія условія общественной жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ подвинуть общество на пути къ европейской цивилизаціи, сдѣлать жизнь легче, удобнѣе, утонченнѣе и веселѣе. Французское вліяніе стало расти не по днямъ, а по часамъ и сказываться во всѣхъ областяхъ жизни. Одинъ изслѣдователь пишетъ: „Возникла свѣтская жизнь. Петровскія ассамблеи превратились въ *soirées dansantes*, въ балы, концерты, маскарады. Танцы были самымъ взыскательнымъ искусствомъ. Мужчины, посыпавъ голову пудрой, принялись за многосложный туалетъ: щеголяли во французскихъ кафтанахъ съ пуговицами разныхъ сортовъ, въ глазетовыхъ и шелковыхъ камзолахъ, въ кружевныхъ манжетахъ, въ башмакахъ, въ треугольных шляпахъ. Длинная коса, вложенная въ кошелекъ, безчисленное множе-

ство буклей на парикѣ, манжеты, закрывающія всѣ пальцы рукъ, широкія серебряныя пряжки на тупоносыхъ башмакахъ, бамбуковая трость съ металлическимъ набалдашникомъ, были непремѣнными признаками щеголя. Прабабушки наши надѣли фижмы, длинные роброны, фуру-ферме, левиты, полонезы, сюртуки съ тремя разноцвѣтными воротниками и изучали у балетмейстеровъ контра-танцы и „миноветы“. Дворянство поѣхало за границу, изучало французскій и забывало русскій языкъ въ такомъ совершенствѣ, что за обѣдомъ у 10-лѣтняго цесаревича Павла молодой графъ Строгоновъ морить всѣхъ со смѣху, говоря по-русски, какъ нѣмецъ. Бросились читать и переводить всѣхъ французскихъ писателей. По примѣру Екатерины вельможи заводили себѣ богатые библіотеки, на которыя иногда только взглядывали. Дѣло происходило такъ. Знатный человекъ заходилъ къ книгопродавцу и заказывалъ приготовить ему книгъ. Какихъ? спрашивалъ тотъ. — „*Mais vous savez cela mieux que moi; c'est votre affaire. Des gros livres en bas, des petits en haut: tout à fait comme ils sont chez l'Impératrice*“.

Попавъ въ шумную сутолоку петербургской придворной жизни, молодой Фонвизинъ довольно долго чувствовалъ себя неловко, скучалъ и мыслями часто улеталъ въ Москву. Въ письмахъ 1763 года петербургскія впечатлѣнія почти отсутствуютъ; душой онъ весь въ Москвѣ, въ кругу семьи, въ ея интересахъ; его интересуетъ даже московская погода. О себѣ онъ пишетъ всѣ домашнія мелочи; гдѣ обѣдалъ, въ какомъ часу гдѣ былъ. „Въ субботу не ходилъ въ коллегію затѣмъ, что чирей сдѣлался на щекѣ“. „А Яшка былъ на этихъ дняхъ очень боленъ, въ прежестокоемъ жару. Я призывалъ лекаря и пускалъ ему кровь; теперь, слава Богу, легче. Да и Митька часто боленъ. Истинно, иногда не знаю, что дѣлать“.

Онъ продолжаетъ начатый въ Москвѣ переводъ „Сифа“, готовитъ новый, тоже нравоучительный и пишетъ горячія изліянія нѣжныхъ чувствъ сестрѣ своей Федосѣ, (даровитой дѣвушкѣ, не лишенной писательскихъ способностей). „Я не лгу, что здѣсь знакомства еще не сдѣлалъ. Я хочу, чтобы знакомство было основаніемъ *ou de l'amitié, ou de l'amour*, однако этого желанія по несчастію не достигаю. Разсуди, не скучно-ль такъ жить тому, кто имѣетъ чувствительное сердце“. Проживъ почти годъ въ Петербургѣ, онъ

все еще пишетъ, что не нашель предмета, который бы его интересовалъ: „безъ того жизнь скучна, а скуку возобновляетъ воспоминаніе, что я разлученъ съ моими ближними и съ тобой, любезная сестрица. Я знаю, что ты мнѣ другъ, и, можетъ быть, одного я и имѣть буду, котораго бы я столь много любилъ и почиталъ. Истинно, я бы показалъ тебѣ, что я теперь чувствую; въ сію минуту чувствую я, что горячность и сердечная нѣжность произвестъ можетъ. Если мысли твои со мной одинаки, то пиши ко мнѣ то же, увѣрай меня, что я не ошибаюсь, и храни то, что я навѣкъ хранить буду“.

Одно письмо заканчивается стихами: „Adieu“. Спать хочу.

„Слабѣютъ мысли всѣ, объемятъ чувства сонъ,
Ты знаешь ли, кого на мысль представить онъ?
Представить ту онъ мнѣ, кого люблю сердечно,—
Тебя представить, я знаю то конечно.
О сонъ, пріятный сонъ! Прелестныя мечты!
Но ахъ! и на яву нейдешь изъ мыслей ты!“

Однимъ словомъ, въ этихъ письмахъ виденъ скорѣе мягко-сердечный, нѣжный и тихій юноша, еще не совсѣмъ отдѣлившійся отъ семейной скорлупки...

Но вотъ мало-по-малу онъ входитъ во вкусъ петербургской жизни, привыкаетъ къ многолюдству и увеселеніямъ; самообладаніе и насмѣшка возвращаются къ „злomu и опасному мальчишкѣ“. Содержаніе и тонъ писемъ измѣняются. Забыта московская погода и чирей на щекѣ. „Обѣдалъ у меня кн. Козловскій, а послѣ обѣда пріѣхалъ кн. Вяземскій, Dmitrewski avec sa femme и посидѣвъ, поѣхали всѣ во француз. комедію. Въ понедѣльникъ обѣдалъ дома, а ввечеру до 4 heures j'étais au bal masqué. (Послѣднія слова по французски по той же причинѣ, по какой ниже стоитъ приписка: ne montrez vous mes lettres à mes parents). Проводя часто весь день на службѣ, вечеромъ онъ въ гостяхъ, въ театрѣ, маскарадѣ или читаетъ трагедіи, пишетъ сатиры, а передъ сномъ набрасываетъ для любимаго друга—сестры небрежный, но бойкій и остроумный отчетъ въ своихъ разнообразныхъ впечатлѣніяхъ.

„Теперь шутить мыслей нѣтъ. Лишь только прочиталъ новую трагедію французскую „Троянки“. Слезы еще и теперь видны на глазахъ моихъ. Гекуба, лишаящаяся дѣтей своихъ, возмутила духъ мой. Поликсена, ея дочь, умирая на гробѣ Ахиллесовомъ, поразила жалостью сердце мое, и отчаяніе Кассандры извлекло неволю изъ глазъ моихъ слезы.— Однако плюнемъ на нихъ. Стихотворецъ подобенъ попу, которому, живучи на погостѣ, всѣхъ не оплакать. Я самъ горю желаніемъ написать трагедію, и рукою моею погибнуть по крайней мѣрѣ съ полдюжины героевъ, а если разсержусь, то и ни одного живаго человѣка на театрѣ не оставлю“.

Какъ смѣлъ и твердъ былъ взглядъ на ложно классическую трагедію у этого юноши въ то время, когда едва основывался нашъ театръ и первыя трагедіи Сумарокова вызывали всеобщій восторгъ.

Но не одни литературныя впечатлѣнія вызывали его на сатиру и остроумныя замѣчанія. Въ слѣдующемъ (1765) году Фонвизинъ ѣздилъ въ Москву въ отпускъ. Едва вернувшись, онъ пишетъ сестрѣ большое письмо. Онъ недоволенъ Петербургомъ; все здѣсь его или смѣшить, или бѣсить.

„Здѣсь люди стали совсѣмъ на себя непохожи: кого оставилъ я передъ отъѣздомъ моимъ дуракомъ, того нынѣ не только разумнымъ, да еще премудрымъ почитаютъ, только то нѣсколько утѣшаетъ, что тѣхъ самыхъ, которые имъ приписываютъ такую славу, оставилъ я передъ отъѣздомъ такими же дураками. Графа Б. засталъ я здѣсь въ покаянной, куда посаженъ онъ каяться въ томъ, что не поступалъ онъ по правиламъ здраваго разсудка, хотя никто не помнитъ того, чтобы какой нибудь родъ разсудка отягощаль главу его сіятельства“; Дальше онъ передаетъ сестрѣ рядъ случаевъ изъ свѣтской жизни, и надобно видѣть, какой холодной ироніей проникнуть его рассказъ.

Въ этомъ году Фонвизинъ работалъ надъ своимъ „Бригадиромъ“, особенно ревностно принимаясь за него, когда пріѣзжалъ въ Москву повидаться съ родными. Это и понятно: значительная часть типовъ комедіи тѣсно связана съ Москвою. Мы видѣли, что Бригадирша списана была съ одной московской знакомой Фонвизина. Совѣтникъ „еще до совѣтничества въ Москвѣ ослѣпъ въ коллегіи“—мо-

жетъ быть, въ той самой ревизіонъ-коллегіи, въ числѣ сослуживцевъ своего отца видѣлъ Фонвизинъ этого совѣтника, который „ослѣпши“, очевидно, иначе смотрѣлъ на сахарную голову, чѣмъ Иванъ Андреевичъ. Наконецъ Бригадировъ тоже было особенно удобно наблюдать въ Москвѣ. Извѣстно, что при Екатеринѣ ежегодно изъ гвардіи выпускалось въ отставку по 12 капитановъ съ производствомъ въ бригады. Вѣроятно, этимъ освобождали гвардію отъ неспособныхъ воиновъ, не имѣвшихъ никакихъ шансовъ на дальнѣйшее возвышеніе по службѣ. Эти 12 бригадировъ считали себя совершенно довольными оказаннымъ почетомъ и обыкновенно поселялись въ Москвѣ, гдѣ ихъ такъ и звали „дюжинными“. (Не имѣ ли обязанъ своимъ названіемъ Бригадирскій пер. въ Москвѣ около Нѣмецкой улицы, и не они ли были первыми виновниками раздѣленія людей на *дюжинныхъ* и *недюжинныхъ*?) Что касается типовъ совѣтницы и Иванушки, то они основаны, вѣроятно, главнымъ образомъ на петербургскихъ наблюденіяхъ Фонвизина. Обиліе въ петербургскомъ обществѣ такихъ личностей, глядя на которыя, Фонвизинъ долженъ былъ припоминать Гольбергову басню „Свинья и петиметръ“, подтверждается всѣми извѣстіями того времени. Въ 1765 г. нѣсколько разъ шла на петербургскомъ театрѣ переведенная начальникомъ Фонвизина, Елагинымъ комедія Гольберга, „Русскій Французъ“ (Jean de France), про которую Драматическій Словарь 1787 года говоритъ: „авторъ старался показать своимъ соотечественникамъ слабость нѣкоторыхъ отцовъ и матерей и разращеніе дѣтей, кои къ сожалѣнію нашему будучи въ чужихъ краяхъ, возвращаются подобными персонажу Жана, не обрета ничего кромѣ тщеславія и нетерпѣнія своего языка“. Воспитатель Цесаревича Павла, Порошинъ, сохранилъ намъ слѣдующій отзывъ императрицы Екатерины объ этой же комедіи. „Государыня очень изволила хвалить комедію и говорить, что она развѣ тѣмъ только можетъ не нравиться, кои въ ней себя тронутыми найдутъ; что въ ней все такія правды, коихъ оспорить невозможно, что переводъ весьма вольной и смѣлой и приведенъ на нашъ обычай весьма удачно. Особливо Ея Величество чрезвычайно изволила смѣяться, какъ кухарка затянула французскую пѣсню, а французскій Иванушка такъ тѣмъ былъ тронуть, что въ слезахъ палъ на колѣни“.

Всѣ эти впечатлѣнія не проходили, конечно, безслѣдно для Фонвизина, и въ то время, какъ общество накануне сатиры Всякой Всячины и Трутня начинало узнавать свои черты подъ чужеземной маской „датскаго француза“, въ головѣ Фонвизина зрѣлъ уже образъ „Русскаго Иванушки“.

Конечно, въ Москвѣ же и въ деревнѣ вблизи Москвы (у Фонвизиныхъ было имѣнье) собрана была большая часть матеріаловъ и для „Недоросля“, которому однако предстояло появиться лишь 15 лѣтъ спустя. „Недоросль“, кромѣ мастерской картины нравовъ, глубже, чѣмъ Бригадиръ, ставилъ вопросъ о воспитаніи и опредѣлялъ довольно полно идеалы Фонвизина. Въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ идеалы Фонвизина, его нравственныя и общественныя понятія впервые выяснялись и устанавливались по мѣрѣ того, какъ петербургская жизнь и быстрые служебные успѣхи втягивали его въ самый центръ придворной жизни, заставляя участвовать и въ блестящей, праздничной ея сторонѣ, и еще болѣе въ дѣловыхъ, государственныхъ и дипломатическихъ сношеніяхъ. Ему постоянно приходилось видѣть всѣхъ дѣятелей Екатерининскаго царствованія и наблюдать придворныя нравы. Въ своихъ начальникахъ онъ не имѣлъ повода разочаровываться: объ Елагинѣ онъ даетъ отзывъ, характерный для него самого. „Иванъ Перфильевичъ имѣетъ по природѣ доброе сердце и сдѣлалъ себѣ правила честнаго человѣка, которыя столь свято наблюдаетъ, что не только здѣсь въ городѣ отъ своихъ, но и отъ всѣхъ чужестранныхъ имя Елагина произносится *съ идеєю честнаго человѣка*. Онъ очень много любитъ свою націю“. Послѣдній начальникъ Фонвизина, гр. Н. Панинъ былъ въ его глазахъ идеаломъ истинно-русскаго человѣка, честнаго, полнаго достоинства, мудраго государственнаго дѣятеля. Но гораздо чаще великосвѣтская жизнь давала чуткому нравственно человѣку поводъ къ грустнымъ размышленіямъ на тему объ истинномъ благородствѣ, и не всегда лишь холодная язвительная насмѣшка кривила губы нашего сатирика: горькій подчасъ осадокъ оставляла по себѣ окружающая жизнь. Фонвизинъ пишетъ отцу: „Къ пользѣ человѣческаго рода каждую недѣлю даютъ здѣсь по трагической или комической штукѣ. Льются слезы о несчастіи театральнаго героя, а бѣдный Ч., который несчастливъ не на шутку,

забыть, да и помнить о немъ не велятъ. — Вотъ какъ въ свѣтѣ дѣла идутъ! Я истинно получилъ ужасное омерзенеіе ко всѣмъ вздорамъ, въ которыхъ нынѣшняго свѣта люди главное свое удовольствіе полагаютъ“. И дальше: „гр. Воронцовъ очень меня приласкалъ, да и немудрено. Когда большіе бояре держатся въ черномъ тѣлѣ, тогда они всего любезнѣе на свѣтѣ; а какъ скоро изъ него выходятъ, то всѣхъ людей становятъ прахомъ передъ собою, и думаютъ, что царствію ихъ не будетъ конца“.

Позднѣе, служба у Панина и привязавшись къ нему, онъ скорбитъ объ интригахъ противъ него. „Развращенность здѣшнюю описывать излишне. Ни въ какомъ скаредномъ приказѣ нѣтъ такихъ стряпческихъ интригъ, какія у насъ всеминутно происходятъ, все вертится надъ бѣднымъ моимъ графомъ, котораго терпѣнію, кажется, конца не будетъ“. Раздумывая о томъ, какова будетъ его собственная участь въ случаѣ немилости Панина, Фонвизинъ прибавляетъ: „во всякомъ случаѣ я на Бога положился, а наблюдаю того только, чтобъ жить и умереть честнымъ человѣкомъ“. При видѣ интригъ, своекорыстія и пресмыкательства въ нашемъ сатирикѣ крѣпнута идеалы чести, независимости, благородства.

Такъ онъ живетъ въ Петербургѣ до 1777 года,—то впадаетъ въ скорбное огорченіе при встрѣчѣ съ уродливостями жизни, и тогда трогательно описываетъ въ своемъ „Каллисѳенѣ“ гибель правдиваго философа при испорченномъ дворѣ Александра Македонскаго, — то даетъ волю своему сатирическому уму, язвительно издѣвается надъ человѣческой подлостью и глупостью, то наконецъ сыплетъ островами среди знакомыхъ и на литературныхъ спорахъ съ В. Майковымъ или Херасковымъ въ домѣ Мятлевыхъ.

Въ 1777 году Фонвизинъ ѣдетъ во Францію, а нѣсколько лѣтъ спустя путешествуетъ по Италіи. Заграничныя письма его къ сестрѣ и къ П. И. Панину, полныя живаго интереса, отражаютъ часто очень ярко его характеръ. За этими письмами признана репутація односторонней, пристрастной и рѣзко несправедливой характеристики европейской, особенно французской жизни. Такая репутація справедлива только отчасти. Прежде всего Фонвизинъ ѣхалъ за-границу съ предвзятымъ мнѣніемъ. По рассказамъ всѣхъ ѣздившихъ туда онъ представлялъ себѣ Францію и вообще Европу

чуть не земнымъ раемъ. Недовольный многимъ на родинѣ, онъ мечталъ встрѣтить идеальный общественный бытъ во Франціи; въ этомъ утверждали его сочиненія Вольтера и др. писателей, особенно Руссо, которыхъ онъ прилежно изучалъ въ Петербургѣ и мнѣнья которыхъ заставили его заочно уважать этихъ философовъ. Затѣмъ Фонвизинъ былъ не Карамзинъ, который могъ возить съ собою по Европѣ восторженное настроеніе и часто видѣть вездѣ только собственное душевное состояніе; сильный и трезвый умъ быстро заставилъ Фонвизина бросить воздушные замки, показавъ ему тѣневя стороны французскаго общества, которое тогда страдало многими серьезными недугами и какъ разъ готовилось къ обновительному перевороту. Вѣковыя уродливости, которымъ скоро предстояло исчезнуть, рѣзко выдѣлялись въ жизни общества для всякаго внимательнаго наблюдателя. А Фонвизинъ прилагалъ старанія, чтобы основательно познакомиться съ чужой жизнью: во Франціи онъ нанимаетъ себѣ учителей, изучаетъ подъ ихъ руководствомъ государственное устройство Франціи, слушаетъ лекціи по философіи, по физикѣ, сталкивается съ выдающимися представителями литературы и свѣтскаго круга. Немудрено, что нашъ авторъ испыталъ много разочарованій. „Ни въ чемъ на свѣтѣ я такъ не ошибся, какъ въ мысляхъ своихъ о Франціи. Радуюсь сердечно, что я ее самъ видѣлъ... что не можетъ уже никто разсказами своими мнѣ импозировать“. И вотъ онъ передаетъ цѣлый рядъ неблагоприятныхъ сужденій своихъ о французскомъ народѣ, его нравахъ, національномъ характерѣ, учрежденіяхъ и т. д. Но это не огульное порицаніе: французы для него все же „нація просвѣщеннѣйшая и по справедливости сказать, челоуѣколюбивѣйшая“, онъ вездѣ находитъ много „совершенно хорошаго“, отмѣчая лишь при этомъ, что рядомъ съ этимъ хорошимъ обыкновенно можно встрѣтить совершенно дурное. Общій выводъ его былъ такой: „Я увидѣлъ, что во всякой землѣ худаго больше, нежели добраго, что умные люди вездѣ рѣдки, что дураковъ вездѣ изобильно и, словомъ, что наша нація не хуже некоторой!“ Однимъ словомъ, та же мысль, которую онъ выразилъ позднѣе въ своихъ „Вопросахъ“: „Какъ истребить два вреднѣйшіе предразсудка: первый, будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй, будто въ чужихъ краяхъ

все дурно, а у насъ все хорошо?“ Правда, въ его отзывахъ о заграничной жизни иногда слышна неумѣстная насмѣшка или несправедливая, беспощадная рѣзкость, которую оправдать ничѣмъ невозможно, но нельзя забывать, что такіе отзывы, вытекающіе часто изъ минутнаго настроенія, свободно ложились на страницы интимной переписки, никогда не назначавшейся для чужихъ глазъ. Такова, напр., неумѣстная шутовскость въ описаніи епископскаго богослуженія въ Монпелье или паннихиды въ Страсбургѣ, о которой онъ пишетъ: „съ непривычки ихъ церемонія такъ смѣшна, что треснуть надобно“. Природная смѣшливость, очевидно, была очень велика въ Фонвизинѣ и онъ не всегда могъ ее сдерживать. Въ варшавскомъ театрѣ, по его словамъ, „играють изрядно, но польскій языкъ въ нашихъ ушахъ кажется такъ смѣшонъ и подлъ, что мы помираемъ со смѣху во всю пьесу“. Чтобы видѣть, какъ сильно иногда вліяло на отзывы Фонвизина настроеніе, любопытно сравнить два описанія благословенія папою народа на Страстной недѣлѣ. Къ Панину онъ пишетъ: „Четвергъ былъ день весьма тягостный для чужестранцевъ. Надлежало съ утра до вечера быть на ногахъ. Въ восемь часовъ по утру была обѣдня въ присутствіи папы. Потомъ папа изъ средняго окна показался стоящему на площади народу; сперва произнесъ онъ проклятіе намъ грѣшнымъ, т. е. всѣмъ, непризнающимъ его вѣру за правую, а потомъ далъ народу благословеніе. Сей церемоніи помѣшала дождливая погода и площадь была довольно просторна“. Въ описаніи сквозитъ какой-то брюзжащій тонъ: раннее вставанье и дождь какъ будто вселили въ автора недружелюбное отношеніе къ церемоніи. Вотъ другое описаніе такой же церемоніи нѣсколько дней позже—въ Свѣтлое воскресенье: „День былъ прекрасный. Сверхъ того сія церемонія нигдѣ такъ чувства тронуть не можетъ, какъ здѣсь, ибо потребна къ тому площадь св. Петра, которой нигдѣ подобной нѣтъ. Чрезвычайное ея пространство и великолѣпная колоннада, безчисленное множество народа, который, увидѣвъ папу, становится на колѣна, глубокое молчаніе передъ благословеньемъ, за которымъ тотчасъ слѣдуетъ громъ пушекъ и звонъ колоколовъ, и самое дѣйствіе, которое, благодаря богобоязливыхъ людей, имѣетъ въ себѣ нѣчто почтенное и величественное — словомъ, все въ восхищеніе

приводить!“—Положительно, Фонвизинъ обладалъ художественной натурой, у которой были свои моменты каприза.

Что касается чрезмѣрной рѣзкости, почти радости, съ которыми онъ высказываетъ иногда свои осужденія, то надо помнить, что Фонвизинъ былъ до глубины души русскимъ человѣкомъ и горячимъ патриотомъ. Онъ ѣхалъ за-границу съ такимъ высокимъ понятіемъ объ Европѣ и съ такимъ смиреннымъ чувствомъ ученика, что не могъ удержаться отъ радости, когда замѣченный изъяснъ чужой жизни позволялъ его національному самолюбію поднять голову. Эта нотка звучитъ не разъ въ его письмахъ. То онъ радъ, увидавъ изъ путешествія, „что наша нація не хуже никоторой“, то проводитъ параллель между нашимъ правосудіемъ и французскимъ и, признавая несправедливость того и другаго, силится утвердить за нашимъ сомнительное преимущество „болѣе быстрого обиранія челобитчика“, то съ самодовольнымъ смѣхомъ русскаго барина передаетъ сестрѣ о томъ, какъ скупо и „скаречно“ живутъ, ѣдятъ и пьютъ и одѣваются за-границей даже знатные люди. Онъ страшно доволенъ, что своимъ костюмомъ и широкимъ образомъ жизни произвелъ впечатлѣніе на парижанъ. „Горностаевая муфта моя прибавила мнѣ много консидераціи. Beau blanc! всѣ кричатъ единогласно. Всѣ глядятъ очень бережно, чтобы не заворотить волоска. Всякій спрашиваетъ о цѣнѣ. Я говорю 300 р. Parbleu! je crois bien, всякій отвѣчаетъ; il n'y a rien de si beau que ça. Словомъ, каждый день комедія!“ Онъ не забылъ пустить въ ходъ за-границей свои мистификаторскія наклонности и очень зло вышучиваетъ французовъ, на смѣхъ рассказывая имъ совсѣмъ несбыточные и физически невозможныя дѣла. „Ни одна душа однако жъ не усомнилась; только что дивятся“. А вотъ образчикъ другой, болѣе тонкой продѣлки. „Сколько разъ, имѣя случай разговаривать съ отличными людьми, напр., о вольности, начиналъ я рѣчь мою тѣмъ, что сколько мнѣ кажется, сіе первое право человѣка во Франціи свято сохраняется; на что съ восторгомъ мнѣ отвѣчаютъ que le Français est né libre, что сіе право составляетъ истинное ихъ счастье, что они помрутъ прежде, чѣмъ потерпятъ малѣйшее его нарушеніе. Выслушавъ сіе, завожу я рѣчь о примѣчаемыхъ мною неудобствахъ и нечувствительно открываю мысль мою, что

желательно бы было, если бы вольность была у них не пустое слово. Повѣрите ли, что тѣ же самые люди, которые восхищались своей вольностью, тотъ же часъ отвѣчаютъ мнѣ: O! Monsieur, vous-avez raison! Le Français est écrasé! Le Français est esclave. Говоря сіе, впадаютъ въ преужасный восторгъ негодованія. Если сіе разнорѣчіе происходитъ отъ вѣжливости, то по крайней мѣрѣ не предполагаетъ большаго разума“. Такъ платилъ нашъ русскій сатирикъ парижанамъ за ихъ самоувѣренность и надутость міровымъ значеніемъ своей цивилизаціи и своего Парижа. Но нигдѣ, можетъ быть, такъ не показался въ Фонвизинѣ чисто-русскій человѣкъ, какъ въ слѣдующемъ случаѣ, когда онъ ѣхалъ изъ Лейпцига въ Нюренбергъ на русскомъ извозчикѣ. Этотъ курьезный случай произошелъ такъ. Профессоръ Московскаго Университета Христіанъ Маттей пріѣхалъ изъ Россіи въ Лейпцигъ въ двухъ кибиткахъ на 8 лошадахъ. Фонвизинъ обрадовался случаю отдохнуть отъ нѣмецкихъ почтальоновъ и подрядилъ мужичковъ свезти его съ женой и прислугой въ Нюренбергъ. Наши православные, конечно, взяли и доставили благополучно, при чемъ борода кучера Калинина собирала около кареты Фонвизина множество народа: малые ребята бѣгали за нимъ, какъ за чудомъ. Фонвизинъ не безъ сочувствія описываетъ этого Калинина: „Онъ такъ золъ на нѣмцевъ и такую имѣетъ къ нимъ антипатію, что иногда мы, слыша его разсужденія, умирали со смѣху. По его мнѣнію, русскихъ создалъ Богъ, а нѣмцевъ — чортъ. Онъ считаетъ ихъ наравнѣ съ гадиною и думаетъ, что, раздавъ нѣмца, Бога прогнѣвить нельзя. Впрочемъ, скажите ему за насъ спасибо: мы его усердіемъ чрезвычайно довольны“. Калининъ могъ не считать нѣмца за человѣка, но какъ объяснить сочувственный тонъ Фонвизина? А это — тоже русская черта. Крайне ошибся бы тотъ, кто на основаніи вышеприведенныхъ словъ Фонвизина сдѣлалъ бы нелестный выводъ о его отношеніи къ людямъ: иное дѣло — „красное слово“, иное дѣло — жизнь. У насъ множество свидѣтельствъ тому, что Фонвизинъ замѣчательно мягко и сердечно относился къ человѣческой нуждѣ и страданію, съ которыми сталкивался. Письма его полны трогательными разсказами о видѣнныхъ бѣдствіяхъ, о нищихъ, о больныхъ, или свѣдѣніями объ оказанной помощи. Отъ этого

Фонвизинныхъ знали за-границей вездѣ, гдѣ они прожили хоть два — три дня. „Римъ оставили мы съ огорченіемъ. Я и жена моя были любимы тамъ не только лучшими людьми, но и самымъ народомъ. Въ день нашего отъѣзда улица сперлась отъ множества людей. Здѣсь въ Миланѣ я получилъ письмо изъ Рима отъ одного изъ лучшихъ художниковъ, который къ намъ каждый день хаживалъ и который былъ въ числѣ нашихъ провожателей. Онъ описываетъ намъ, что народъ, по отъѣздѣ нашемъ, кричалъ намъ вслѣдъ.“ Въ Нюренбергѣ, найдя много бѣдныхъ художниковъ, онъ разыскиваетъ ихъ по чердакамъ и поддерживаетъ своими заказами. Острословіе уживалось въ немъ съ мягкосердечіемъ до самаго конца жизни. Въ 1787 году, уже разбитый параличемъ, истерзанный тѣлесно и душевно, Фонвизинъ ѣдетъ въ Карлсбадъ лѣчиться. Ужасное состояніе не отняло у него ни остроумія, ни сердечности. Вотъ описаніе его остановки въ Калугѣ. „Хозяйки мои звались Татьяна Петровна и Марѳа Петровна. Меньшая—великая богомолка и во время нашей трапезы молилась за меня, громогласно вопія: Спаси его, Господи, отъ скорби, печали и отъ *западныхъ* смерти! Скорбь и печаль я весьма разумѣлъ, ибо въ Москвѣ то и другое терпѣлъ до крайности, но *западной* смерти не понималъ. По нѣкоторомъ объясненіи, нашелъ я, что Марѳа Петровна въ словѣ ошиблась и вмѣсто отъ *внезапной* врала отъ *западной* смерти... Отобѣдавъ, выѣхали мы отъ этихъ калужскихъ дурь“. А затѣмъ гдѣ-то въ Германіи, на станціи, при перемѣнѣ лошадей, встрѣтивъ бѣдную параличную дѣвушку, онъ останавливается, спрашиваетъ ее о болѣзни и готовъ везти съ собой въ Карлсбадъ, куда стремился для своего исцѣленія.

Замѣчательной натурой обладалъ Фонвизинъ: съ блестящимъ остроуміемъ и безпощадной проніей разсудка соединялось у него горячее сердце и непосредственно-гуманное отношеніе къ людямъ, а чуткость ко всякому умственному или нравственному безобразію шли объ руку съ сильно развитымъ пониманіемъ художественной красоты. Съ нравственной стороны его личность высока и безупречна въ такой степени, въ какой мы не можемъ этого сказать о многихъ видныхъ дѣятеляхъ XVIII в. Талантъ его былъ великъ, служба его этимъ талантомъ на пользу общества была серьезна.

Фонвизинъ не былъ лишь остроумцемъ или пересмѣшникомъ: „Бригадиръ“, „Недоросль“, „Вопросы“ и др. произведенія его будили мысль, заставляли людей задумываться надъ жизнью и двигали ихъ къ улучшенію, къ прогрессу. Съ именемъ Фонвизина навѣкъ останутся связаны слова Пушкина:

... Въ стары годы,
Сатиры смѣлой властелинъ,
Блисталъ Фонвизинъ, другъ свободы.





С. Т. АКСАКОВЪ.

Цѣлое столѣтіе отдѣляетъ насъ отъ дня рожденія Сергѣя Тимоѣевича Аксакова, память котораго чувствуемъ мы сегодня. Этотъ замѣчательный по оригинальности и силѣ своего дарованія писатель родился еще въ царствованіе императрицы Екатерины II, при жизни Фонвизина; онъ былъ современникомъ и хорошимъ знакомымъ Державина, находился въ дружескихъ отношеніяхъ съ адмираломъ Шишковымъ и раздѣлялъ многія изъ его воззрѣній. И въ то же время Сергѣй Тимоѣевичъ Аксаковъ считается однимъ изъ даровитѣйшихъ представителей такъ называемой натуральной школы, явившейся подъ вліяніемъ литературной дѣятельности Гоголя. Первый трудъ, доставившій Аксакову литературную извѣстность, — „Записки объ уженъи рыбы“, — появился въ 1847 году. Это былъ замѣчательный годъ въ исторіи русской литературы. Имъ можно обозначить начинающійся расцвѣтъ натуральной школы. Десять лѣтъ прошло уже со смерти Пушкина, Гоголь написалъ уже всѣ свои

совершеннѣйшія произведенія. И вотъ тотъ же 1847 годъ, въ которомъ вышла въ свѣтъ „Переписка съ друзьями“ Гоголя, предвѣщавшая прекращеніе художественной дѣятельности великаго русскаго поэта, этотъ же годъ ознаменованъ появленіемъ первыхъ произведеній многихъ лучшихъ писателей сороковыхъ годовъ. Правда, 19-лѣтній Левъ Толстой еще не начиналъ своей литературной дѣятельности, но только годомъ раньше появилось первое произведеніе Достоевскаго и первый рассказъ изъ народной жизни Григоровича, а въ самый 1847 годъ появились новые таланты, давшіе на долгое время впередъ направленіе русской литературѣ. Къ этому году относятся первыя произведенія Гончарова, Островскаго, Салтыкова, Писемскаго, первые рассказы изъ „Записокъ Охотника“ Тургенева. И вотъ среди этой пылкой, энергичной, одаренной замѣчательными талантами молодежи, которой суждено было влить новыя жизненныя силы въ русскую литературу, изъ среды которой старшему, за исключеніемъ Гончарова, не было еще 30 лѣтъ, появился маститый, убѣленный сѣдинами, 56 лѣтній старецъ С. Т. Аксаковъ. Онъ выступилъ съ книгой, имѣвшей скромное и мало значительное названіе: „Записки объ уженъи рыбы“. Книга была, повидимому, назначена только для специалистовъ, охотниковъ до рыбной ловли. Въ ней подробно рассказывалось, какъ надо ловить рыбу, какъ выбирать удочки и т. п., описывались разныя породы рыбъ, ихъ образъ жизни, указывалось, гдѣ и когда лучше всего можно наловить тѣхъ или другихъ рыбъ. Несмотря на то, книга имѣла большой успѣхъ вообще среди образованнаго общества. На нее обратили вниманіе. Имя автора стало произноситься съ уваженіемъ. Ободренный и одушевленный успѣхомъ своего сочиненія, С. Т. Аксаковъ принимается за составленіе другихъ книгъ съ тѣмъ же, повидимому, спеціальнымъ характеромъ. Въ 1852 году являются въ свѣтъ „Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи“, въ 1855— „Рассказы и воспоминанія охотника о разныхъ охотахъ“. Эти новыя сочиненія Аксакова имѣли такой же успѣхъ, какъ и первая его книга. Наконецъ, въ 1856 году вышло въ свѣтъ задолго до того подготовлявшееся его главное сочиненіе: „Семейная хроника“, а два года спустя, „Дѣтскіе годы Багрова внука“. Эти сочиненія, представлявшія его семейныя и

личные воспоминанія, имѣли колоссальный успѣхъ. Всѣ журналы, всѣ критики, безъ различія взглядовъ, убѣждений и направленій, признали эти сочиненія важнымъ вкладомъ въ русскую литературу. Съ этихъ поръ имя С. Т. Аксакова было увѣковѣчено въ исторіи русской словесности. Уже эти краткія замѣчанія о жизни и дѣятельности Аксакова указываютъ на высшей степени своеобразный характеръ мѣста, занимаемаго имъ въ нашей литературѣ. Вполнѣ ясно и опредѣленно вырисовываются два вопроса, которые имѣютъ наиболѣе существенное значеніе для пониманія и оцѣнки таланта Аксакова: 1) какимъ образомъ онъ, родившійся при императрицѣ Екатеринѣ II, другъ и сторонникъ Шишкова, послѣдователь ложноклассической школы, могъ явиться 56 лѣтъ, съ такой силой и свѣжестью таланта, представителемъ натуральной школы, развившейся подъ вліяніемъ Гоголя? и затѣмъ 2) какъ могъ онъ приобрести такое почетное мѣсто въ литературѣ, рассказывая только о своихъ воспоминаніяхъ да о такихъ, повидимому, мало-интересныхъ предметахъ, какъ ужение рыбы и ружейная охота? Чтобы отвѣтить на первый вопросъ, нужно познакомиться съ нѣкоторыми данными изъ жизни Аксакова; чтобы отвѣтить на второй, — надо сдѣлать общую характеристику таланта Аксакова, опредѣлить существенные элементы его литературнаго творчества.

Несложна и небогата внѣшними событіями и яркими фактами жизнь Аксакова. Родился онъ въ 1791 году въ городѣ Уфѣ Оренбургской губерніи. Дѣтство свое до восьмилѣтняго возраста провелъ онъ большею частью въ деревнѣ среди богатой природы Оренбургскаго края. Онъ родился мальчикомъ крайне болѣзненнымъ и нервнымъ. На второмъ году онъ перенесъ тяжелую болѣзнь, которая еще болѣе расшатала его и безъ того не крѣпкіе нервы. Болѣзнь была странная, и выздоровленіе мальчика было чудомъ по признанію самихъ докторовъ, не знавшихъ, какъ приступить къ ея лѣченію. Домашніе уже не чаяли видѣть его живымъ. „Покорись волѣ Божіей“, говорили они матери: „положи дитя подъ образа, затепли свѣчку и дай его ангельской душенькѣ съ покоемъ выйти изъ тѣла“. „Но съ гнѣвомъ встрѣчала такіа рѣчи моя мать“, рассказываетъ Аксаковъ: „и отвѣчала, что покуда искра жизни тлѣется во мнѣ, она не перестанетъ все дѣлать для

моего спасенія, — и снова клала меня безчувственного, въ крѣпительную ванну, вливала въ ротъ рейнвейну или бульону, цѣлые часы растирала мнѣ грудь и спину голыми руками, а если и это не помогало, то наполняла легкія мои своимъ дыханіемъ, — и я послѣ глубокаго вздоха, начиналъ дышать сильнѣе, какъ будто просыпался къ жизни“. „Замѣтивъ, что дорога какъ будто для меня полезна“, — продолжаетъ Аксаковъ: „мать ѣздила со мной безпрестанно“. Однажды дорогой „я почувствовалъ себя такъ дурно, такъ ослабѣлъ, что принуждены были остановиться: вынесли меня изъ кареты, постлали мнѣ постель въ высокой травѣ лѣсной поляны, въ тѣни деревьевъ, и положили меня, почти безжизненнаго“. „Вдругъ я точно проснулся и почувствовалъ себя лучше, крѣпче обыкновеннаго. Лѣсъ, тѣнь, цвѣты, ароматный воздухъ такъ мнѣ понравились, что я упросилъ не трогать меня съ мѣста. Такъ и простояли мы тутъ до вечера. На другое утро я почувствовалъ себя свѣжѣе и лучше противъ обыкновеннаго“. Такъ миновалъ кризисъ болѣзни и началось выздоровленіе. Мы съ намѣреніемъ остановились такъ подробно на болѣзни Аксакова. Эта болѣзнь служитъ какъ-бы прологомъ, объясняющимъ все дальнѣйшее развитіе мальчика. Выздоровленіе свое, свое возвращеніе къ жизни Аксаковъ приписываетъ самоотверженной любви матери, ея неуспыннымъ заботамъ и попеченіямъ, и животворной силѣ природы. „Моя мать не давала потухнуть догоравшему свѣтильнику жизни; она питала его магнетическимъ изліяніемъ собственной жизни, собственнаго дыханія, а двѣнадцати часовое лежаніе въ травѣ на лѣсной полянѣ дало первый благотворный толчокъ моему расслабленному тѣлесному организму“. Мать и природа были важнѣйшими факторами въ развитіи ребенка. Прирожденная нервность ребенка, развитая болѣзнью, получала новую пищу въ страстной, безумной любви матери, а отсутствіе сверстниковъ, одиночество сблизили его съ природой, заставили полюбить ее и развили въ немъ ту впечатлительность къ красотамъ природы, то замѣчательное знаніе всѣхъ ея явленій, которымъ мы удивляемся уже въ произведеніяхъ старца-писателя.

Въ первые годы послѣ этой болѣзни нервность ребенка дошла до крайней степени, до болѣзненности. Съ одной стороны она выража-

лась въ крайней чувствительности ко всякому страдающему существу: плачь больной сестры, жалобный визгъ слѣпого щенка и т. п. раздражали и волновали его, доводили до слезъ, почти до изступленія. Съ другой стороны, подъ вліяніемъ сказокъ няни, развилась необыкновенно боязнь домовыхъ, мертвецовъ, привидѣній. Мальчикъ боялся темныхъ комнатъ, а одинъ разъ даже упалъ въ обморокъ, вообразивъ, что видитъ тѣнь умершаго дѣдушки. Въ скоромъ времени Аксаковъ переѣхалъ на житье въ имѣнье въ Оренбургской губ. Хотя нервы его и укрѣпились нѣсколько, но полного равновѣсія нормальнаго человѣка съ здоровыми нервами Аксакову никогда не удалось достигнуть. Нервная впечатлительность, восторженность, страстность увлеченій характеризуютъ его въ теченіе всей его долгой жизни. До восьми лѣтъ, т. е. до самаго поступленія въ гимназію, провелъ Аксаковъ большею частью въ деревнѣ, до самозабвенія увлекаясь и рыбной ловлей, и всякими охотами, и наслаждаясь красотами роскошной Оренбургской природы. Страстно привязанная къ сыну мать ревновала его къ его увлеченіямъ, держала себя съ нимъ, какъ съ большимъ, повѣряла свои секреты, совѣтовалась. Это содѣйствовало преждевременному развитію вдумчиваго мальчика. Къ этому присоединилось еще и чтеніе. Мальчикъ увлекался сочиненіями Сумарокова и „Россіядой“ Хераскова. Самымъ любимымъ его дѣломъ было читать вслухъ „Россіяду“. Художническая натура Аксакова уже начинала сказываться въ его отношеніи къ чтенію. „Я обыкновенно читалъ съ такимъ горячимъ сочувствіемъ“, рассказываетъ онъ: „воображеніе мое такъ живо воспроизводило лица любимыхъ моихъ героевъ, что я какъ будто видѣлъ и зналъ ихъ давно; я дорисовывалъ ихъ образы, дополнялъ ихъ жизнь и съ увлеченіемъ описывалъ ихъ наружность; я подробно рассказывалъ, что они дѣлали передъ сраженіемъ и послѣ сраженія, какъ совѣтовался съ ними царь, какъ благодарилъ ихъ за храбрые подвиги и пр.“, Мать смѣялась; а отецъ удивлялся и одинъ разъ сказалъ: „откуда это все у тебя берется? ты не сдѣлайся лгунишкой“.

Въ такой средѣ, подъ вліяніемъ матери, природы и чтенія, проходила жизнь нервнаго, впечатлительнаго мальчика, росшаго одинокимъ, безъ товарищей и сверстниковъ, до поступленія его въ гимназію. Поступленіе въ гимназію было важнымъ событіемъ въ

жизни мальчика: ему приходилось попасть совѣмъ въ другую среду, жить другими впечатлѣніями, лишиться на время вліянія матери. Слабый организмъ мальчика не перенесъ такой рѣзкой перемѣны; сперва онъ тяжело заболѣлъ, вышелъ изъ гимназіи, но послѣ привыкъ къ новой жизни. Въ этой жизни его встрѣтило новое вліяніе умнаго, талантливаго, хотя и односторонняго педагога Карташевскаго, взяшагося слѣдить за воспитаніемъ Аксакова. Карташевскій былъ врагъ вводимыхъ тогда Карамзинимъ преобразованій въ русской литературѣ. Его вліянію въ этомъ отношеніи, конечно, поддавъ и Аксаковъ, и безъ того увлекавшійся ложноклассическими произведеніями, съ восторгомъ и наслажденіемъ декламировавшій стихи Хераскова. Гимназія, въ которой учился Аксаковъ, находилась въ Казани, гдѣ былъ въ то время театръ. Однажды его дядя, пріѣхавши въ Казань, свелъ мальчика въ этотъ театръ. Это было едва-ли не важнѣйшимъ событіемъ его гимназической жизни. Впечатлительный, склонный къ страстнымъ увлеченіямъ, да къ тому же самъ любившій декламировать стихи, мальчикъ увлекся театромъ до самозабвенія. Театръ поразилъ его воображеніе. Ученье пошло плохо. Въ университетѣ, который тогда только что открылся въ Казани, Аксаковъ также больше занимался театромъ, устройствомъ любительскихъ спектаклей, на которыхъ исполнялъ главные роли, выработкой правильной декламаціи и т. п., чѣмъ лекціями. Въ 1807 году Аксаковъ вышелъ изъ университета. Ему выдали аттестатъ, въ которомъ, по его собственному признанію, прописаны были „такія науки, которыя онъ зналъ только по наслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали“. Увлеченія, которымъ не могла противиться его страстная натура, не могли выработать въ немъ твердаго, послѣдовательнаго характера. Преимуществомъ его художнической натуры была способность бурно увлекаться всею дѣйствительно прекраснымъ и величественнымъ. Но эта же впечатлительность, отзывчивость натуры были причиной того, что его гимназическіе и университетскіе годы не дали ему прочныхъ, солидныхъ, систематическихъ знаній, которыя достигаются только упорнымъ, неуклоннымъ трудомъ, къ которому не была способна его натура, непрерывно переходившая отъ одного увлеченія къ другому.

Окончивъ курсъ въ университетѣ, восторженный юноша, не воспитавшій въ себѣ ни глубокой любви къ наукѣ, ни серьезныхъ стремлений къ общественной дѣятельности, весь поглощенный страстью къ театру, поступаетъ въ Петербургѣ на службу переводчикомъ въ комиссію составленія законовъ. Но служба была не по душѣ нашему театралу. Онъ завелъ обширныя знакомства въ театральномъ мірѣ, цѣлые дни проводилъ съ актерами. Служба скоро наскучила ему. Какъ прежде ученье, такъ теперь служба казалась ему монотоннымъ, утомительнымъ занятіемъ, не дававшимъ пищи его страстной, порывистой натурѣ. Такъ какъ онъ не былъ хорошимъ сельскимъ хозяиномъ, для чего также требуется упорный и постоянный трудъ, онъ принужденъ былъ спустя нѣкоторое время, уже послѣ женитьбы, опять поступить на службу для поправленія разстроенныхъ своихъ средствъ сперва въ цензуру, затѣмъ директоромъ въ Константиновскій Межевой Институтъ въ Москвѣ. Но служба утомляла его, и онъ, наконецъ, 48 лѣтъ отъ роду, навсегда оставилъ ее и вышелъ въ отставку. Театральныя увлеченія Аксакова въ это время отступили на задній планъ. Онъ теперь со всею страстью своей пылкой и не охлажденной годами души увлекался славянофильскими идеями своего сына Константина и новой русской литературой, съ главнымъ представителемъ которой Гоголемъ онъ находился въ тѣсныхъ дружескихъ отношеніяхъ. Вліяніе сына съ его глубокими, искренними убѣжденіями, вліяніе Гоголя преобразили Аксакова, измѣнили всѣ его литературныя вкусы. Гоголь представлялся ему недосягаемымъ образцомъ совершенства. Вліяніе политическихъ убѣжденій Константина не было глубоко, но вліяніе Гоголя сказалось глубокими слѣдами въ сочиненіяхъ С. Т. Аксакова. Онъ страстно предается литературнымъ занятіямъ. Неожиданный успѣхъ перваго крупнаго его сочиненія, „Записокъ объ уженіи рыбы“, въ обществѣ, одобреніе Гоголя и сыновей одушевили юнаго душой старца, и изъ-подъ пера его стали выливаться одно за другимъ произведенія, обогатившія русскую литературу новымъ, замѣчательнымъ и своеобразнымъ талантомъ. Съ тѣхъ поръ уже до самой своей смерти, послѣдовавшей въ 1859 году, Аксаковъ не оставлялъ литературной дѣятельности.

Теперь познакомившись въ общихъ чертахъ съ жизнью Акса-

кова, мы имѣемъ возможность дать точный и вполне опредѣленный отвѣтъ на первый изъ поставленныхъ въ началѣ лекціи вопросовъ: какимъ образомъ Аксаковъ, родившійся еще при императрицѣ Екатеринѣ II, воспитанный на образцахъ ложно-классической школы, могъ явиться, 56 лѣтъ, съ такой силой и свѣжестью таланта, представителемъ натуральной школы, явившейся подъ вліяніемъ Гоголя? Мы видимъ, что это была натура крайне впечатлительная, страстная. Увлеченія легко овладѣвали этой отзывчивой на все прекрасное натурой, но эти же увлеченія препятствовали развитію въ Аксаковѣ твердаго, послѣдовательнаго характера и глубокихъ убѣжденій какъ въ области политической и общественной жизни, такъ точно и въ области чисто-литературной. Онъ не былъ убѣжденнымъ сторонникомъ ложнаго классицизма, хотя и восхищался тѣмъ, что находилъ тамъ прекраснаго и талантливаго. Будучи отъ природы чрезвычайно нервнымъ и впечатлительнымъ, онъ сохранилъ эту отзывчивость, эту свѣжесть души до глубокой старости, и переходя отъ одного увлеченія къ другому, онъ встрѣтился, наконецъ, съ Гоголемъ и его исполненными художественной правды сочиненіями. Эта правда поразила, очаровала, увлекла его и изъ глубины его старческой души вызвала новое, самое могучее и высокое изъ всѣхъ его многочисленныхъ увлеченій. Это было, говоритъ его биографъ, „какое-то особое благоговѣніе, поклоненіе гению, доходящее, такъ сказать, до идолопоклонства, поклоненіе, исключавшее всякую спокойную критику Гоголя“ *). Это увлеченіе Гоголемъ уяснило Аксакову задачи литературы, пробудило дремлющія въ немъ творческія силы и сдѣлало его однимъ изъ видныхъ представителей новой натуральной школы.

Если разсмотрѣніе жизни и характера Аксакова даетъ намъ вполне опредѣленное объясненіе его литературнаго направленія, то для объясненія успѣха Аксакова необходимо-поближе разсмотрѣть самый характеръ его таланта. И такъ, возвратимся ко второму изъ поставленныхъ выше вопросовъ: какъ могъ Аксаковъ пріобрѣсти такое почетное мѣсто въ русской литературѣ, рассказывая только о своихъ воспоминаніяхъ да о такихъ, повидимому, мало интере-

*) См. „С. Т. Аксаковъ“ В. П. Острогорскаго. Спб. 1891.

сныхъ предметахъ, какъ уженъе рыбы и ружейная охота? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, опредѣлимъ существенные элементы, или, какъ иногда говорятъ, стихіи его литературнаго творчества *).

Въ произведеніяхъ С. Т. Аксакова насъ прежде всего привлекаетъ языкъ, которымъ они написаны. „Это настоящая русская рѣчь, замѣчаетъ Тургеневъ **), добродушная и прямая, гибкая и ловкая, ничего нѣтъ вычурнаго и ничего лишняго, ничего напряженнаго и ничего вялаго — свобода и точность выраженія одинаково замѣчательны“. „Въ языкѣ Аксаковъ едва ли имѣетъ соперника по вѣрности и отчетливости выраженія и по обороту исполнѣ русскому и живому“, замѣчаетъ съ своей стороны Хомяковъ: „какъ нестерпимо чувствовать, что перепутываешь имена и называешь одно лицо именемъ другого, какъ невольно роешься въ памяти, чтобы отыскать собственное названіе предмета, которое на время забылъ, такъ для Аксакова было нестерпимо употребить невѣрное слово или прилагательное, несвойственное предмету и не выражающее его. Онъ чувствовалъ невѣрность выраженія, какъ какую-то неправду въ отношеніи къ своему собственному впечатлѣнію, и успокоивался только тогда, когда находилъ настоящее слово. Разумѣется, онъ находилъ его легко, потому что самое требованіе возникало изъ ясности чувства и изъ сознанія словеснаго богатства. Эта строгость къ собственному слову и слѣдовательно къ собственной мысли давала всѣмъ его рассказамъ, всѣмъ его описаніямъ неподражаемую ясность и наглядность, а картинамъ природы такую вѣрность красокъ и выпуклость очертаній, какой не встрѣтишь ни у кого другого. Едва-ли Гоголь не первый призналъ это достоинство и восхищался имъ, прослушавъ первыя еще не напечатанныя охотничьи воспоминанія Аксакова“.

Но языкъ писателя есть выраженіе его личности. Поэтому мало охарактеризировать языкъ Аксакова только со стороны его ясности, точности и народности; надо прибавить, что это языкъ человѣка, одушевленнаго любовью къ природѣ, доходящей почти

*) Впервые полная характеристика таланта С. Т. Аксакова и указаніе существенныхъ элементовъ его творчества появились въ статьѣ А. С. Хомякова („Русская Бесѣда“, 1859 г., № 3).

**) Сочиненія, X, 351—366 ст.

до обожанія, человѣка, знающаго и понимающаго всѣ тончайшіе оттѣнки различныхъ ея явленій. Тонкое знаніе природы и страстная любовь къ ней являются второй стихіей литературнаго творчества Аксакова, проникающей всѣ его произведенія и особенно ярко сказавшейся въ его охотничьихъ воспоминаніяхъ. Припомните чудныя, поэтическія описанія береговъ Оки и Дѣмы, припомните знаменитый Бугурусланъ съ его роскошной уремой, и вы поймете, что такія описанія могъ создать только человѣкъ, глубоко чувствующій красоты природы. Припомните, напр., описаніе первой весны, встрѣченной имъ въ Багровѣ, и вы поймете, до какихъ размѣровъ доходила любовь къ природѣ въ этой страстной, до самозабвенія увлекающейся натурѣ. „Я казался, я долженъ былъ казаться какимъ-то полоумнымъ, помѣшаннымъ; глаза у меня были дикіе; я ничего не видѣлъ, ничего не слышалъ, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрѣлъ ему въ глаза и съ нимъ только могъ говорить и только о томъ, что мы сейчасъ видѣли. Мать сердилась и грозила, что не будетъ пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчасъ изъ головы куликовъ и утокъ. Боже мой! Да развѣ можно было это сдѣлать!“ Или, напр., припомните, какъ онъ описываетъ свое возвращеніе съ Евсенчемъ съ рыбной ловли: „Мы шли и оба кричали, перебывая другъ друга своими разсказами, даже останавливались иногда, ставили ведро на землю и доканчивали какое-нибудь горячее воспоминаніе: какъ тронуло поплавокъ, какъ его утащило, какъ упиралась или какъ сорвалась рыба; потомъ снова хватались за ведро и спѣшили домой.“ И такое страстное отношеніе къ разнымъ охотамъ сохранялъ Аксаковъ до старости. И это не былъ охотникъ, исключительно преданный, какъ это обыкновенно бываетъ, одной какой-нибудь охотѣ. Припомните, съ какимъ увлеченіемъ предавался онъ, во время студенчества, собиранію бабочекъ; припомните, что уже на старости лѣтъ онъ велъ дневникъ, въ который записывалъ, сколько какихъ грибовъ набралъ онъ въ извѣстный день, и куда срисовывалъ наиболѣе замѣчательные грибы. Аксаковъ признается, что онъ не понимаетъ охотниковъ, интересующихся только однимъ родомъ охоты и съ презрѣніемъ относящихся къ другимъ. „Всѣ разнородные охотники, говоритъ онъ, должны по-

нимать другъ друга: ибо охота, сближая ихъ съ природою, должна сближать между собою.“ Именно, въ сближеніи съ природою онъ и видѣлъ главное удовольствіе всякой охоты. Посмотрите, какъ онъ описываетъ наслажденія, которыя долженъ испытывать рыбовловъ: „на зеленомъ, цвѣтущемъ берегу, надъ темною глубиоу рѣки или озера, въ тѣни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свѣтломъ зеркалѣ воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ поплавки ваши,—улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бури, рассыплотся самолюбивыя мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступитъ въ вѣчныя права свои, вы услышите ея голосъ, заглушенный на время суетней, хлопотней, смѣхомъ, крикомъ и всею пошлостію человѣческой рѣчи.“ И Аксакову удалось подслушать этотъ вѣчный голосъ природы. Онъ неумолчно звучитъ въ его разказахъ и его тихой, таинственной поэзіей очаровывается воображеніе читателя. Въ этомъ тайна впечатлѣнія, производимаго его, повидимому, специальными охотничьими воспоминаніями. Первостепенный художникъ слова, Аксаковъ умѣлъ передавать съ поразительной ясностью свою любовь, свое пониманіе природы. „Гремите, не сходя съ мѣста, всѣми громами риторики“, говоритъ Тургеневъ: „вамъ большаго труда это не будетъ стоить; попробуйте понять и выразить, что происходитъ хотя бы въ птицѣ, которая смолкаетъ передъ дождемъ, и вы увидите, какъ это не легко.“ Эти трудности пониманія и выраженія не существовали для Аксакова. Поэтому впечатлѣніе его охотничьихъ воспоминаній было трогательно. „Въ птицахъ у Сергѣя Тимоѣевича, говорилъ Гоголь, болѣе жизни, чѣмъ въ моихъ людяхъ.“ *) „Вы будете смѣяться“, писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Тургеневъ: „но я васъ увѣряю, что когда я прочелъ, напр., статью о тетеревѣ, мнѣ, право, показалось, что лучше тетерева [жить невозможно... Если бъ тетеревъ могъ разказать о себѣ, онъ бы, я въ томъ увѣренъ, ни слова не прибавилъ къ тому, что намъ повѣдалъ о немъ Аксаковъ.“

Въ творческомъ духѣ художника, возводящемъ „въ перлъ со-

*) Свидѣтельство Шевырева. Русская Бесѣда, 1858 № 2, стр. 72.

зданія“ явленія природы и жизни, однимъ изъ существенныхъ элементовъ является его общее отношеніе къ жизни и людямъ. Аксаковъ не былъ склоненъ отрицательно относиться къ дѣйствительности. Онъ смотрѣлъ на жизнь свѣтло и радостно. „Чувство благоволенія и любви“, говоритъ Хомяковъ; *) „любви благодарной небу за каждый его свѣтлый лучъ, жизни за каждую ея улыбку и всякому доброму челоуѣку за всякій его добрый привѣтъ, любви, укрѣплявшей душу противъ долгихъ страданій и дошедшей въ послѣдніе дни до духовной радости, это чувство наложило на всѣ произведенія Аксакова свою особую печать.“ „Въ его произведеніяхъ“, продолжаетъ Хомяковъ: „вы слышите рѣчь старца, много пережившаго: вы видите, что волненіе жизни улеглось и что мысль и чувство лежатъ передъ вами съ полною прозрачностью, не возмущая очерка предметовъ, но облакая ихъ какимъ-то чуднымъ сіяніемъ.“ Такимъ образомъ, благодаря любвеобильному сердцу автора и его годамъ, придавшимъ его разсказамъ спокойствіе созерцанія, произведенія Аксакова носятъ печать объективности и эпического безпристрастія. Образы минувшаго проходятъ предъ душевными очами старца, не возмущая его души давно уже пережитыми страстями. Онъ, какъ древній лѣтописецъ, спокойно и простоудушно ведетъ свою рѣчь, передавая потомкамъ все, чего „свидѣтелемъ Господь его поставилъ“. Отсутствіе предвзятыхъ мыслей, простота отношенія къ явленіямъ жизни, полнота и безукоризненная правдивость изображенія дѣйствительности дѣлаютъ его воспоминанія не только интересными для простаго читателя, но и въ высшей степени важными для историка, который въ этихъ воспоминаніяхъ найдетъ богатый фактический матеріалъ для характеристики эпохи.

Для историка произведенія Аксакова являются мемуарами, проливающими яркій свѣтъ на внутреннюю жизнь общества того времени. Но въ какомъ смыслѣ могутъ они быть названы мемуарами для историка литературы? Имѣютъ-ли они интересъ поэтической? Возможно-ли въ нихъ прослѣдить художественную идеализацію, признаки творческаго вымысла художника? Ясный и непререкаемый

*) Русская Бесѣда, 1859, № 3.

отвѣтъ даетъ намъ на эти вопросы наше внутреннее чувство прекраснаго. То наслажденіе, съ которымъ мы читаемъ чудныя описанія роскошной оренбургской природы, воспроизведеніе патриархальной жизни дѣдушки Степана Михайловича и его домочадцевъ, подвиговъ и порывовъ безумно любящей матери, это наслажденіе могъ доставить намъ только высокій талантъ художника. Не голыя описанія фактовъ, встрѣчаемыя нами у лѣтописца, находимъ мы въ сочиненіяхъ Аксакова, а воспроизведеніе дѣйствительной жизни, прошедшее черезъ горнило творческаго духа художника. Этимъ-то и отличаются сочиненія Аксакова отъ простыхъ мемуаровъ, въ этомъ-то и заключается тайна производимаго ими на насъ впечатлѣнія. Если бы мы захотѣли осмыслить себѣ это впечатлѣніе, критически отнестись къ нему, то мы нашли бы въ Аксаковѣ всѣ признаки, которые отличаютъ истинныхъ художниковъ: и чувство мѣры, не позволяющее поэту загромождать свое повѣствованіе случайными фактами, преувеличивать или уменьшать ихъ значеніе; и выясненіе типическихъ особенностей предмета, составляющее художественную идеализацію, и, наконецъ, яркость красокъ въ изображеніи предмета, которая возстановляетъ въ нашемъ воображеніи этотъ предметъ съ ясностью реального представленія. Эти особенности Аксакова, какъ художника, и позволяли ему изъ случайныхъ, отрывочныхъ воспоминаній создать ту великолѣпную бытовую картину, которую мы находимъ въ „Семейной хроникѣ“. Они дали ему возможность придать этой картинѣ „тотъ характеръ внутренней правды, который не допускаетъ ни малѣйшей тѣни сомнѣнія въ читателѣ.“

Послѣ высказанныхъ нами соображеній, возможно вполне опредѣленно отвѣтить на поставленный выше вопросъ: какъ могъ Аксаковъ пріобрѣсти такое почетное мѣсто въ русской литературѣ, рассказывая только о своихъ воспоминаніяхъ да о такихъ, повидимому, мало интересныхъ предметахъ, какъ уженіе рыбы и ружейная охота? Явленія природы и жизни Аксаковъ воспринялъ въ своей, страстно любящей природу, высоко гуманной, чисто русской натурѣ. Силою творческаго таланта художника онъ воспроизвелъ эти явленія съ необычайною силой и правдой, съ поразительнымъ богатствомъ слова и яркостью образовъ. И одухотворенныя

міросозерцаніємъ поэта эти явленія природы и жизни получаютъ въ нашихъ глазахъ новую цѣну — цѣну поэтического творчества.

Охарактеризовавъ личность и талантъ С. Т. Аксакова, бросимъ теперь общій взглядъ на содержаніе его произведеній, на жизнь, которая въ нихъ отразилась. Сочиненія Аксакова, если не считать его первыхъ мало-значительныхъ статей и переводовъ, можно раздѣлить на двѣ большія группы: содержаніемъ одной является природа, содержаніемъ другой — люди. Мы не будемъ останавливаться на первой группѣ, заключающей охотничьи рассказы Аксакова, такъ какъ ея содержаніе и характеръ уже вполнѣ выяснились изъ предшествующаго изложенія. Остановимся только на семейныхъ и личныхъ воспоминаніяхъ Аксакова. Эти воспоминанія, начинаясь съ художественнаго воспроизведенія жизни, переходятъ, по мѣрѣ своего приближенія къ настоящему времени, въ простыя записки современника, въ мемуары. Эти воспоминанія обнимаютъ собою почти столѣтній періодъ времени. Начинаясь съ пересказа семейныхъ преданій, относящихся къ половинѣ XVIII вѣка, они доходятъ до половины XIX столѣтія. Передъ мысленнымъ взоромъ нашимъ проходятъ помѣщики XVIII вѣка, съ ихъ убѣжденіемъ въ святости крѣпостнаго права, съ ихъ произволомъ, а нерѣдко и жестокостями. Раскрывается старинная жизнь въ глухой провинціи съ ея домостроевскими устоями. Изрѣдка мелькнетъ грустное лицо крестьянина, задавленнаго нуждой и капризами своевольнаго барина. Время идетъ. Картины мѣняются. Передъ нами городская жизнь въ Уфѣ: пустыя забавы, сплетни, безтолковое воспитаніе, даваемое дѣтямъ. Затѣмъ раскрывается картина гимназической и университетской жизни въ Казани, съ ея патриархальными порядками. Мало по малу переходите вы вмѣстѣ съ Аксаковымъ въ область литературныхъ и театралныхъ интересовъ первой четверти XIX вѣка; передъ вами проходитъ фанатикъ Шишковъ съ его враждой ко всему иноземному, благодушный старецъ Державинъ, восхищающійся своими драматическими пьесами. Но годы идутъ, и вновь картины мѣняются: вы вмѣстѣ съ Аксаковымъ входите въ литературные интересы сороковыхъ годовъ;

передъ вами вырисовывается характерная фигура Гоголя, въ его интимныхъ отношеніяхъ. Такъ разнообразна жизнь, отразившаяся въ воспоминаніяхъ Аксакова. Но среди всей этой массы самыхъ разнообразныхъ и разнохарактерныхъ лицъ, ярче всего запечатлѣваются въ нашемъ воображеніи три образа: дѣдушки Степана Михайловича, злодѣя Куролесова и матери автора, Софьи Николаевны Багровой.

Степанъ Михайловичъ Багровъ, типъ стариннаго русскаго помѣщика, лучшее созданіе Аксакова по художественности изображенія. Въ этомъ типѣ Аксаковъ необыкновенно искусно соединилъ самыя, повидимому, разнородныя черты. Съ одной стороны, это человѣкъ съ доброй и любящей душой, съ строгими понятіями о чести, съ проблесками благородства и великодушія, человѣкъ, свято хранящій старинныя русскіе обычаи и желающій добра своимъ крестьянамъ. Это благодѣтель всего околотка. Его безукоризненная правдивость и справедливость пользовались всеобщимъ уваженіемъ. „Со всѣхъ сторонъ, говоритъ Аксаковъ, ѣхали къ нему за совѣтомъ, судомъ и приговоромъ, и свято исполнялись они!“ Но съ другой стороны, мы видимъ, что это былъ человѣкъ совершенно необразованный, едва умѣвшій читать и писать. Это былъ человѣкъ, нерѣдко предававшійся такимъ вспышкамъ гнѣва, „которыя искажали въ немъ образъ человѣческой и дѣлали его способнымъ къ самымъ жестокимъ, отвратительнымъ поступкамъ“. Однажды, напр., „онъ прогнѣвался на одну изъ дочерей своихъ за то, что солгала и заперлась въ обманѣ; двое людей водили его подъ руки; узнать нельзя было прежняго дѣдушку, онъ весь дрожалъ, лицо дергали судороги; свирѣпый огонь лился изъ глазъ его, помутившихся, потемнѣвшихъ отъ ярости. „Подайте мнѣ ее сюда! вопилъ онъ задыхающимся голосомъ. Бабушка кинулась было ему въ ноги, прося помилованія, но въ одну минуту слетѣлъ съ нея платокъ и волосникъ, и Степанъ Михайловичъ таскалъ за волосы свою тучную, уже старую Арину Васильевну. Между тѣмъ не только виноватая, но и всѣ другія сестры, даже братъ ихъ съ молодою женою и маленькимъ сыномъ убѣжали изъ дому и спрятались въ рощу, окружавшую домъ; даже тамъ ночевали. Долго бушевалъ дѣдушка на просторѣ въ опустѣломъ домѣ. Наконецъ, уставши колотить Та-

найченка и Мазана, уставши таскать за косы Арину Васильевну, повалился онъ въ изнеможеніи на постель и наконецъ впалъ въ глубокой сонъ“. Подобные припадки гнѣва нерѣдко случались со Степаномъ Михайловичемъ. Поэтому все въ домѣ трепетали его, дрожали отъ каждаго его недовольнаго взгляда. Но страхъ—плохой воспитатель, и въ семьѣ патриарха-дѣдушки не переводились обманы, ссоры, свары и интриги. Такимъ образомъ, въ Степанѣ Михайловичѣ мы должны признать натуру, безспорно, великодушную и любящую, но совершенно нетронутую облагораживающимъ вліяніемъ образованія и цивилизаціи. Грубость нравовъ того времени, необразованность, возможность предаваться гнѣву, не встрѣчая отпора отъ крестьянъ, связанныхъ крѣпостнымъ правомъ, портили и извращали даже такіа благородная натуры, какъ Степанъ Михайловичъ Багровъ. Какихъ изверговъ дѣлали эти тяжелыя условия изъ людей, не одаренныхъ врожденнымъ благородствомъ, показываетъ намъ примѣръ Куролесова, представлявшаго, по замѣчанію Аксакова, „ужасное соединеніе инстинкта тигра съ разумностью человѣка“. „Избалованный страхомъ и покорностью всеѣхъ окружающихъ его людей, говоритъ авторъ, онъ скоро забылъ и пересталъ знать мѣру своему своеволію“. „Терзать людей сдѣлалось его потребностью, наслажденіемъ. Въ тѣ дни, когда ему случалось не драться, онъ былъ скученъ, печаленъ, безпокоенъ, даже боленъ“. Наказанія его отличались утонченною безчеловѣчностью. „Жизнь наказанныхъ людей спасали только тѣмъ, что завертывали истерзанное тѣло ихъ въ теплыя только что снятыя шкуры барановъ, тутъ же зарѣзанныхъ“. Нерѣдко бывали и смертныя случаи. Самый судъ боялся его, потому что онъ объявилъ, что „обдеретъ кошками того изъ чиновниковъ, который покажется ему на глаза“. Такимъ образомъ никакого удержу не знала эта дикая, кровожадная натура. Мы не будемъ болѣе останавливаться на подвигахъ Куролесова. Мы скажемъ только, что Аксаковъ не имѣлъ въ виду критики тогдашней жизни, онъ не былъ тенденціознымъ писателемъ, и въ то же время едва-ли у кого другого эта жизнь, изображенная вполне безпристрастно, со всеми ея хорошими и дурными сторонами, получала болѣе строгую критику, вызывала болѣе суровое осужденіе. Но ужасъ и мракъ этой безправной жизни не

закрывали для Аксакова и свѣтлыхъ ея сторонъ, дѣлавшихъ возможнымъ дальнѣйшее историческое развитіе. Мы можемъ видѣть эти стороны въ богатствѣ и даровитости русской природы, подавленныхъ, но не окончательно загубленныхъ крѣпостнымъ правомъ, мы видимъ ихъ въ энергіи, справедливости и строгихъ понятіяхъ о чести дѣдушки Степана Михайловича, въ страстныхъ порывахъ прекрасной души Софьи Николаевны Багровой, въ непредѣльномъ благодушіи и любви къ природѣ дядьки Евсеича, въ необыкновенной даровитости доморощеннаго юриста Пантелея, въ поэтическихъ, исполненныхъ нравственной правды сказкахъ ключницы Пелагеи. И мы чувствуемъ, что, давъ этимъ силамъ правильное приложеніе, внеся въ эту жизнь свѣтъ знанія и цивилизаціи, можно сдѣлать этотъ народъ, несмотря на тяжелыя историческія испытанія, способнымъ осуществить величайшія цѣли исторіи. Этой бодрой вѣрой въ силы русскаго народа проникнуты всѣ сочиненія Аксакова.

Мы не можемъ при характеристикѣ Аксаковскихъ типовъ оставить безъ вниманія еще одинъ типъ, имѣющій болѣе психологическое, чѣмъ общественно-историческое значеніе. Мы разумѣемъ изображеніе матери автора, Софьи Николаевны Багровой. „Этотъ образъ, замѣчаетъ Шевыревъ, выносила въ душѣ своей такая же любовь сыновняя, какая прежде у груди матери лелѣяла сына“. „Аксаковъ воздвигъ ей самый лучший памятникъ, какой только благодарный сынъ можетъ воздвигнуть матери“. Сперва является намъ Софья Николаевна блестящей свѣтской красавицей. „Все, что имѣло право влюбляться, было влюблено въ Софью Николаевну, но любовью самой почтительной и безнадежной, потому что строгость нравовъ ея доходила до крайнихъ размѣровъ“. „Всѣ по тогдашнему умные и образованные люди, попадавшіе въ Уфу, спѣшили съ ней познакомиться, плѣнялись ею и никогда не забывали“. Всѣ удивлялись ея красотѣ, уму и характеру. Она, въ полномъ смыслѣ слова, была царицей уфимскаго общества. И вотъ эта блестящая дѣвушка выходитъ замужъ за невиднаго помѣщика. Съ необыкновеннымъ мастерствомъ указываетъ намъ Аксаковъ, какъ мало по малу изъ этой свѣтской красавицы, принужденной оставить общество и забиться въ глухую деревню, вырабатывается мать, безумно и самоотверженно любящая сына. Всѣ силы ея пре-

красной души слились въ одно всепоглощающее чувство—любовь материнскую. Для сына она все забываетъ, всёмъ жертвуетъ. Не мало трогательныхъ страницъ посвящаетъ Аксаковъ описанію подвиговъ ея материнскаго самоотверженія. Припомните, напр., ея героическую переправу черезъ Каму, готовую вскрыться. Едва ли въ нашей литературѣ есть другой болѣе яркій примѣръ изображенія силы материнской любви. Конечно, порывы безумно любящей матери не всегда были разумны и не всегда благотворно дѣйствовали на сына, вызывая въ немъ излишнюю нервность и преждевременное развитіе; конечно, понятія ея о воспитаніи не всегда могли бы быть одобрены современной педагогикой, но сила любви ея, возвратившая къ жизни сына въ младенчествѣ, и въ отрочествѣ сохраняла и спасала его отъ многихъ пагубныхъ увлеченій. „Исторія участія матерей въ воспитаніи, говоритъ Шевыревъ, есть та неисповѣдимая, недоступная намъ книга, тайны которой извѣстны только Существу Всезнающему. Этихъ подвиговъ и заслугъ почти не знаетъ человѣчество: это жертвы, приносимыя ему безсознательно силой самой чистой любви. Взять изъ этой таинственной книги хотя нѣсколько страницъ и внести ихъ въ біографію дѣтства есть уже великая заслуга не только передъ русскими людьми, но и передъ людьми вообще“.

Если теперь, сдѣлавъ общую характеристику личности и таланта автора, окинувъ общимъ взглядомъ жизнь, изображаемую въ его произведеніяхъ, мы захотѣли бы резюмировать все сказанное и опредѣлить мѣсто Аксакова среди русскихъ читателей, то мы пришли-бы къ слѣдующимъ выводамъ. С. Т. Аксаковъ не принадлежитъ къ числу великихъ поэтовъ. По силѣ творческаго вымысла, по богатству и разнообразію проявленій фантазіи онъ далеко уступаетъ Пушкину, Гоголю, Тургеневу. И тѣмъ не менѣе имя Аксакова не забудется въ исторіи русской жизни и русской литературы. Для историка произведенія Аксакова даютъ обширный и разнообразный фактическій матеріалъ, котораго нельзя обойти при изученіи русской общественной жизни конца прошлаго и первой половины настоящаго столѣтія. Многочисленные и яркіе факты, собранные Аксаковымъ, дополняютъ и освѣщаютъ данныя, которыя историкъ добываетъ изъ другихъ источниковъ, а полная безпри-

страстность и правдивость его изложенія позволяют ссылаться на его сочиненія, какъ на историческіе документы. „Нельзя, говорить современный историкъ, забыть о сочиненіяхъ Аксакова, не рискуя потерять нѣсколькихъ звеньевъ изъ сложнаго процесса нашего общественнаго развитія“ *). Еще менѣе имѣеть права забывать о дѣятельности Аксакова историкъ русской литературы. Въ исторіи литературы можно опредѣлить два типа дѣятелей, имена которыхъ достойно могутъ быть вписаны на ея страницы. Одни являются, какъ яркія свѣтила, освѣщающія дотолѣ неясный и темный путь исторіи. Они указываютъ обществу новую дорогу, силою своего генія увлекаютъ за собой многочисленную толпу послѣдователей, создаютъ новую школу. Такая дѣятельность въ нашей литературѣ выпала на долю Пушкина и Гоголя. Другіе, болѣе скромные, не создаютъ новой школы; они идутъ по дорогѣ, указанной ихъ гениальными предшественниками, но они расширяютъ и углубляютъ ихъ дѣло, болѣе прочно вводятъ его въ общественное сознание, дѣлаютъ его достояніемъ не отдѣльныхъ кружковъ и личностей, а цѣлаго общества. Ихъ работа укрѣпляетъ дѣло ихъ учителей, воспитываетъ общество и результатомъ ихъ совмѣстной работы, въ связи съ историческими условіями, является медленное, но глубокое измѣненіе въ самыхъ понятіяхъ общества, въ его, какъ говорятъ, міросозерцаніи. Такого измѣненія не можетъ достигнуть никакая отдѣльная личность, какою бы силою генія она ни обладала. Оно достигается только тогда, когда *гениальные* инициаторы имѣютъ *талантливыхъ* продолжателей. С. Т. Аксаковъ и является однимъ изъ продолжателей великаго дѣла, начатаго Пушкинымъ и Гоголемъ, дѣла сближенія русской литературы съ русскимъ народомъ, дѣла внесенія въ литературу самобытныхъ началъ русскаго національнаго искусства. На примѣрѣ Аксакова мы можемъ особенно ясно увидѣть ту связь, которая существуетъ между великими людьми и ихъ продолжателями, мы можемъ подсмотреть тотъ сложный историческій процессъ, которымъ проходитъ развитіе литературы. Великій писатель не является внезапно и безъ предшественниковъ. Въ обществѣ уже смутно чув-

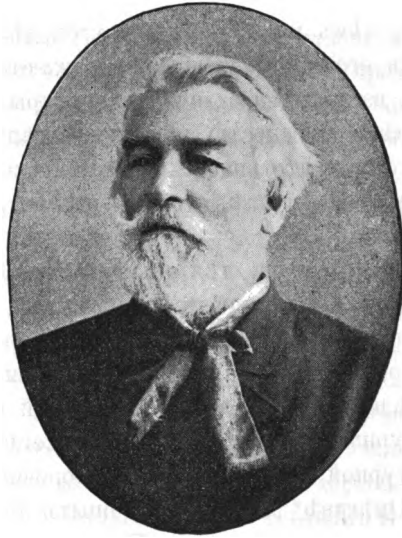
*) „С. Т. Аксаковъ“. Ст. П. Н. Милюкова. „Русская Мысль“ 1891.

ствуется потребность новаго; уже носятся элементы будущаго міросозерцанія поэта. Но только великіе люди могут пережить и перечувствовать, воспринять и переработать эти элементы и создать изъ нихъ нѣчто, повидимому, совершенно новое, но въ дѣйствительности уже давно назрѣвшее въ обществѣ, выразившееся даже въ отдѣльныхъ литературныхъ попыткахъ. Но геній сразу схватываетъ самую суть дѣла, представляетъ ее въ такой яркости и опредѣленности, что изумленные современники рукоплещутъ поэту за его нововведеніе. Въ дѣйствительности-же это нововведеніе только потому и можетъ имѣть успѣхъ, что удовлетворяетъ давно назрѣвшей потребности. И если эта потребность еще не назрѣла, еще не нашла себѣ гениальнаго выразителя, то всѣ усилія даже весьма талантливыхъ поэтовъ не могутъ значительно подвинуть дѣло. Припомните поистинѣ титаническую борьбу могучаго таланта Державина съ традиціями ложнаго классицизма. „Я хотѣлъ парить, говорить онъ, но не могъ постоянно выдерживать изящнымъ подборомъ словъ свойственныхъ одному Ломоносову великолѣпія и пышности рѣчи“. Мы видимъ, что требованія литературной школы связывали крылья поэтическому полету вдохновенія Державина. И хотя силою своего таланта онъ и выбился на истинный путь, но не могъ создать чего-нибудь вполне достойнаго его таланта въ сферѣ художественнаго воссозданія русской дѣйствительности. Яркія вспышки могучаго таланта Державина не повели его къ созданію цѣльнаго, истинно народнаго произведенія. Передъ нимъ не было образцевъ изящнаго творчества въ народномъ духѣ; ему мѣшали и историческія условія, и школьныя традиціи. Аксаковъ находился въ совершенно обратномъ положеніи. Долго дремали его творческія силы; долго связывали его школьныя путы ложнаго классицизма, дѣлая изъ него посредственнаго писателя. Но знакомство съ произведеніями Гоголя пробудило дремлющія силы художника, указало ему совершенные образцы литературнаго творчества въ духѣ правды народной. И почти 60-лѣтній старецъ понялъ, наконецъ, свое призваніе и явился однимъ изъ талантливейшихъ продолжателей дѣла своего великаго учителя. Такъ великіе люди создаютъ, вызываютъ къ жизни таланты.

Итакъ, теперь становится яснымъ мѣсто, занимаемое Аксако-

вымъ по отношенію къ его великимъ предшественникамъ Пушкину и Гоголю. Намъ остается выяснитъ, въ какомъ отношеніи находится онъ къ другимъ представителямъ натуральной школы, къ Тургеневу, Гончарову, Писемскому и др. Аксаковъ, какъ мы уже сказали, вполне русскій, народный писатель. Русская природа, русская жизнь, русская рѣчь ярко, правдиво и художественно отразились въ его произведеніяхъ. Онъ не занимался въ своихъ сочиненіяхъ художественнымъ воспроизведеніемъ и анализомъ современныхъ ему общественныхъ явленій, чему посвящали свои силы его болѣе талантливые сподвижники Тургеневъ и Гончаровъ. Но онъ шелъ съ ними по одной дорогѣ, дѣлалъ одно дѣло, когда объективно изображалъ историческое прошлое русскаго общества, безъ знанія котораго немислимо развитіе общественнаго сознанія. Но уступая многимъ представителямъ натуральной школы въ этомъ отношеніи, онъ не уступаетъ имъ въ проникновеніи русскими народными началами, не уступаетъ въ изображеніи русской природы и, что является его главной заслугой, не уступаетъ никому, даже своимъ учителямъ Пушкину и Гоголю, въ своемъ знаніи русской народной рѣчи со всѣми ея тончайшими оттѣнками, въ своемъ умѣнни пользоваться самими, повидимому, неуловимыми ея изгибами и художественно возсоздать въ своихъ сочиненіяхъ эту русскую народную рѣчь. Не пройдетъ безслѣдно въ исторіи нашей словесности тотъ писатель, который, какъ Аксаковъ, показалъ намъ во всей красотѣ и богатствѣ нашъ, по выраженію Тургенева, „великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ!“





Д. В. ГРИГОРОВИЧЪ.

Три мѣсяца тому назадъ праздновался пятидесятилѣтній юбилей литературной дѣятельности Д. В. Григоровича. Все образованное русское общество съ глубокимъ сочувствіемъ отнеслось къ этому празднеству въ честь талантливаго писателя, одного изъ послѣднихъ ветерановъ литературы сороковыхъ годовъ. Въ его лицѣ русское общество чествовало многолѣтнее, плодотворное служеніе литературѣ, неизмѣнную преданность тѣмъ благороднымъ стремленіямъ и идеаламъ, которые объединяли и вдохновляли лучшихъ русскихъ писателей того времени. Не одно поколѣніе воспиталось на произведеніяхъ этихъ писателей, и Д. В. Григоровичъ, какъ одинъ изъ наиболѣе яркихъ выразителей ея стремленій, не забудется въ исторіи русской литературы.

Своеобразныя особенности таланта писателя развиваются и въ значительной степени опредѣляются въ зависимости отъ условій, въ которыхъ приходится жить и дѣйствовать писателю. Писатель,

едва ли не болѣе, чѣмъ какой-нибудь другой дѣятель, есть сынъ своего времени; въ его произведеніяхъ отражаются вопросы, волнующіе общество, взгляды на задачи литературы, господствующіе въ его время, успѣхи предшествующихъ ему дѣятелей въ области литературы. Поэтому дѣятельность писателя можетъ быть вполнѣ понятна только въ томъ случаѣ, если мы рассмотримъ ее въ связи съ условіями времени.

Григоровичъ началъ свою дѣятельность въ 1843 году, т. е. всего нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Пушкина, въ полный расцвѣтъ славы Гоголя, который уже написалъ къ этому времени всѣ самыя замѣчательныя свои произведенія; въ періодъ наибольшаго вліянія и извѣстности Бѣлинскаго. Гоголь и Бѣлинскій и представляютъ собой тѣ литературныя вліянія, которыя навсегда опредѣлили направление литературной дѣятельности Григоровича. Пушкинъ въ своемъ „Евгеніи Онѣгинѣ“ далъ первый опытъ литературнаго анализа общественныхъ явленій; но у Пушкина этотъ анализъ не является центромъ его поэтической дѣятельности. Какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, Пушкинъ здѣсь указалъ новый путь развитія литературы. Гениальнымъ умомъ своимъ онъ проникъ въ назрѣвающія потребности времени. Но то, что было у него только одной, и при томъ не самой существенной стороной дѣятельности, стало у Гоголя призваніемъ всей жизни. Всѣ произведенія зрѣлаго возраста Гоголя, „Мертвыя души“, „Ревизоръ“, „Петербургскія повѣсти“, посвящены именно описанію и анализу общественныхъ явленій, изображенію наиболѣе яркихъ типовъ его времени, въ связи съ окружающей ихъ обстановкой. Внимательно присматриваясь къ жизненнымъ явленіямъ, тщательно изучая ихъ, Гоголь, отчасти благодаря особенностямъ своего таланта, отчасти подчиняясь требованіямъ времени, обращалъ особенное вниманіе на повседневную, будничную жизнь. Не исключительныя явленія, не герои, а самые обыкновенные люди, встрѣчающіеся въ повседневной жизни, служили предметомъ его изображенія. Недостатки общественныя, дававшіе почву для возникновенія отрицательныхъ типовъ, были указаны имъ съ поразительной силой и правдой. Постепенно расширяя сферу своего наблюденія, Гоголь, представивъ великолѣпную картину помѣщичьяго и чиновничьяго быта въ его главнѣйшихъ проявленіяхъ, стремился

проникнуть въ самые глухіе уголки общественной жизни. Если чиновники въ „Мертвыхъ душахъ“ и „Ревизорѣ“ представляютъ картину торжествующаго зла, съ которымъ только отчасти примиряетъ насъ гроза идущаго впереди закона, то другіе типы чиновниковъ— Поприщинъ, Акакій Акакіевичъ переносятъ насъ уже въ другую сферу дѣйствительности: впервые въ русской литературѣ появляются тутъ на сцену забытые люди. Этотъ несчастный, униженный и смѣшной Акакій Акакіевичъ изображенъ Гоголемъ съ такой теплотой и любовью, что мы проникаемся глубокимъ состраданіемъ къ этому жалкому и запуганному человѣку, чувствуемъ въ немъ, по выраженію Гоголя, *своего брата*. Главнѣйшая заслуга Гоголя въ томъ именно и заключается, что онъ обратилъ вниманіе на будничную жизнь со всѣми ея мелкими явленіями, заставилъ признать эту мелочь жизни предметомъ, достойнымъ поэтического воспроизведенія, представилъ ее въ трезвомъ и глубоко-гуманномъ освѣщеніи. Съ этого времени русское общество и русскіе писатели, руководимые въ то время Бѣлинскимъ, поняли, что задача литературы не въ томъ, чтобы доставлять наслажденіе праздному читателю, что она представляетъ серьезное дѣло, что она—одна изъ важнѣйшихъ формъ служенія своему обществу и своему народу. Итакъ, Гоголемъ и Бѣлинскимъ твердо и ясно были поставлены цѣли, къ которымъ должна стремиться литература: изображеніе и анализъ обыденной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, уясненіе общественнаго самосознанія, гуманное отношеніе къ забытымъ людямъ, трезвое освѣщеніе фактовъ, чуждое сентиментальности и мелодраматическихъ эффектовъ—вотъ эти цѣли, какъ подъ вліяніемъ Бѣлинскаго и Гоголя, стало ихъ понимать русское общество. Впечатлѣніе сочиненій Гоголя, разъясненныхъ критикой Бѣлинскаго, на мыслящихъ людей русскаго общества было парализующимъ. Если уже такіе пожилые и опытные литераторы, какъ С. Т. Аксаковъ, видѣли въ сочиненіяхъ Гоголя какое-то откровеніе, перевертывающее всѣ ихъ литературныя понятія, то что же сказать про молодыхъ, только что начинавшихъ свою дѣятельность писателей— Некрасова, Григоровича, Достоевскаго, Тургенева и др.? Они приняли указанныя литературныя цѣли, какъ свой девизъ. Они въ первыхъ своихъ произведеніяхъ подчинились болѣе или менѣе

вліянію сочиненій Гоголя. Образовалась особая реальная, или натуральная школа писателей. Въ литературѣ появились особые термины, свидѣтельствующіе объ увлеченіи анализомъ повседневныхъ явленій общественной жизни. Таковъ, напр., терминъ: физиологія общества, первоначально заимствованный изъ французской литературы, но сразу получившій право гражданства и необычайную популярность среди русскихъ писателей. Извѣстный сборникъ Некрасова носилъ названіе: „Физиологія Петербурга“; нѣкоторые рассказы авторы, напр. Григоровичъ, озаглавливали: „физиологическій очеркъ“. Такимъ образомъ въ литературѣ замѣчалось небывалое прежде оживленіе; писатели обратились къ изученію не классическихъ образцовъ, а къ изученію самой жизни. И то настроеніе, которое придало такую популярность этимъ физиологіямъ и физиологическимъ очеркамъ, и послужило почвой, на которой выросъ постепенно тотъ соціально-психологическій романъ, который составляетъ гордость и славу современной русской литературы.

Одними литературными вліяніями, одной преемственностью литературныхъ явленій нельзя, однако-же, объяснить всего литературнаго движенія того времени. Знакомство съ жизнью, философій и наукой Западной Европы пробуждало среди мыслящихъ людей того времени интересъ къ общественнымъ вопросамъ, интересъ, который необходимо долженъ былъ отразиться и на литературѣ. Общественные вопросы были любимой темой разговоровъ и споровъ среди различныхъ кружковъ сороковыхъ годовъ. Съ другой стороны въ самой жизни назрѣлъ и близокъ былъ къ разрѣшенію вопросъ громадной важности — освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Уже въ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ писателей XVIII в., Новикова, Радищева, и др., затрогивался вопросъ о тяжеломъ положеніи крестьянъ подъ крѣпостнымъ вѣсомъ. Въ первой четверти XIX вѣка сознаніе возмутительности этого явленія было всеобщимъ среди передовыхъ людей того времени. Это сознаніе внушило двадцатиплѣтнему Пушкину превосходное стихотвореніе: „Деревня“, въ которомъ послѣ необычайно яркой картинны положенія крестьянъ подъ властью помѣщиковъ, поэтъ съ одушевленіемъ восклицаетъ:

„Увижу-ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря!..

Въ то время, когда Пушкинъ писалъ это стихотвореніе (1819), надежды его были еще далеки отъ осуществленія, но когда, наконецъ, въ общество проникли слухи, что само правительство серьезно озабочено этимъ вопросомъ, интересъ къ положенію крестьянъ оживился. Пробудились реальные надежды. Крестьянскій вопросъ сдѣлался однимъ изъ важнѣйшихъ литературныхъ вопросовъ; изображеніе крестьянской жизни—однимъ изъ главныхъ предметовъ поэтическаго изображенія.

Итакъ, мы видимъ, что общее направленіе литературы находило себѣ особую пищу еще и въ крестьянскомъ вопросѣ. И въ самомъ дѣлѣ, изображеніе крестьянской жизни было естественнымъ расширеніемъ сферы литературныхъ задачъ. Если общей задачей литературы сдѣлалось изображеніе обыденной жизни и уклоненіе отъ ходульныхъ, мелодраматическихъ героевъ, то не давала-ли жизнь крестьянина богатыхъ матеріаловъ для такихъ изображеній? Если литераторы съ особенной любовью стали проникать въ самые глухіе уголки общественной жизни, отыскивая тамъ забитыхъ и угнетенныхъ людей, то не естественно-ли было этихъ забитыхъ находить среди крестьянъ, стонущихъ подчасъ подъ дикимъ произволомъ помѣщиковъ? Если хотѣли будничную жизнь представить въ свѣтѣ гуманности, то какая-же область русской жизни болѣе нуждалась въ этомъ гуманномъ освѣщеніи? Такимъ образомъ, если-бы даже и не было вопроа о крѣпостномъ правѣ, то естественное развитіе указанныхъ выше задачъ необходимо привело-бы писателей къ изображенію крестьянской жизни.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ придалъ особенную силу и распространеніе этимъ изображеніямъ. Если Гоголь, правдивыми чертами обрисовавъ жизнь помѣщиковъ, явился отчасти безсознательнымъ, хотя и могучимъ противникомъ крѣпостнаго права, если, изображая провинціальную жизнь, онъ совсѣмъ почти не касался собственно крестьянской жизни, то слѣдующіе за нимъ писатели поставили

дѣло иначе. Они вступаютъ въ сознательную борьбу съ крѣпостнымъ правомъ. Они изображаютъ крестьянъ съ цѣлью разрушить господствовавшіе относительно ихъ въ обществѣ предрасудки, чтобы пробудить къ этимъ забытымъ людямъ сочувствіе и вниманіе общества. Тургеневъ даетъ свою знаменитую „аннибаловскую клятву“ бороться съ крѣпостничествомъ. Многіе писатели съ особенною любовью начинаютъ заниматься изображеніемъ крестьянскаго быта.

Однимъ изъ наиболѣе яркихъ писателей этой эпохи, первымъ, написавшимъ повѣсть собственно изъ крестьянскаго быта, и является Д. В. Григоровичъ. Эта талантливая повѣсть, озаглавленная авторомъ: „Деревня“ и открывшая собою новый родъ беллетристики изъ крестьянскаго быта, доставила Григоровичу широкую извѣстность. Но собственно первымъ заслуживающимъ вниманіе литературнымъ опытомъ Григоровича былъ нравоописательный очеркъ „Петербургскіе шарманщики“, написанный въ 1843 году для сборника, издаваемого Некрасовымъ подъ заглавіемъ: „Физиологія Петербурга“. Молодой, только что начинавшій свою дѣятельность писатель находился всецѣло подъ вліяніемъ Гоголя и Бѣлинскаго. „Писать наобумъ“, рассказываетъ Григоровичъ въ своихъ воспоминаніяхъ, „дать волю своей фантазіи, сказать себѣ: „и такъ сойдемъ!“—казалось мнѣ равносильнымъ безчестному поступку; у меня, кромѣ того, тогда уже пробуждалось стремленіе къ реализму, желаніе изображать дѣйствительность такъ, какъ она въ самомъ дѣлѣ представляется, какъ описываетъ ее Гоголь въ „Шинели“,—повѣсти, которую я жадно перечитывалъ“.

Въ этихъ словахъ ясно высказывается вліяніе на юнаго писателя творчества Гоголя и теоретическихъ разъясненій Бѣлинскаго. Естественно, что живя въ деревнѣ, присматриваясь къ окружающимъ его явленіямъ деревенскаго быта и отыскивая сюжетъ для новой повѣсти, Григоровичъ, узнавъ объ одной печальной исторіи забытой крестьянской бабы, счелъ вполне заслуживающимъ вниманія сюжетомъ изображеніе судьбы этой несчастной женщины. Самая возможность подобнаго сюжета подсказывалась сочиненіями Гоголя; изъ нихъ-же заимствовался и тонъ отношенія къ дѣйствительности, и приемы ея изображенія. Эта повѣсть явилась только

распространеніемъ уже установившихся литературныхъ задачъ на новую область дѣйствительной жизни. Эта строго-логическая послѣдовательность Григоровича, свидѣтельствующая о глубокомъ и сильномъ проникновеніи началами натуральной школы; это открытіе новой сферы литературнаго творчества, изображеніе забытыхъ людей въ деревнѣ и есть главная заслуга Григоровича, есть тотъ новый шагъ въ развитіи русской литературы, который уже назрѣлъ въ потребностяхъ времени и который навсегда прославилъ имя Григоровича, какъ человѣка, положившаго своею дѣятельностью начало беллетристики изъ крестьянскаго быта. Вслѣдъ за первою повѣстью Григоровича, посвященной изображенію деревни, является и другая: „Антонъ горемыка“, которая создала окончательно репутацію Григоровича, какъ талантливаго писателя. Въ этой повѣсти предъ нами является опять типъ забитаго, безотвѣтнаго, смиреннаго человѣка. Новое произведеніе было восторженно встрѣчено критикою Бѣлинскаго. Въ перепискѣ и воспоминаніяхъ дѣятелей того времени мы находимъ отголоски оживленныхъ толковъ, которые возбуждали первыя повѣсти Григоровича изъ крестьянской жизни. Достоевскій въ письмѣ къ своему брату сообщаетъ, что „физиологія“, какъ онъ выражается, „Григоровича „Деревни“ дѣлаетъ фуроръ“; графъ Л. Толстой, вспоминая это время, говоритъ, что на него, 16-лѣтняго тогда юношу, повѣсти Григоровича произвели сильное впечатлѣніе: впервые, говоритъ онъ, убѣдился я тогда, что надъ русскимъ мужикомъ писатель не долженъ смѣяться. Но ярче всего выразилъ свое впечатлѣніе и смыслъ тогдашнихъ толковъ Бѣлинскій въ письмѣ къ Боткину: „Ни одна русская повѣсть, пишетъ онъ по прочтеніи Антона-Горемыки, „не производила на меня такого страшнаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія; читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину—законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ“. Правда, нѣкоторые и изъ солидарныхъ съ Бѣлинскимъ людей сначала не поняли смысла первыхъ повѣстей Григоровича и смѣялись надъ ними. Къ такимъ лицамъ принадлежалъ напримѣръ, И. И. Панаевъ, который, какъ рассказываетъ И. С. Тургеневъ въ своихъ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ“, уцѣпился за нѣкоторые смѣшныя выраженія „Деревни“ и, обрадо-

вавшись случаю поглумиться, сталъ поднимать на смѣхъ всю повѣсть, даже читалъ въ нѣкоторыхъ пріятельскихъ домахъ нѣкоторыя, по его мнѣнію, самыя забавныя страницы“. „Но каково-же было его изумленіе“, продолжаетъ Тургеневъ, „каково недоумѣніе хохотавшихъ пріятелей, когда Бѣлинскій, прочтя эту повѣсть, не только нашелъ ее весьма замѣчательной, но немедленно опредѣлилъ ея значеніе и предсказалъ то движеніе, тотъ переворотъ, которые вскорѣ потомъ произошли въ нашей словесности. Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки изъ „Деревни“, но уже восхищаться ими, что онъ и сдѣлалъ“. Такимъ образомъ Григоровичъ въ лучшей части общества того времени первыми-же своими повѣстями занялъ почетное мѣсто среди русскихъ литературныхъ дѣятелей. Эти повѣсти, вмѣстѣ съ начинавшими появляться въ это время очерками изъ Записокъ Охотника Тургенева, привлекли серьезное вниманіе общества къ беллетристикѣ изъ крестьянскаго быта, доказали, что эта сфера жизни даетъ матеріалъ для поэтическаго творчества. Ободренный успѣхомъ молодой писатель съ жаромъ предается литературной дѣятельности и, не оставляя своихъ фізіологическихъ очерковъ изъ столычнѣй жизни, сосредоточиваетъ главное вниманіе на изображеніи деревенской жизни, которой и посвящаетъ, кромѣ многочисленныхъ повѣстей, два большіе романа: „Рыбаки“ и „Переселенцы“. Въ теченіе 12 лѣтъ, отъ 1848 до 1860 года Григоровичъ является однимъ изъ самыхъ плодovitыхъ писателей, но съ 1860 года онъ почти совершенно прекращаетъ свою литературную дѣятельность. 23 года продолжается это молчаніе талантливаго писателя, и только въ 1883 году появляется его новый рассказъ „Гуттаперчевый мальчикъ“, въ которомъ опять предстаётъ предъ нами типъ забитаго, загнаннаго ребенка. Мы видимъ, что продолжительное молчаніе Григоровича мало повліяло на его тенденціи, на его литературныя симпатіи. Можетъ быть, именно эта преданность завѣтамъ сороковыхъ годовъ въ то время, когда явились новыя литературныя направленія, новыя задачи и приемы творчества, и была отчасти причиною его молчанія. Вслѣдствіе этого Григоровичъ и представляется совершенно опредѣленный и яркій типъ писателя 40—50-хъ годовъ.

Указавъ на связь литературной дѣятельности Григоровича съ вопросами и задачами его времени, познакомивъ въ общихъ чертахъ съ литературными вліяніями, отразившимися въ его сочиненіяхъ, скажемъ теперь нѣсколько словъ о личныхъ особенностяхъ таланта Григоровича. Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій выразился о Григоровичѣ, какъ о писателѣ, сфера таланта котораго — физиологическіе, какъ тогда говорили, очерки. Хотя самъ Бѣлинскій послѣ и расширилъ нѣсколько свое пониманіе таланта Григоровича, но нельзя не замѣтить, что первое опредѣленіе очень хорошо характеризуетъ сущность таланта Григоровича. Григоровичъ не психологъ, глубоко заглядывающій въ душу своихъ героевъ, съ мельчайшими деталями воспроизводящій предъ нами душевныя состоянія ихъ, какъ Достоевскій; онъ не стихійный и уравновѣшенный художникъ, какъ Гончаровъ, объективно воспроизводящій предъ нами явленія жизни; онъ, наконецъ, не философъ и социологъ, какъ Левъ Толстой, мучительно задумывающійся надъ самыми сложными вопросами, касающимися всего строя общественной жизни. Сфера таланта Григоровича — *нравоописательный* романъ или повѣсть. Одаренный отъ природы мѣткою наблюдательностью, живымъ юморомъ, способный ярко и образно выразить тотъ или другой фактъ жизни, Григоровичъ представилъ намъ цѣлый рядъ картинъ изъ общественной и народной жизни, прекрасно знакомящихъ насъ съ бытовыми условіями, но мало вводящихъ насъ въ пониманіе общихъ причинъ описываемыхъ фактовъ, мало сосредоточивающихся на психологическомъ анализѣ. Такимъ образомъ описательная сторона является наиболѣе сильной въ творчествѣ Григоровича. Другой и, можетъ быть, не менѣе сильной стороной его таланта слѣдуетъ признать его любовь къ природѣ, необычайную чувствительность его къ ея красотамъ. Подобно С. Т. Аксакову и Тургеневу, Григоровичъ съ особеннымъ увлеченіемъ останавливается на описаніи природы. Нѣкоторые его рассказы, какъ, напр., „Смедовская долина“, словно въ рамки, вставлены въ описаніе прелестныхъ пейзажей. Природа производитъ на него впечатлѣніе неотразимое: „Умъ, пораженный безконечнымъ совершенствомъ природы надъ совершеннѣйшими дѣлами рукъ человѣческихъ“,

говорить онъ въ одномъ мѣстѣ, „пораженный всегдашнимъ ея величіемъ, смиренно сознаеть свое дѣтское безсиліе“ (Пахарь). „Дайте любому философу“, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ: „живописный участокъ земли, домъ — какой-нибудь уютный и теплый уголокъ, скрытый, какъ гнѣздо, въ зеленой чашѣ сада; пускай вмѣстѣ съ этимъ домомъ соединятся воспоминанія счастливо проведеннаго дѣтства, — и тогда, повѣрьте, подвѣзжая къ нему послѣ долгой разлуки, онъ искренно сознается, что философія его — вздоръ и гроша не стоитъ!“ При слишкомъ восторженномъ отношеніи къ природѣ всѣ ея явленія описываются имъ съ одинаковой любовью и тщательностью. Едва ли не лучшія и не самыя задушевные мѣста его произведеній посвящены изображенію картинъ природы. Его можно назвать, вмѣстѣ съ Аксаковымъ и Тургеневымъ, поэтомъ русской природы. Здѣсь, между прочимъ, надо искать одну изъ причинъ особеннаго пристрастія Григоровича къ изображенію крестьянской жизни. Если на это изображеніе наталкивали его тенденціи натуральной школы, если къ нему влекли его общественные интересы, сосредоточивающіеся на вопросѣ о крѣпостномъ правѣ, то къ этому же присоединялись и личныя особенности его таланта. Жизнь крестьянина представлялась ему неразрывно связанной съ жизнью природы: „между ними“, говоритъ Григоровичъ, „установилось словно тайное сочувствіе“. „Пахарь“, продолжаетъ онъ, „сродняется съ природой отъ колыбели; онъ покоряется безъ размышленія ея законамъ; онъ живетъ ея жизнью; его судьба, радости и горести, все въ рукахъ ея. И природа, какъ будто познавая дѣтское безсиліе пахаря и тронутая его зависимостью, постепенно бросаетъ къ ногамъ своимъ таинственные свои покровы; она открываетъ ему грудь свою и знакомитъ его съ собою. Величаво молчаливая съ нами, гордыми міра сего, она говоритъ пахарю и распускающимся листомъ и восходомъ солнца, говоритъ ему мерцаніемъ звѣздъ, теченіемъ вѣтра, полетомъ птицъ и тысячу, тысячу другихъ голосовъ“. Въ этомъ „родствѣ пахаря съ землей и природой“ Григоровичъ находитъ высокую поэзію. Естественно, что его, самого страстно любящаго природу, влекло къ изображенію этой жизни, такъ тѣсно связанной, по его мнѣнію, съ природой. Поэтому, между прочимъ, крестьянская жизнь и привлекаетъ къ

себѣ такъ сильно его симпатіи: въ ея изображеніяхъ не найдете вы тѣхъ преувеличеній юмористическаго направленія, которыя мѣстами значительно вредятъ повѣстямъ Григоровича изъ столичной и провинціальной общественной жизни; здѣсь онъ, напротивъ, нерѣдко умиляется, вдается почти въ идиллію; здѣсь онъ создаетъ положительные типы, которыхъ вы напрасно будете искать въ его очеркахъ столичной жизни; здѣсь онъ иногда возвышается до изслѣдованія самой сущности явленій и причинъ, порождающихъ ихъ; здѣсь, наконецъ, сказывается его талантъ въ наибольшей силѣ.

Какъ-же понимаетъ Григоровичъ эту крестьянскую жизнь? Суть ея, ея устои, какъ иногда выражаются, заключаются въ связи крестьянина вообще съ природой и особенно съ землей, въ его тяжеломъ трудѣ, который однако заключаетъ въ себѣ много привлекательности и даже поэзіи и, наконецъ, въ покорности Провидѣнію. На этой почвѣ вырастаютъ, по мнѣнію Григоровича, положительные типы крестьянской жизни, въ родѣ того, который изображенъ имъ въ рассказѣ „Пахарь“ въ лицѣ старика Ивана. Эту мирную, спокойную жизнь, эти вѣками выработанные устои разлагаютъ внѣшнія условія, врывающіяся въ крестьянскую жизнь: крѣпостное право и фабрика съ ея кабакомъ и трактирной цивилизаціей. Цѣлый рядъ самыхъ мрачныхъ картинъ, самыхъ потрясающихъ сценъ представляетъ намъ Григоровичъ изъ жизни крестьянъ подъ тяжелымъ игомъ крѣпостнаго права. То видимъ мы крестьянку Акулину, выданную, по прихоти господъ, воображающихъ, что составляютъ ея счастье, за мужика, который вовсе не хотѣлъ брать ее въ жены и который послѣ мститъ несчастной женщинѣ всю жизнь и дѣлаетъ ее забытымъ и жалкимъ созданиемъ. То возстаетъ предъ нами образъ преслѣдуемаго управляющимъ Антономъ-горемыки, который и падаетъ безсильной жертвой мести и злобы низкаго, но всесильнаго человѣка. То, наконецъ, видимъ мы, какъ рушится благосостояніе крестьянской семьи подъ вліяніемъ прихотей барина, прожигающаго жизнь въ свѣтскихъ развлеченіяхъ и ухаживаніяхъ за танцовщицами. Вездѣ чувствуемъ мы, что эта внѣшняя сила—власть помѣщиковъ, не знающихъ и не понимающихъ своихъ крестьянъ, разрушительно дѣйствуетъ на весь строй крестьянской жизни и препятствуетъ свободному и

мирному ея развитію. На ряду съ крѣпостнымъ правомъ, развращающимъ образомъ дѣйствуетъ на крестьянъ и другая чуждая сила—городская жизнь съ ея отрицательными явленіями и фабрика. Изображенію разлагающаго вліянія фабрики на мирную крестьянскую жизнь посвященъ большой романъ Григоровича—„Рыбаки“. Здѣсь сталкивается старинная жизнь съ ея симпатичными сторонами въ лицѣ Глѣба Савинова и новыя вліянія въ лицѣ разбитнаго гуляки, испорченнаго фабричнаго парня Захара, который подчиняетъ себѣ молодое поколѣніе и разрушаетъ счастье и матеріальное благосостояніе семьи. Мы видимъ, какъ вторгаются въ эту мирную жизнь вмѣстѣ съ фабричнымъ элементомъ и безпутство, и пьянство, и пороки, и даже преступленія. Не менѣе ярко обрисовывается это пагубное вліяніе фабрики и въ разсказѣ: „Смедовская долина“, гдѣ авторъ прямо высказываетъ свое мнѣніе о причинѣ гибели цѣлой крестьянской семьи словами старика-пастуха: „А все, вѣдь, батюшка, коли поглубже плыть въ этомъ дѣлѣ, все, вѣдь, фабричная жизнь виновата“. Такимъ образомъ, намъ совершенно ясно воззрѣніе Григоровича на крестьянскую жизнь и общій смыслъ ея изображенія. Мы видимъ, что предоставленная сама себѣ крестьянская жизнь съ ея близостью къ природѣ, съ ея тяжелымъ, но привычнымъ и даже привлекательнымъ трудомъ, съ ея горячею вѣрою въ Провидѣніе, способна къ выработкѣ положительныхъ типовъ, можетъ безпрепятственно и мирно развиваться, но чуждыя ей силы, вторгаясь въ нее, порождаютъ нищету, развратъ и пороки. Самая главная изъ этихъ чуждыхъ силъ — крѣпостное право. Отсюда прямымъ выводомъ является требованіе уничтоженія власти помѣщиковъ надъ крестьянами.

На ряду собственно съ крестьянской жизнью Григоровичъ посвятилъ цѣлый рядъ своихъ произведеній изображенію деревенской и городской жизни помѣщиковъ, этихъ всесильныхъ властелиновъ безправнаго крестьянина. Въ самомъ большемъ изъ своихъ романовъ „Проселочныя Дороги“ Григоровичъ задумалъ вывести цѣлый рядъ помѣщиковъ. Какъ только переходитъ авторъ къ этой области, серьезность тона его пропадаетъ; онъ не можетъ иначе, какъ съ насмѣшкой, отнестись къ многочисленнымъ типамъ провинціальной жизни, выводимымъ въ этомъ романѣ. Этотъ „романъ безъ

интриги“ представляет рядъ нравоописательныхъ очерковъ. По замыслу онъ чрезвычайно напоминаетъ „Мертвыя Души“ Гоголя: какъ тамъ внѣшнюю связующую нить картинъ изъ помѣщичьей жизни является Чичиковъ, развѣзжающій по деревнямъ, чтобы удовлетворить своей страсти къ приобрѣтенію богатства, такъ и въ „Проселочныхъ Дорогахъ“ Аристархъ Ѳедоровичъ Балахновъ развѣзжаетъ по помѣщикамъ своего уѣзда, движимый тоже низкой страстью внѣшняго честолюбія. Множество лицъ, встрѣченныхъ тѣмъ и другимъ, даютъ возможность авторамъ нарисовать множество типовъ. Самая манера отношенія автора къ изображенію этихъ типовъ также напоминаетъ Гоголя: мы видимъ здѣсь то же отрицательное отношеніе къ изображаемымъ фактамъ, тѣ же юмористическія характеристики и даже, хотя и рѣдко, тѣ же лирическія отступленія. Такимъ образомъ какъ первые очерки столичной и крестьянской жизни примыкаютъ непосредственно къ „Шинели“ Гоголя, такъ изображеніе жизни помѣщиковъ тѣсно связано съ „Мертвыми Душами“. Какіе же типы сосредоточиваютъ на себѣ вниманіе Григоровича и какой смыслъ ихъ изображенія? Передъ нами является цѣлая галлерей печальныхъ явленій. Здѣсь Балахновъ, который изъ стремленія къ внѣшнему почету готовъ на всякія низости, готовъ пожертвовать спокойствіемъ и благосостояніемъ своей жизни; здѣсь и сентиментальный, влюбчивый Васильковъ, „первый мазуристъ своего уѣзда“; здѣсь и сплетницы барышни — Кокуркины, поставившія цѣлью своей жизни первыми узнавать все, чтобы ни дѣлалось въ уѣздѣ; здѣсь и выскочка Бобоховъ, стремящійся изо всѣхъ силъ пустить пыль въ глаза своимъ фиктивнымъ богатствомъ; здѣсь и неудавшійся провинціальный литераторъ Дрянковъ, и интриганъ Кошкинъ, и забытый безотвѣтный приживальщикъ Прокисай Захаровичъ. Но при всемъ разнообразіи этихъ типовъ Григоровичъ особенно подчеркиваетъ общія всѣмъ имъ черты: крайнее невѣжество, полную бессодержательность ихъ жизни, занятой мелкими дразгами, отсутствіе труда, отсутствіе какого бы то ни было серьезнаго стремленія. Сравненіе этой жизни съ крестьянской показываетъ всѣ преимущества послѣдней. Вы явно чувствуете всю несостоятельность этихъ безконтрольныхъ властелиновъ крестьянина, смотрящихъ на него

только, какъ на средство къ матеріальному приобрѣтенію, не понимающихъ своихъ обязанностей по отношенію къ нему. Еще болѣе разъясняется взглядъ Григоровича на помѣщиковъ изъ послѣдняго его романа, посвященнаго изображенію помѣщичьяго быта. Этотъ романъ, „Два генерала“, написанъ уже послѣ освобожденія крестьянъ и рисуетъ съ одной стороны взаимныя отношенія помѣщиковъ и крестьянъ, съ другой — указываетъ новый типъ помѣщика при новыхъ условіяхъ жизни послѣ реформы. Помѣщикъ Сергѣй Львовичъ Люлюковъ весьма добродушный человѣкъ, не только не желающій зла крестьянамъ, но иногда и помогающій имъ; онъ иначе не называетъ своихъ крестьянъ, какъ „добрые дудилковскіе мужички“, но онъ ведетъ такую же праздную, полную мелкихъ и пустыхъ интересовъ жизнь. Онъ не сумѣлъ приобрѣсти уваженія крестьянъ, и удивляется, почему они послѣ освобожденія не исполняютъ ему бесплатныхъ работъ послѣ его, какъ онъ выражается, благодарній. Онъ не хочетъ трудиться, не хочетъ измѣнить своихъ привычекъ и послѣ освобожденія крестьянъ, но средствъ не хватаетъ; независимые, свободные крестьяне раздражаютъ его и превращаются въ его глазахъ изъ „добрыхъ дудилковскихъ мужичковъ“ въ „неблагодарныхъ скотовъ“. Очевидно, что онъ, воспитанный въ традиціяхъ и привычкахъ крѣпостнаго права, не можетъ примириться съ новой реформой. На смѣну ему является молодое поколѣніе въ лицѣ его сына, человѣка образованнаго, трудолюбиваго, имѣющаго здравыя понятія и серьезныя стремленія „Я человѣкъ трудовой и рабочей“, говоритъ онъ, развивая отцу новую программу жизни: „Мы не на столько богаты, чтобы держать домъ и задавать пирушки! Такъ хорошо было прежде, папаша; самъ видишь, другое теперь совсѣмъ положеніе; теперь если самимъ не заняться дѣломъ, того и смотри, ничего не останется...“ Въ этихъ словахъ мы видимъ приговоръ прежней жизни помѣщиковъ, нѣжившихся на лонѣ крѣпостнаго права, жизни праздной, пустой и безцѣльной. Мы чувствуемъ, что отмѣна крѣпостнаго права, давая возможность развитія крестьянскаго благосостоянія, въ то же время способна благотворно повліять и на помѣщиковъ, и если новая, свободная жизнь не можетъ исправить закослѣлыхъ стариковъ, воспитавшихся въ крѣпостническихъ традиціяхъ, то молодое поколѣ-

ніе жадно воспринимаетъ новыя вѣянія и можетъ, по мнѣнію автора, создать новый типъ образованнаго и трудящагося помѣщика. Этой блестящей перспективой, исполненной самыхъ радужныхъ надеждъ, Григоровичъ и заканчиваетъ изображеніе быта помѣщиковъ времени крѣпостнаго права. Съ этихъ поръ, т. е. съ 1860 года, Григоровичъ почти уже ничего не пишетъ до самаго 1883 года, когда изрѣдка опять начинаютъ появляться его очерки, но уже не имѣющіе ничего общаго ни съ крестьянской жизнью, ни съ бытомъ помѣщиковъ.

Какъ писатель, изображавшій вообще дореформенную жизнь, какъ человѣкъ, проникнутый благородными стремленіями своего времени, Григоровичъ не могъ оставить безъ вниманія и представителей тогдашней администраціи. Подобно Гоголю, не жалѣетъ онъ самыхъ мрачныхъ красокъ при изображеніи чиновниковъ того времени. Полнѣйшее невѣжество, отсутствіе серьезнаго взгляда на свои обязанности, взяточничество—вотъ общія черты чиновниковъ въ изображеніи Григоровича. Понятно поэтому, что чиновники возбуждаютъ всеобщій трепетъ въ тѣхъ, кто такъ или иначе находится отъ нихъ въ зависимости. Особенно тяжело отражается тунеядство и произволъ чиновниковъ, конечно, на тѣхъ-же крестьянахъ. Вѣчныя и всевозможныя поборы съ крестьянъ, и безъ того уже истощенныхъ различными оброками и барщинами, тяжелѣе всего достаются крестьянамъ. Сосредоточившись на изображеніи крестьянской и помѣщичьей жизни, Григоровичъ не останавливается подробно на типахъ чиновниковъ, но и у него есть не мало картинъ, изображающихъ, какое вліяніе на помѣщиковъ и крестьянъ имѣли недостатки администраціи. Припомните напримѣръ, въ романѣ „Переселенцы“ ту сцену, когда писарь становаго обходитъ возы крестьянъ на ярмаркѣ и съ cadaго изъ нихъ беретъ свою дань; припомните еще болѣе мрачную картину въ рассказѣ „Кошка и Мышка“, гдѣ становой, съ одной стороны желая заслужить благоволеніе откупщика, съ другой, — намѣреваясь и отъ крестьянина что-нибудь вытянуть, держитъ несчастнаго и невиннаго мельника Савелія въ заключеніи въ самый разгаръ работы и при томъ въ то время, когда его присутствіе дома нужно было и по семейнымъ дѣламъ. Но не только крестьяне, сами помѣщики, если они не настолько

богаты, чтобы давать постоянныя взятки становому, бояться его, какъ огня. Припомните, какъ описываетъ Григоровичъ въ разсказѣ „Бобыль“ ужасъ доброй помѣщицы Марьи Петровны при одной мысли о становомъ и судѣ; припомните, съ какой жестокостью выгоняетъ она въ бурную осеннюю ночь умирающаго девяностолѣтняго старика, котораго однако-же она отъ души жалѣла, которому всячески желала-бы помочь. Никакая жалость, никакое состраданіе не могутъ однако устоять противъ страха, возбуждаемаго мыслью: „Да тутъ отъ суда не отдѣлаешься“. Въ послѣднемъ своемъ романѣ изъ помѣщичьей жизни: „Два генерала“ Григоровичъ выставляетъ въ лицѣ генерала Пыщина типъ важнаго сановника дореформенной эпохи. Это — невѣжественный, тупой и ограниченный человѣкъ, сдѣлавшій себѣ карьеру единственно исполнительностью, строгостью къ подчиненнымъ и умѣньемъ подладиться къ начальству. Питомецъ Аракчеева и преемникъ его традицій, генералъ Пыщинъ больше всего обращалъ вниманіе на внѣшній порядокъ, выправку, субординацію. „Въ эту эпоху“, говоритъ Григоровичъ, „которую многіе историки справедливо отзываютъ декоративною и лакировальною, Пыщинъ скоро успѣлъ обратить на себя лестное вниманіе начальства“. Сдѣлавшись важнымъ сановникомъ, онъ любилъ посѣщать учебныя заведенія. „Посѣтивъ разъ библіотеку какого-то заведенія и найдя, что книги на полкахъ стояли не подъ раяжиръ, онъ тотчасъ обратилъ на это вниманіе. Когда ему объяснили происхожденіе пустыхъ мѣстъ на полкахъ тѣмъ, что нѣкоторыя книги разобраны воспитанниками, Пыщинъ пришелъ въ большое негодованіе и изрекъ слѣдующія замѣчательныя слова: „Дурныхъ книгъ нѣтъ; всѣ надо читать по порядку! А то: эта — нехороша, другая — не годится; въ этомъ явно проглядываетъ своеволие! Брать и читать всегда по порядку!“ Понятно, что это стремленіе къ внѣшнему порядку не только не исключало внутренней неурядицы и злоупотребленій, но еще давало имъ большой просторъ. Становые могли брать взятки, притѣснять крестьянъ, въ это такіе генералы, какъ Пыщинъ, не входили. И подчиненные ему чиновники понимали это и болѣе всего трепетали, какъ бы недостатки какой-нибудь внѣшней, декоративной, какъ выражается Григоровичъ, черты не привлекли на себя пронизательнаго взора начальника. Но съ освобожденіемъ крестьянъ

янь, съ проникновеніемъ въ жизнь новыхъ вѣяній Пыщины должны были уступить мѣсто другимъ администраторамъ, честнымъ, просвѣщеннымъ, гуманнымъ.

Въ лицѣ Липецкаго Григоровичъ выводитъ этотъ типъ новаго администратора; изображеніе его довольно блѣдно, такъ какъ жизнь еще не могла къ тому времени дать художнику достаточно фактовъ дѣйствительности въ этомъ направленіи. Но для насъ важно здѣсь пониманіе Григоровичемъ этой новой жизни, возбуждавшей въ лучшихъ людяхъ того времени такія радужныя надежды. Рушится старая жизнь, и на ея развалинахъ, грезится художнику, возстаетъ царство добра, любви и свѣта. Это бодрое одушевленіе проникало тогда всю литературу; лучшіе люди того времени, видя, что сбываются, наконецъ, самыя смѣлыя ихъ мечтанія, предавались новымъ надеждамъ. И то, что Григоровичъ, какъ романистъ, выразилъ въ типахъ, другой поэтъ, И. С. Аксаковъ, слѣдующимъ образомъ выражаетъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній:

День встаетъ багрянъ и пышенъ,
Долгой ночи скрылась тѣнь,
Новой жизни трепеть слышенъ,
Чѣмъ-то вѣщимъ смотритъ день!
Съ сонныхъ вѣждъ стряхнувъ дремоту,
Бодрой свѣжести полна
Вышла съ Богомъ на работу
Пробужденная страна.

.
Благо всѣмъ, ведущимъ къ свѣту,
Братьямъ, съ братьевъ снявшимъ гнетъ.
Людямъ миръ, благословенье.
Долгихъ мукъ исчезнетъ слѣдъ,
Дню вчерашнему забвенъе,
Дню грядущему привѣтъ!

Этимъ привѣтомъ грядущему дню и заключаетъ Григоровичъ изображеніе до реформенной жизни.

Такимъ образомъ, почти вся литературная дѣятельность Григоровича посвящена изображенію дореформенной жизни; зло и неправда этой жизни вызываютъ его энергическіе протесты, одушевляють къ защитѣ обездоленныхъ этой жизнью людей. Но когда это зло и эта неправда сломлены новыми теченіями жизни, Григоровичъ, какъ старый и утомленный борьбою боецъ, успокаивается въ сознаніи честно исполненнаго долга, благословляя новую свободную и трудовую жизнь.

Характеристика литературной дѣятельности Григоровича была бы неполна, если бы мы не сказали нѣсколько словъ о повѣстяхъ его изъ петербургской жизни. Это цѣлый рядъ небольшихъ бытовыхъ очерковъ, посвященныхъ изображенію различныхъ сословій: тутъ и шарманщики, и акробаты, и помѣщики, и художники, и чиновники, и простые разносословные прожигатели жизни. Все это разнообразіе типовъ можно однако раздѣлить на двѣ группы: съ одной стороны это богатые или состоятельные люди, которые однако же ничего не дѣлають, проводятъ время весело, кушаютъ, жуируютъ; съ другой стороны—люди трудящіеся, честные, добрые, но дошедшіе до крайней нищеты, люди униженные и забитые. Первая категорія лицъ, всѣ эти Накатовы, Сюсюкины, Свищовы и т. п. изображаются авторомъ юмористически; онъ не находитъ словъ для выраженія своего презрѣнія къ ихъ пустой и празднои жизни. Что же касается до людей униженныхъ и забитыхъ, то они привлекають къ себѣ всѣ симпатіи автора. Тонъ отношенія къ этимъ несчастнымъ людямъ, данный первоначально Гоголемъ въ его изображеніи Акакія Акакіевича, сдѣлался господствующимъ въ сочиненіяхъ Григоровича. Этотъ типъ особенно останавливаетъ на себѣ его вниманіе; онъ внимательно отыскиваетъ его во всѣхъ условіяхъ жизни: вы найдете его и въ крестьянскихъ повѣстяхъ Григоровича, и въ его повѣстяхъ изъ столичной жизни, и даже въ изображеніи помѣщичьяго быта въ лицѣ смиреннаго Прокисая Захаровича Копкова. Это любимый типъ Григоровича, рисуемый имъ въ самыхъ яркихъ и трогательныхъ чертахъ. Даже на изображеніе крестьянской жизни, сдѣлавшейся впоследствии центромъ всей его литературной дѣятельности, натолкнуло его стремленіе и въ этой области жизни обратить вниманіе общества

на забытыхъ людей. И какъ первымъ его опытомъ въ изображеніи столичной жизни было привлеченіе симпатій къ шарманщикамъ, бѣднымъ и загнаннымъ людямъ, такъ и первая его повѣсть изъ крестьянской жизни посвящена изображенію забытой, несчастной крестьянской женщины. И эта тенденція не оставляла талантливаго писателя въ теченіе всей его жизни. Когда въ 1883 году, послѣ 23-лѣтняго молчанія, будучи уже старикомъ 61 года, Григоровичъ опять вернулся къ литературной дѣятельности, то первымъ же типомъ, который привлекъ его вниманіе, былъ типъ больнаго, загнаннаго и забытаго ребенка, лишеннаго семьи, не имѣющаго никакихъ радостей, проводящаго свое жалкое существованіе среди пинковъ и побоевъ отъ грубаго и вѣчно пьянаго акробата. Этотъ „гуттаперчевый мальчикъ“, одиноко умирающій въ циркѣ, среди ученыхъ собакъ и дрессированныхъ лошадей, этотъ мальчикъ съ разбитою грудью и переломленными ребрами отъ слишкомъ смѣлаго и неосторожнаго прыжка, котораго требовалъ безжалостный акробатъ, чтобы потѣшить праздную публику, является однимъ изъ самыхъ трогательныхъ образовъ, созданныхъ Григоровичемъ. Всѣ произведенія его проникаютъ это высоко-гуманное настроеніе, благодаря которому онъ всю жизнь свою служилъ бѣднымъ и несчастнымъ людямъ, привлекая къ нимъ сочувствіе общества, заставляя насъ въ самомъ жалкомъ созданіи признавать своего брата.

Такой характеръ произведеній Григоровича придаетъ имъ важное воспитательное значеніе. Не одинъ юный читатель, подобно 16-лѣтнему Льву Толстому, могъ сказать о себѣ, что повѣсти Григоровича вылѣчили его отъ презрѣнія къ мужику. Въ наше время, когда общество, отчасти подъ вліяніемъ такихъ писателей, какъ Григоровичъ, уже проникнуто глубокимъ сочувствіемъ къ крестьянской жизни, это, такъ сказать, специально-воспитательное значеніе уже не имѣетъ той важности, какъ прежде. Но общій гуманный тонъ произведеній Григоровича, его сочувствіе всему униженному и угнетенному, его любовь къ русской природѣ и тонкое пониманіе ея красотъ не только въ наше время продолжаютъ оказывать неослабывающее вліяніе, но и всегда благотворно будутъ дѣйствовать на воспримчивыя души молодаго поколѣнія. Для воспитателя сочиненія Григоровича всегда будутъ одной изъ тѣхъ

книгъ, которыя онъ смѣло дастъ въ руки юному читателю, будучи твердо увѣренъ, что эта книга пробудитъ въ его душѣ много хорошаго. Историкъ въ свою очередь въ сочиненіяхъ Григоровича найдетъ не мало драгоцѣнныхъ чертъ крестьянскаго и общественнаго быта, теперь уже отошедшаго въ область преданія; онъ признаетъ Григоровича за одного изъ самыхъ яркихъ и симпатичныхъ выразителей той эпохи и навсегда установитъ за нимъ заслугу перваго піонера въ дѣлѣ художественнаго изображенія крестьянскаго быта. Медленно и упорно развивается общественное сознание. Продолжительнымъ и тяжелымъ трудомъ многихъ лучшихъ русскихъ людей создалось то сочувственное отношеніе къ крестьянину, то стремленіе помочь ему въ его нуждахъ и въ его стремленіяхъ, которое въ наше время является господствующимъ. И теперь, празднуя полувѣковой юбилей литературной дѣятельности Григоровича, мы съ чувствомъ глубокаго уваженія и благодарности останавливаемся мыслью на этомъ маститомъ писателѣ, такъ много потрудившемся въ дѣлѣ развитія общественнаго сознания.





В. Г. БѢЛИНСКІЙ.

В. Г. БѢлинскій былъ нашимъ литературнымъ критикомъ 40-хъ годовъ; вся его дѣятельность состояла въ критическомъ разборѣ произведеній русской литературы. Что-же такое — литературная критика? Было время, когда этимъ именемъ называлось всякое указаніе достоинствъ и недостатковъ слога, поэтическихъ картинъ и мѣстъ слабыхъ, прозаическихъ. Теперь такой разборъ никто не назоветъ серьезной критической оцѣнкой.

Критика въ современномъ смыслѣ слова не можетъ ограничиться разсмотрѣніемъ стиля или даже поэтическихъ достоинствъ; она должна кромѣ того найти и уяснить смыслъ произведенія, его идею, и указать связь этой идеи съ жизнью общества. Такъ измѣнился прежній взглядъ на критику, и этой переменѣ мы въ сильной степени обязаны БѢлинскому. Можно спросить: „да зачѣмъ же разъяснять смыслъ художественнаго произведенія, когда оно само за себя говоритъ? вѣдь главную особенность художе-

ственного произведенія и составляет именно то, что оно выражаетъ смыслъ жизни въ живыхъ, *доступныхъ* образахъ—какія же тутъ нужны разъясненія?“ Такъ разсуждать нельзя. Мы въ жизни бываемъ каждый день окружены множествомъ живыхъ, наглядныхъ фактовъ и поступковъ и однако отъ десяти человѣкъ, наблюдавшихъ извѣстный фактъ, мы часто услышимъ десять различныхъ объясненій и, можетъ быть, ни одно изъ нихъ не будетъ вѣрнымъ. Бываетъ и такъ, что человѣкъ, совершившій какой-нибудь поступокъ, самъ не повимаетъ или невѣрно понимаетъ его, а истинный смыслъ дается постороннимъ лицомъ. Тоже прилагается къ литературѣ. Отдѣльныя литературныя произведенія представляютъ смыслъ, идею той или другой стороны жизни; крупный талантъ осмысливаетъ важныя жизненныя явленія, мелкій—менѣе важныя. Общество живетъ этими идеями; воспринимая ихъ и усвоивая, оно воспитывается умственно и нравственно. Но чѣмъ крупнѣе талантъ и чѣмъ глубже его пониманіе жизни, тѣмъ труднѣе усваивается большинствомъ смыслъ его произведеній и тѣмъ больше теряетъ общество, лишенное могучаго воспитательнаго средства. Поэтому въ высшей степени важно, чтобы литература находила себѣ достойнаго истолкователя, посредника между ней и обществомъ. Такое посредничество и составляетъ задачу литературной критики. Въ особенности важно было значеніе критики въ Россіи и въ ту эпоху, когда дѣйствовалъ Бѣлинскій. Послѣ Петровской реформы, когда западное просвѣщеніе стало распространяться у насъ, оно переходило къ намъ не столько въ видѣ научныхъ знаній, сколько въ формѣ литературной. Русскіе передовые люди приобрѣтали свѣдѣнія не въ школѣ, изучая науки, а главнымъ образомъ послѣ школы, читая книжки, знакомясь съ литературой. Изъ исторіи литературы извѣстно, какъ скудно было систематическое образованіе даже лучшихъ нашихъ писателей: они всѣ въ годы воспитанія „учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь“ и потомъ взрослыми людьми садились за книжку и учились „удерживать вниманье долгихъ думъ“, старались „вознаградить въ объятіяхъ свободы мятежной младостью утраченные годы и въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ“. Это — признаніе Пушкина, а вотъ слова Гоголя: „Надобно сказать, что я получилъ въ школѣ воспитаніе самое плохое,

а потому и немудрено, что мысль объ ученїи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія“. Большинство изъ такъ-называемаго образованнаго класса конечно, получало не лучшую, а скорѣе еще худшую подготовку, и развивалось главнымъ образомъ путемъ литературнаго чтенія. Отсюда ясно, какъ велико было просвѣтительное значеніе литературы въ нашемъ еще недавнемъ прошломъ. При такомъ состоянїи общества появленіе крупнаго художественнаго таланта имѣетъ громадное развивающее значеніе, но съ другой стороны плохо подготовленное общество лишь тогда воспользуется имъ въ полной мѣрѣ, когда найдется другой талантъ, посвятившій себя истолкованію перваго. Время 30-хъ — 40-хъ годовъ, когда жилъ и дѣйствовалъ Бѣлинскій, было самымъ блестящимъ временемъ русской литературы; оно отмѣчено именами Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Бѣлинскій былъ ихъ первымъ и достойнымъ истолкователемъ, и его критической дѣятельности русское общество въ значительной степени обязано той пользой, которую оно извлекло и продолжаетъ извлекать изъ произведеній этихъ великихъ писателей.

В. Г. Бѣлинскій былъ родомъ изъ Пензенской губ.; отецъ его былъ уѣзднымъ врачомъ въ г. Чембарѣ. Рано выказались въ немъ выдающіяся способности: сила и независимость ума, серьезность понятій, чувство собственнаго достоинства, и вмѣстѣ пылкость натуры, склонность къ увлеченіямъ, любовь къ чтенію и преобладающая страсть къ литературѣ. Еще когда Бѣлинскій учился въ Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, извѣстный писатель Лажечниковъ, ревизовавшій училище, замѣтилъ выдающіяся способности мальчика.

Изъ училища Бѣлинскій перешелъ въ Пензенскую гимназію, гдѣ учился хорошо, но не изъ всѣхъ предметовъ и до окончанія курса былъ исключенъ „за нехождение въ классъ“. Конечно, это было не по лѣности, а потому, что тогдашнее гимназическое преподаваніе представляло для юноши слишкомъ мало интереса и серьезности. Тамъ былъ одинъ выдающійся учитель Поповъ, преподававшій естественную исторію и большой любитель литературы. Съ

нимъ Бѣлинскій былъ знакомъ и ему обязанъ былъ отчасти своимъ развитіемъ. Поповъ оставилъ о своемъ пріятелѣ-гимназистѣ воспоминанія. „Умъ Бѣлинскаго, говоритъ Поповъ, мало выносилъ познаній изъ школьнаго ученія; все, что передавалось по системѣ заучиванья, не шло ему въ голову; онъ не былъ отличнымъ ученикомъ. Но многое мимоходомъ запало въ его крѣпкую память; многое онъ понималъ самъ, своимъ пылкимъ умомъ, еще больше набиралось въ немъ свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи. Бывало поэкзамекуйте его, какъ *обыкновенно* экзаменуютъ дѣтей,—онъ изъ послѣднихъ, а поговорите съ нимъ дома, по дружески—онъ первый ученикъ... Онъ бралъ у меня книги, журналы, пересказывалъ мнѣ прочитанное, судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ.... По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ онъ былъ неравный мнѣ, но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукахъ и литературѣ... Бывало, когда отправлюсь съ учениками за городъ на гербаризацію, во всю дорогу Бѣлинскій пристаесть ко мнѣ съ вопросами о Гете, Вальтеръ-Скоттѣ, Байронѣ и Пушкинѣ, о романтизмѣ“...

О свойствахъ ума и характера Бѣлинскаго Поповъ говоритъ: „Взглядъ и поступки у него были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу... Тогда Бѣлинскій по лѣтамъ своимъ не могъ еще отрѣшиться отъ обаянія первыхъ поэмъ Пушкина и непривѣтно встрѣтилъ „Сцену въ Чудовомъ монастырѣ“. Онъ и въ то время не скоро подавался на чужое мнѣніе. Когда я объяснялъ ему высокую прелесть (этой сцены) въ простотѣ, поворотъ къ самобытности и возрастаніе таланта Пушкина, онъ качалъ головой, отмалчивался, или говорилъ: „дайте, подумаю; дайте, еще прочту“. Если же съ чѣмъ онъ соглашался, то, бывало, отвѣчалъ съ страшной увѣренностью: „Совершенно справедливо!“

Бѣлинскій въ гимназіи читалъ съ увлеченіемъ всѣхъ писателей, какихъ только могъ достать, списывалъ громадныя кипы тетрадей стихотвореніями русскихъ поэтовъ, съ Кантемира до Пушкина, зналъ массу вещей наизусть; въ этотъ періодъ онъ

отлично изучилъ нашу литературу XVIII вѣка. Въ этомъ страстномъ увлеченіи высказывалось глубоко заложенное въ его душѣ стремленіе къ доброму и прекрасному, пищу для котораго онъ находилъ въ литературѣ. Еще въ этомъ возрастѣ становится ясно, что всѣ его духовныя силы направлены къ вопросамъ жизни и нравственному идеалу, котораго онъ искалъ и который онъ такъ глубоко умѣлъ чувствовать въ поэтическомъ творчествѣ. Онъ такъ сильно проникался поэзіей, что сперва считалъ это за способность къ творчеству и пробовалъ самъ писать стихи. Вотъ что писалъ онъ о себѣ, когда ему было 20 лѣтъ: „Въ сердцѣ моемъ часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя — хочу ихъ выразить стихами и не могу. Рима мнѣ не дается, выраженія не уламываются въ стопы. — Я увидалъ, что не рожденъ быть стихотворцемъ и нашелся принужденнымъ привѣяться за смиренную прозу“.

Нужно прибавить, что Бѣлинскій умѣлъ за то необыкновенно полно и глубоко раскрыть поэтическія красоты чужаго художественнаго произведенія: подъ его перомъ „смиренная проза“ часто блещетъ вдохновеніемъ и при оцѣнкѣ чужой поэзіи горячее одушевленіе часто сообщаетъ его слогу поэтической колоритъ.

Въ 1829 г. Бѣлинскій поступаетъ въ Московскій университетъ. Здѣсь онъ завязываетъ прочныя товарищескія связи, вступаетъ въ кружокъ молодежи, который имѣлъ сильное вліяніе на его развитіе. Товарищескіе кружки въ молодые годы вообще имѣютъ большое значеніе, а кружокъ, о которомъ мы говоримъ, былъ исключительнымъ по даровитости членовъ, изъ которыхъ многіе стали потомъ замѣтными дѣятелями. Онъ образовался впервые вокругъ Ник. Владимір. Станкевича, тогда еще студента, и состоялъ изъ небольшого числа лицъ, между которыми выдавались Бѣлинскій и К. С. Аксаковъ; въ разное время къ нему примкнули Т. Н. Грановскій и П. Н. Кудрявцевъ, — два знаменитые профессора Московскаго университета, В. Боткинъ, авторъ Писемъ объ Испаніи и др. Тургеневъ тоже отчасти примыкалъ къ кружку, познакомившись съ Станкевичемъ еще до начала своей литературной дѣятельности. Вообще можно сказать, что кружокъ этотъ имѣлъ болѣе или ме-

нѣе близкую связь со всѣми лучшими представителями нашей науки и литературы эпохи 40-хъ годовъ; нѣкоторые изъ нихъ во многомъ обязаны были кружку. Кружокъ носить имя Станкевича, хотя самъ Станкевичъ недолго былъ его руководителемъ: онъ умеръ довольно рано (1840 г.). Это былъ человѣкъ съ сильнымъ умомъ, склоннымъ къ философскому мышленію, и съ высокимъ гуманнымъ чувствомъ, замѣчательно образованный и съ тонкимъ эстетическимъ вкусомъ. Особенную прелесть его богатой натуры составляло нравственное благородство, идеально возвышенное настроеніе. Онъ имѣлъ даръ очень сильно привязывать къ себѣ людей; между прочимъ онъ замѣтилъ и поддержалъ Кольцова, который платилъ ему горячимъ чувствомъ благодарности; Бѣлинскій всегда отзывался о немъ съ благоговѣніемъ; Грановскій, узнавъ о его смерти (онъ умеръ за границей отъ чахотки), писалъ: „Онъ унесъ съ собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свѣтѣ не былъ я такъ много обязанъ“.

Молодежь, по большей части студенты, собиравшаяся въ началѣ 30-хъ годовъ за чайнымъ столомъ въ квартирѣ Станкевича, была одушевлена идеальными стремленіями: ихъ связывала любовь къ наукѣ, увлеченіе поэзіей, потребность нравственнаго идеальнаго совершенствованія, желаніе служить послѣ въ обществѣ дѣлу истины и нравственнаго достоинства. Они съ энтузіазмомъ изучали Шекспира, Гете, Шиллера, которые тогда мало были извѣстны въ нашемъ обществѣ, увлекались Пушкинымъ и видѣли въ немъ гордость русской литературы. Но они не довольствовались безотчетнымъ наслажденіемъ; высокій умственный уровень всего кружка, рѣдкая образованность Станкевича и его склонность къ философіи, придавали сознательность и широту ихъ поэтическимъ изученіямъ. Они жадно ловили идеи новой нѣмецкой философіи, стремились при помощи ихъ уяснить себѣ все окружающее съ общей точки зрѣнія, найти связь и смыслъ всѣхъ областей жизни, всѣхъ вопросовъ человѣческаго духа, понять и уловить въ жизни, какъ это тогда называлось, *мировую идею*. Ту же точку зрѣнія внесли они и въ искусство. Поэзія была въ ихъ глазахъ выраженіемъ высшихъ сторонъ человѣческаго духа, вѣчнаго смысла жизни; она должна была заключать въ себѣ вопросы разума и нравственности, охва-

тывать весь внутренній міръ человѣка; въ каждомъ истинно-художественномъ произведеніи должна была блистать частица этой міровой идеи — и въ этомъ заключалась тайна эстетическаго наслажденія.

Съ такими взглядами приступилъ Бѣлинскій къ своему любимому предмету—къ русской литературѣ, которой онъ отдалъ всѣ свои силы, всю свою жизнь. Первая его статья вышла безъ подписи въ 1834 году въ одномъ московскомъ журналѣ подъ заглавіемъ: *Литературныя мечтанія. Элеія въ прозѣ*. Въ этой обширной статьѣ Бѣлинскій, обозрѣвъ съ новой точки зрѣнія нашу литературу отъ Петра, хорошо извѣстную ему еще на школьной скамьѣ, приходитъ къ выводу, что у насъ еще нѣтъ литературы, какъ искусства, вполне выражающаго духъ народа, его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній. Понимая литературу въ тѣсной связи съ жизнью народа, онъ въ сжатомъ очеркѣ прослѣдилъ весь ходъ нашей образованности съ Петра и нашелъ только четырехъ писателей, которые сколько-нибудь отвѣчали его требованіямъ—Державина, Пушкина, Крылова и Грибоѣдова. Нужно замѣтить, что въ этой статьѣ Бѣлинскій ставилъ понятіе литература еще слишкомъ узко; позднѣе его взгляды стали шире и правильнѣе.

Въ статьѣ былъ высказанъ рядъ мѣткихъ замѣчаній о Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Фонѣ-Визинѣ, Карамзинѣ, мимоходомъ обнаруживалось презрѣніе ко многимъ современнымъ литературнымъ ничтожностямъ, слышшимъ тогда знаменитостями. Въ горячо одушевленномъ тонѣ статьи сквозило высокое пониманіе искусства, страстная любовь къ поэзіи, смѣлость мысли, благородство воззрѣній и негодованіе противъ всего фальшиваго, неискренняго и ложнаго. Статья произвела сильное дѣйствіе. Для того, чтобы вполне оцѣнить его, надо посмотрѣть, что дѣлалось тогда въ нашей критикѣ. Лучшими критиками были Н. А. Полевой со своимъ журналомъ „Телеграфъ“ и Надеждинъ съ „Телескопомъ“; ихъ взгляды на поэзію были новы, свѣжи и часто основательны, но уступали статьѣ молодаго критика по цѣльности, силѣ убѣжденія и искренности чувства. Притомъ Полевой съ Надеждинымъ представляли исключенія среди страшнаго невѣжества или недобросовѣстности осталь-

ной печати. Пушкинъ тогда уже написалъ *Кавказскаго Пльнника*, *Бахчисарайскій Фонтанъ*, *Цыганъ*, *Евгенія Онгина*, *Бориса Годунова* и *Полтаву*, Гоголь уже выпустилъ *Вечера на Хуторъ*, а какъ было встрѣчено и оцѣнено все это тогдашней критикой? Произведенія Пушкина вызывали разнорѣчивые толки: поклонники старыхъ заслуженныхъ писателей на нихъ нападали, сами блажелатели Пушкина (Вяземскій) хвалили иногда чуть не одинъ слогъ его, *Евгеній Онгинъ* ставился ниже *Руслана и Людмилы*, а *Полтавой* остались недовольны даже нѣкоторые друзья. Можно было встрѣтить въ журналахъ общую оцѣнку Пушкина, какъ умѣлаго стихоплета съ легкимъ слогомъ, не очень правильно владѣющаго русскимъ языкомъ, — о томъ, что Пушкинъ великій поэтъ, — художникъ, никто не говорилъ прямо, но открыто называли опаснымъ соперникомъ ему нѣкоего Тимоѣева (оцѣнить впервые Пушкина предстояло Бѣлинскому). Въ *Диканскихъ Вечерахъ* Гоголя журнальная критика видѣла нескладные, хотя смѣшные фарсы, замѣчала, что у автора нѣтъ чувства (!) Появившійся въ скоромъ времени *Ревизоръ* былъ встрѣченъ бранью, былъ названъ „невѣроятнымъ анекдотомъ, которому авторъ не сумѣлъ придать смысла и занимательности“, надъ *Мертвыми Душами* печатно глумились, ставили ихъ ниже романовъ Польдекока въ художественномъ и нравственномъ отношеніи. Та же критика строго оберегала отъ всякихъ нападеній авторитетъ Ломоносова, Сумарокова, Державина, Карамзина, но не понимала совершенно ихъ заслугъ и достоинства, ибо на ряду съ ними производила въ геніи пигмеевъ; разбирая напыщенную драму третьестепеннаго писателя Кукольника, она восклицала: „великій Кукольникъ!“ и объявляла его равнымъ Гѣте и Байрону. А самъ Кукольникъ въ кругу молодыхъ поклонниковъ съ горечью признавался, что, повидимому, Россія не доросла еще до серьезныхъ вещей и ему придется бросить русскій языкъ и писать по итальянски или по французски. Онъ признавалъ въ Пушкинѣ огромный талантъ, но легкомысленный и не глубокий, не создавшій ничего значительнаго; относительно себя Кукольникъ надѣялся, что онъ, если Богъ продлитъ ему вѣку, создастъ что-нибудь прочное, серьезное и можетъ быть, дастъ новое направленіе литературѣ. Такова была критика, таково

было пониманіе литературы въ двухъ самыхъ распространенныхъ тогда журналахъ—*Библіотекъ для Чтенія* Сенковского и *Съверной Пчель* Булгарина (*Библіотека для Чтенія* имѣла 5000 подписчиковъ, тогда какъ остальные—по нѣскольку сотъ). Къ такой критикѣ и къ публикѣ, охотно читавшей ее, Пушкинъ имѣлъ нѣкоторое право обратить свое гнѣвное стихотвореніе *Поэтъ и Чернь*.

Теперь понятно, какой энтузіазмъ должны были вызвать въ лучшей части русскаго общества и въ молодомъ поколѣнн *Литературныя Мечтанія* Бѣлинскаго.

За этой статьей послѣдовалъ непрерывавшійся до смерти критика въ 1848 году рядъ серьезныхъ и горячихъ статей, посвященныхъ прошлой и современной литературѣ. Взгляды на искусство и его значеніе въ жизни свѣтлѣли, расширялись, авторъ шелъ впередъ въ теченіе всей своей 14-лѣтней дѣятельности, а съ нимъ вмѣстѣ развивалась и публика, воспитываясь на его статьяхъ. Бѣлинскій прежде всего горячо вооружился противъ бездарности и пошлости русскихъ *Шекспировъ* и *Вальтеръ-Скоттовъ*, наводнившихъ нашу литературу, доказывая неоспоримо ихъ ничтожность; онъ съ негодованіемъ разоблачалъ и преслѣдовалъ недобросовѣстность и неуваженіе къ публикѣ со стороны журналовъ, которые часто по пріятельству или изъ коммерческихъ цѣлей страшно расхваливали, а вслѣдъ за тѣмъ, поссорившись съ авторомъ, бранили въ пухъ и прахъ одно и то же произведеніе. Спустя нѣсколько лѣтъ по выходѣ *Литературныхъ Мечтаній* упали журналы, задававшіе тонъ въ печати; публика поняла тупость и продажность ихъ сужденій и отвернулась отъ нихъ. Выдвинулись журналы, въ которыхъ участвовалъ Бѣлинскій;—къ нимъ примкнули молодые талантливые писатели; куда-то исчезли, провалились безслѣдно многочисленные *гени*, Тимофеевы, Масальскіе, Кукольниковы, *опасные соперники Пушкина и Гете*;—Кукольниковамъ приходилось въ самомъ дѣлѣ бросить писать по русски, но уже по другой причинѣ: никто ихъ не читалъ, объ нихъ не писали, объ нихъ совѣстно стало говорить.

Но однимъ очищеніемъ Авгіевыхъ конюшенъ печати не ограничивается значеніе Бѣлинскаго. Онъ былъ воспитателемъ общества. Въ своихъ крупныхъ статьяхъ, посвященныхъ отдѣльнымъ писателямъ, и въ общихъ годичныхъ обзорѣняхъ литературы, онъ

положилъ основаніе исторіи русской литературы съ 18 вѣка, представивъ ея явленія въ послѣдовательномъ развитіи. Его оцѣнка старыхъ и новыхъ писателей сохраняется во многомъ до сихъ поръ свою силу и повторяется почти буквально въ учебникахъ. Бѣлинскій первый далъ вѣрный и полный взглядъ на значеніе Пушкина, какъ поэта-художника. Онъ не только раскрылъ всю глубину и прелесть поэзіи, заключенной въ произведеніяхъ Пушкина, но показалъ ихъ связь съ русской жизнью. Ни одна сторона разнообразнаго таланта Пушкина не осталась незамѣченной Бѣлинскимъ. Строгость, художественная простота и серьезность Пушкинской музыки, глубокое содержаніе его созданій, сила и сжатость выраженія, чудный стихъ и чудный русскій языкъ также мастерски были оцѣнены Бѣлинскимъ, какъ и значеніе Пушкина въ развитіи самосознанія общества, какъ и высокая гуманность его произведеній. Бѣлинскій предсказалъ, что на Пушкинской поэзіи должно будетъ воспитываться юношество, предсказалъ въ то время, когда многіе считали Пушкина *неприличнымъ писателемъ*; его предсказаніе исполнилось: знакомство съ Пушкинымъ считается теперь необходимымъ во всякой школѣ.

Еще больше правъ на наше уваженіе имѣетъ Бѣлинскій за то, что онъ первый объяснилъ значеніе Гоголя. Смыслъ дѣятельности Гоголя былъ непонятенъ не для одной тупой критики, образчики сужденія которой мы привели выше; онъ неполно и смутно сознавался даже выдающимися людьми. какъ Жуковский и Вяземскій, онъ остался несовсѣмъ рѣшенной загадкой даже для самого Гоголя. Художественная сила, гениальность Гоголя была доступна его друзьямъ, но общественную силу въ немъ видѣлъ Бѣлинскій едва ли не яснѣе всѣхъ. Бѣлинскій съ перваго взгляда угадалъ, что произведенія Гоголя должны вызвать перерожденіе русскаго общества, что они начинаютъ собой новый періодъ развитія.

Дѣйствительно, всѣ новѣйшіе писатели, которыми мы теперь гордимся, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Григоровичъ, Островскій, — воспитались на впечатлѣніяхъ отъ произведеній Гоголя, которыя помогли имъ осмыслить русскую жизнь и такимъ образомъ дали направленіе ихъ талантамъ. Безспорно и то, что критика Бѣлинскаго облегчила и ускорила имъ выходъ на эту дорогу.

Прибавимъ, что первые литературные опыты всѣхъ названныхъ писателей, (кромѣ Островскаго) были замѣчены и поддержаны Бѣлинскимъ.

Можно представить себѣ, какъ благотворно дѣйствовала критика Бѣлинскаго на всю массу читающей публики, во сколькихъ молодыхъ головахъ она разъясняла недоумѣнія и вопросы, зарождала и поддерживала идеальныя, честныя стремленія. Бѣлинскій никогда не ограничивался только разборомъ художественныхъ красотъ произведенія, или вѣрнѣе, его разборъ никогда не былъ холоднымъ, спокойнымъ анализомъ: поэтическое произведеніе для него было дѣломъ жизни; онъ отзывался на него всѣми сторонами своей страстной натуры и одушевленно развивалъ всѣ общественныя и нравственныя вопросы, которые вытекали изъ литературнаго произведенія. Онъ не упускалъ ни одного случая подѣлиться съ читателями живой мыслью, горячимъ чувствомъ. Даже разборы мелкихъ, ничтожныхъ или совсѣмъ не относящихся къ литературѣ книгъ — разборы, которые онъ долженъ былъ производить по обязанности журналиста, часто отражали на себѣ просвѣтительное направленіе его критики. Въ отчетѣ о бессмысленной гадательной книгѣ публика встрѣчала серьезное психологическое объясненіе суевѣрія, безграмотно написанная книжка о шелководствѣ давала поводъ выяснитъ важность умѣнья владѣть языкомъ и дать мѣткую оцѣнку схоластической реторики, по которой тогда учили писать въ школахъ, а двѣ дѣтскія сказки, вышедшія въ 1840 году, вызвали обширную статью въ 60 страницъ. Здѣсь подробно разъясняется, какъ слѣдуетъ писать книги для дѣтей, и изъ чего должно состоять дѣтское чтеніе. Любопытно, что не только общія мысли, высказанныя здѣсь, вѣрны до сихъ поръ, но все, что выбралъ Бѣлинскій для дѣтей изъ соч. Крылова, Жуковскаго, Пушкина и Загоскина, вошло въ современныя школьныя хрестоматіи. Кромѣ того указанная статья давала живую характеристику незавиднаго тогдашняго воспитанія и цѣлую связную воспитательную теорію. Эта теорія такъ разумна, такъ глубоко вѣрна, что 50 лѣтъ, отдѣляющія ее отъ нашихъ дней, не измѣнили въ ней ни одной черты. Я приведу изъ нея нѣсколько отдѣльныхъ мыслей.

„Естественная любовь, основывающаяся на одномъ родствѣ

крови, еще далеко не составляет того, чѣмъ должна быть чело-вѣческая любовь. Изъ родства крови и плоти должно развиться родство духа, которое одно прочно, крѣпко, одно истинно и дѣйствительно, одно достойно высокой и благородной чело-вѣческой природы“. Есть отцы, которые любятъ дѣтей для самихъ себя— и въ этой любви есть своя истинная, разумная сторона; есть отцы, которые любятъ своихъ дѣтей для нихъ самихъ — и эта любовь выше, истиннѣе, разумнѣе, но при этихъ двухъ родахъ любви есть еще высшая, истиннѣйшая и разумнѣйшая любовь къ дѣтямъ— любовь въ истинѣ, въ Богѣ“.

„Любовь предполагаетъ взаимную довѣренность, и отецъ долженъ быть столько же отцомъ, сколько и другомъ своего сына. Первое попеченіе должно быть о томъ, чтобы сынъ не скрывалъ отъ него ни малѣйшаго движенія своей души, чтобы къ нему первому шелъ онъ и съ вѣстью о своей радости или горѣ, и съ признаніемъ въ проступкѣ, въ дурной мысли, въ нечистомъ желаніи, и съ требованіемъ совѣта, участія, сочувствія, утѣшенія“.

„Нужно ли доказывать, что при такомъ воспитаніи родители одной лаской могутъ дѣлать изъ своихъ дѣтей все, что имъ угодно, что такимъ родителямъ ничего не стоитъ приучить дѣтей съ малолѣтства къ исполненію долга — къ постоянному систематическому труду, обратить трудъ въ привычку, въ наслажденіе для своихъ дѣтей, а свободное время въ высшее счастье и блаженство“.

„Еще менѣе нужно доказывать, что при такомъ воспитаніи совершенно бесполезны всякаго рода унижительныя для чело-вѣческаго достоинства наказанія, подавляющія въ дѣтяхъ благородную свободу духа, уваженіе къ самимъ себѣ и растлѣвающія ихъ сердца подлыми чувствами униженія, страха, скрытности и лукавства“.

„Мы не отвергаемъ, чтобы природа не производила людей, наклонныхъ къ пороку, но мы крѣпко убѣждены, что такія явленія возможны, какъ исключеніе изъ общаго правила и что нѣтъ столь дурнаго чело-вѣка, котораго бы хорошее воспитаніе не сдѣлало лучшимъ“.

„Люди бездарные, ни къ чему неспособные, тупоумные суть такое же исключеніе изъ общаго правила, какъ уроды, и ихъ такъ же мало, какъ и уродовъ; множество же ихъ происходитъ отъ причинъ, въ которыхъ природа вовсе невиновата“.

Орудіемъ и посредникомъ воспитанія должна быть любовь, а цѣлью—человѣчность. Мы разумѣемъ здѣсь первоначальное воспитаніе, которое важнѣе всего. Всякое частное или исключительное направленіе, имѣющее опредѣленную цѣль въ какой-нибудь сторонѣ общественности, можетъ имѣть мѣсто только въ дальнѣйшемъ, окончательномъ воспитаніи. Первоначальное же воспитаніе должно видѣть въ дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человѣка, который могъ бы впослѣдствіи быть тѣмъ или другимъ, не переставая быть человѣкомъ“. „Подъ человѣчностью мы разумѣемъ живое соединеніе въ одномъ лицѣ тѣхъ общихъ элементовъ духа, которые равно необходимы для всякаго человѣка, какой бы націи, званія и состоянія онъ ни былъ, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоцѣннѣйшее сокровище; эти общіе элементы—доступность всякому человѣческому чувству, всякой человѣческой мысли, смотря по глубокости природы и степени образованія каждаго. Чѣмъ глубже натура и развитіе человѣка, тѣмъ болѣе онъ человѣкъ, и тѣмъ доступнѣе ему все человѣческое. На все у него будетъ привѣтъ и отвѣтъ; и участіе, и утѣшеніе, чистая радость о счастіи ближняго и состраданіе къ его горю. Онъ уважаетъ чувство друга и недруга, для него святы и горе, и радость знакомаго и незнакомаго человѣка“.

Такъ рассуждалъ этотъ „недоучка-семинаристъ“, какъ называли его одни; такъ понималъ назначеніе человѣка этотъ „двникъ, для котораго нѣтъ ничего святаго“, какъ говорили другіе. Теперь легко конечно сказать, что всѣ приведенные взгляды — азбучныя истины, но во 1-хъ, выше ихъ до сихъ поръ ничего не выдумало человѣчество, а во 2-хъ, эти истины были высказаны въ томъ самомъ обществѣ, изъ котораго Гоголь почерпнулъ свое безсмертное „воспитаніе Чичикова“.

А какія свѣтлыя мысли проводилъ Бѣлинскій о положеніи русской женщины и о ея воспитаніи. Общеизвѣстенъ его разборъ *Евгенія Онегина* (въ VIII томѣ), гдѣ критикъ со скорбью признаетъ, что въ окружающемъ его обществѣ нѣтъ женщины въ настоящемъ смыслѣ слова, что русская дѣвушка не есть женщина—человѣкъ, а только невѣста; тамъ же на фонѣ живой, почти художественной картины помѣщичьяго, дореформеннаго воспитанія,

имѣвшаго цѣлью лишь выходъ замужъ, дана мастерская обрисовка двухъ женскихъ типовъ, которые создавались этимъ воспитаніемъ— типа пошлости положительной и пошлости мечтательной или изуродованной *неземной днѣсы*; тамъ наконецъ—разборъ характера Татьяны, гдѣ показаны исключительная одаренность ея натуры и вмѣстѣ съ тѣмъ гибельный отпечатокъ, который налагають ненормальные жизненные условія даже на такую выдающуюся личность. Татьяну разбирали много разъ съ различныхъ точекъ зрѣнія, но оцѣнка Бѣлинскаго остается до сихъ поръ едва ли не самой лучшей.

Такъ критика Бѣлинскаго не только развивала художественный вкусъ и высокое пониманіе изящнаго, но также учила видѣть связь изящнаго съ нравственнымъ міромъ, внушала здравыя общенныя понятія, воспитывала общество.

Читатели чувствовали, что высокий идеалъ человѣка, важность просвѣщенія и развитія не только ума, но и чувства, человѣчность, какъ необходимая принадлежность человѣка, оцѣнка явленій современной жизни по этому идеалу, наконецъ вопросы литературы и искусства, — что всѣ эти темы критики Бѣлинскаго для него самого не составляютъ лишь плодъ спокойнаго размышленія; въ горячихъ статьяхъ журналиста они видѣли горячую душу человѣка, которому дороги эти вопросы, для котораго они составляютъ дѣло его личныхъ стремленій, дѣло жизни. Это придавало его статьямъ неотразимую силу убѣжденія, о чемъ бы онъ ни говорилъ. И. С. Тургеневъ передаетъ одинъ случай, неважный самъ по себѣ, но характерный въ данномъ отношеніи. Тургеневъ, отличавшійся въ молодости особенной независимостью ума, въ 1836 году, за годъ до окончанія курса въ Петербургскомъ университетѣ, *упивался*, по его выраженію, стихотвореніями Бенедиктова. „Вотъ въ одно утро“, рассказываетъ Тургеневъ: „зашелъ ко мнѣ студентъ-товарищъ и съ негодованіемъ сообщилъ, что въ кондитерской Беранжэ появился № Телескопа съ статьей Бѣлинскаго, въ которой этотъ *критиканъ* осмѣливался заносить руку на нашъ общій идолъ — Бенедиктова. Я немедленно отправился къ Беранжэ, прочелъ всю статью отъ доски до доски— и, разумѣется, также воспылалъ негодованіемъ. Но—странное дѣло! и во время чтенія и послѣ, къ собственному моему изумленію и досадѣ, что-то во мнѣ невольно соглашалось

съ критиканомъ, находило его доводы убѣдительными, неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ, въ кругу пріятелей я съ большей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени, и я уже не читалъ Бенедиктова“.

Мудрено ли послѣ этого, что въ столицахъ и въ провинціи съ нетерпѣніемъ ожидали выхода книжки „Телескопа“ или „Отечественныхъ Записокъ“, читали прежде всего и внимательнѣе всего критическій отдѣлъ, что неподписанныя статьи Бѣлинскаго оказывали сильное дѣйствіе на множество людей. Публика даже въ глухихъ мѣстахъ Россіи отлично знала, кто авторъ безыменныхъ критикъ, и имя Бѣлинскаго пользовалось широкой популярностью. Панаевъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* рассказываетъ слѣдующее: „Въ 1845 году я ѣхалъ изъ Нижняго въ Казань въ почтовой каретѣ. Сосѣдомъ моимъ былъ человекъ среднихъ лѣтъ, съ бородой, одѣтый въ длинный сюртукъ, покрывавшій высокіе сапоги. Это былъ сибирскій купецъ, умный, любознательный и усердный чтець всѣхъ русскихъ журналовъ. Онъ, вовсе не подозрѣвая, что я нѣсколько причастенъ къ литературѣ, завелъ со мною рѣчь о журналахъ... — „Какой же изъ журналовъ въ большомъ ходу у васъ? спросилъ я его. Онъ назвалъ мнѣ журналъ, въ которомъ участвовалъ Бѣлинскій. — „Почему же? возразилъ я. — „Какъ почему? Очень понятно, потому что въ немъ участвуетъ Бѣлинскій. Его статьи у насъ читаются всѣми съ жадностью. — „Да какимъ же образомъ вы отличаете его статьи? Вѣдь онъ никогда не подписываетъ своего имени“. — „Птица видна, сударь, по полету, говоритъ пословица. Онъ хоть и не печатаетъ своего имени, а имя его у насъ знаютъ всѣ грамотные люди“.

Каковъ былъ личный характеръ и какъ сложилась жизнь этого замѣчательнаго человека?

Жизнь его не богата внѣшними событіями; она была безраздѣльно отдана русскому обществу, русской литературѣ. Съ 1834 года до самой смерти онъ неутомимо работалъ въ журналахъ, постоянно заваленный дѣломъ и постоянно борясь съ нуждой, такъ

какъ литературный трудъ плохо оплачивался. Привычки и вкусы его были скромны до аскетизма; одну роскошь позволялъ онъ себѣ иногда: онъ страстно любилъ цвѣты. Одинъ пріятель, взойдя разъ въ убогую каморку Бѣлинскаго, съ изумленіемъ увидѣлъ, что она вся заставлена великолѣпными цвѣтущими растеніями, а хозяинъ хлопочетъ около цвѣтовъ. Бѣлинскій страшно сконфузился: признался, что истратилъ послѣднія деньги, но никакъ не могъ удержаться. Въ 1839 г. онъ перебрался изъ Москвы въ Петербургъ и работалъ въ *Отечествен. Запискахъ*, а потомъ въ *Современникъ*. до самой смерти (въ 1848 году) не оставляя Петербурга надолго; за годъ до смерти онъ ѣздилъ за границу лѣчиться. Тяжелая срочная работа продолжала угнетать его и вмѣстѣ съ плохой матеріальной обстановкой и петербургскимъ климатомъ помогла развитію чахотки, первые признаки которой появились за долго до 48 года. Въ концѣ 43 года Бѣлинскій женился и жизнь его стала посвѣтлѣе. Онъ никогда не имѣлъ обширнаго знакомства; застѣнчивый и нелюдимый съ чужими, онъ всегда упорно отговаривался, когда друзья желали ввести его въ болѣе широкій кругъ литераторовъ; лишь дома, да съ друзьями онъ чувствовалъ себя вполне хорошо. Дружескій кружокъ Бѣлинскаго въ петербургскій періодъ его жизни былъ немногочисленъ: къ нему принадлежали Панаевъ, Анненковъ, позднѣе Тургеневъ, Некрасовъ, Кавелинъ, Достоевскій, Гончаровъ, Григоровичъ и нѣсколько менѣе извѣстныхъ лицъ. Кромѣ того, поддерживались прежнія дружескія связи съ Боткинымъ, Кетчеромъ, Грановскимъ и др. членами московскихъ кружковъ.

Тургеневъ, Панаевъ и др. оставили подробные рассказы о впечатлѣніи, которое производила на нихъ личность Бѣлинскаго. Тургеневъ впервые встрѣтился съ нимъ зимой 1842—43 гг. „Я увидѣлъ—пишетъ Тургеневъ—человѣка небольшого роста, съ неправильнымъ, но замѣчательнымъ и оригинальнымъ лицомъ, съ нависшими на лобъ бѣлокурыми волосами и съ тѣмъ суровымъ и безпокойнымъ выраженіемъ, которое такъ часто встрѣчается у застѣнчивыхъ и одинокихъ людей; онъ заговорилъ и закашлялъ въ одно и то же время, попросилъ насъ сѣсть и самъ торопливо сѣлъ на диванъ, бѣгая глазами по полу и перебирая табакерку въ маленькихъ и красивыхъ ручкахъ. Одѣтъ онъ былъ въ старый, но

опрятный байковый скюртукъ, и въ комнатѣ его замѣчались слѣды любви къ чистотѣ и порядку“. „Разговоръ начался. Бѣлинскій говорилъ много, но безучастно и о вещахъ индифферентныхъ, но мало-по-малу онъ оживился, поднялъ глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болѣзненное выраженіе замѣнилось другимъ: открытымъ, оживленнымъ и свѣтлымъ; привлекательная улыбка заиграла на его губахъ и засвѣтилась золотыми искорками въ его голубыхъ глазахъ, красоту которыхъ я только тогда и замѣтилъ. Въ его рѣчахъ не было блеска, никакихъ цвѣтовъ и искусственныхъ эффектовъ, но когда онъ былъ въ ударѣ, не было возможно представить человѣка, болѣе краснорѣчиваго въ лучшемъ, въ русскомъ смыслѣ этого слова“. „Это было неудержимое изліяніе нетерпѣливаго и порывистаго, но свѣтлаго и здраваго ума, согрѣтаго всемъ жаромъ чистаго и страстнаго сердца и руководимаго тѣмъ тонкимъ и вѣрнымъ чутьемъ правды и красоты, котораго почти ничѣмъ не замѣнишь“.

Всѣ воспоминанія отмѣчаютъ горячее увлеченіе, страстность во всемъ, къ чему прикасалась натура Бѣлинскаго, какъ основное его свойство. Тургеневъ говоритъ: „Вскорѣ послѣ моего знакомства съ нимъ его снова начали тревожить тѣ вопросы, которые, не получивъ разрѣшенія или получивъ разрѣшеніе одно стороннее, не даютъ человѣку покоя, особенно въ молодости: философскіе вопросы о значеніи жизни, объ отношеніяхъ людей другъ къ другу и т. д. „Его мучили сомнѣнія... именно *мучили*, лишали его сна, пищи, неотступно грызли, жгли его; онъ не позволялъ себѣ забытья и не зналъ усталости... Искренность его дѣйствовала на меня; его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но проговоривъ часа два—три, я ослабѣвалъ, легкомысліе молодости брало свое: я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ; сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача. Но съ Бѣлинскимъ сладить было нелегко....“

Тургеневъ сохранилъ намъ образчикъ живой рѣчи Бѣлинскаго, когда вопросъ его затрогивалъ: „Бѣлинскій въ ту пору не былъ поклонникомъ принципа *искусство для искусства*, — да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей.

Помню я, какъ онъ однажды при мнѣ напалъ на отсутствующаго, разумѣется, Пушкина за его два стиха въ „Поэтъ и Чернь“:

Печной горшокъ тебѣ дороже,
Ты пищу въ немъ себѣ варишь.

— „И конечно! твердилъ Бѣлинскій, сверкая глазами и бѣгая изъ угла въ уголъ,—конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бѣдняка въ немъ пищу варю — и прежде чѣмъ любоваться красотой истукана—будь онъ распрефидіасовскій Аполлонъ—мое право, моя обязанность накормить своихъ и себя!“

К. Д. Кавелинъ (бывшій нѣкогда ученикомъ Бѣлинскаго) такъ изображаетъ личность Бѣлинскаго и его вліяніе въ кружкѣ. „Онъ имѣлъ на меня и на всѣхъ насъ чарующее дѣйствіе. Это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе. Мы понимали, что въ своихъ сужденіяхъ онъ часто былъ неправъ, увлекался часто страстью далеко за предѣлы истины, мы знали, что свѣдѣнія его (кромѣ русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны... но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которую нельзя было подкупить ничѣмъ, даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія... Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно подальше. Бѣда, если она попадала на глаза Бѣлинскому: онъ ее тотчасъ выворачивалъ напоказъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ дни и недѣли не келейно, а соборнѣ, передъ всѣмъ кружкомъ... Известно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ

моей жизни было неизмѣримо, и оно никогда не изгладится изъ моей памяти“.

Въ высшей степени знаменательно, что одна изъ наиболѣе удачныхъ и сочувственныхъ характеристикъ личности и дѣятельности Бѣлинскаго принадлежитъ одному изъ его младшихъ современниковъ, тоже критику, Аполлону Григорьеву, который вовсе не былъ его другомъ или близкимъ знакомымъ и который далеко не раздѣлялъ всѣхъ воззрѣній Бѣлинскаго. Вотъ эта характеристика.

„Горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоитъ послѣ смерти тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать всему благородному, прекрасному и великому. Безстрашный боецъ за правду, Бѣлинскій не усумнился ниразу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, кто упрекалъ его за измѣненіе взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется, онъ даже созданъ былъ такъ, что натура его не могла устоять противъ правды, какъ бы правда ни противорѣчила его прежнему взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала... Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ и благодаря своему критическому чутью ошибался рѣдко. Также смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ утвердившимся мнѣніямъ, все, что казалось ему ложнымъ, напыщеннымъ, заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ не ошибался никогда... Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. Если бы Бѣлинскій прожилъ до нашего времени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды искусства и жизни“.





ПЕТРУШКА И ЕГО ПРЕДКИ ¹⁾

(ОЧЕРКЪ ИЗЪ ИСТОРИИ НАРОДНОЙ КУКОЛЬНОЙ КОМЕДИИ).

„Wisdom cries out in the streets, and no man regards it“. *Shakspeare. „King Henry IV“.*

„Правду всегда можно слышать на улицахъ, только на нее никто не обращаетъ вниманія“.

Пер. Н. С. Тихонравова.

Про народнаго пѣвца Ивана Трофимовича Рябинина, бывшаго въ Москвѣ въ началѣ 1894 г., говорили, что въ его лицѣ Россія обладаетъ чудомъ, какимъ не обладаетъ Европа, гдѣ уже нѣтъ народныхъ пѣвцовъ эпическихъ поэмъ, гдѣ произведенія народнаго эпоса, приведенныя въ систему и комментированныя, даже и въ деревнѣ могутъ быть прочитаны крестьянами, но уже не составляютъ предмета наивнаго вѣрованія. Народные пѣвцы начинаютъ исчезать и у насъ. Исчезаетъ мало по малу у насъ и многое, что связано

¹⁾ Читано въ Историческ. музей 13-го февр. 1894 г.

съ народнымъ творчествомъ: исчезаетъ народная пѣсня, которую начинаетъ вытѣснять пошлая трактирно-фабричная передѣлка пикантнаго моднаго романса, исчезаетъ раѣкъ, и исчезаетъ, наконецъ, и народная кукольная комедія, а между разными ея видами начинаетъ понемногу исчезать и „Петрушка“.

Для историка литературы теперъ „Петрушка“ именно, какъ отживающее явленіе, становится очень удобнымъ предметомъ для историческаго изученія, даетъ возможность прослѣдить развитіе этого явленія „отъ колыбельки до могилки“.

Я постараюся въ общихъ чертахъ намѣтить главные моменты этого развитія.

Кукольная комедія „Петрушка“ или, какъ прозвали ее уличные комедіанты, „Игра“—относится къ такъ называемымъ пьесамъ съ постоянными типами. Какъ бы ни разнообразились эпизоды этой пьесы, въ ней появляются одни и тѣ же лица: содержаніе ея можетъ видоизмѣняться, или, какъ мнѣ говорилъ одинъ маріонетчикъ, „Петрушку каждый уродуетъ по своему“, но дѣйствующія лица остаются все тѣ же: главный герой—Петрушка (типъ существующій не менѣе двухъ съ половиною тысячъ лѣтъ), его супруга (то Маланья Пелагеевна, то Пигасья Николаевна), цыганъ, докторъ, квартальный, нѣмецъ и собака, а иногда къ нимъ присоединяются „двѣ арапки“ и татаринъ.

Я скажу сначала два слова о происхожденіи постоянныхъ типовъ въ этихъ пьесахъ и затѣмъ о появленіи движущейся куклы въ драматической роли.

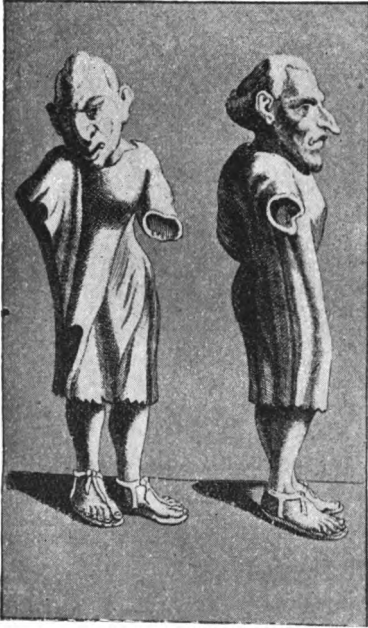
У каждаго народа появленію комедіи предшествуютъ обыкновенно небольшія комическія сцены, разыгрываемыя народными скороходами. На ярмаркахъ, торжествахъ, веселыхъ праздникахъ этотъ бродячій и безпріютный народъ развлекаетъ толпу островами, фокусами, гимнастическими представленіями, показываніемъ звѣрей и наряду съ этимъ комическими выходками, въ которыхъ карикатурно изображаются, интересы дня или подмѣчаются, передраниваются и осмѣиваются особенности тѣхъ лицъ, которыя чаще сталкиваются съ народомъ; каковы, напр., судья, лѣкарь, простолюдинъ, торговецъ и т. д. Эти летучія сцены въ своихъ излюбленныхъ образцахъ повторялись все чаще, образы дѣйствующихъ

лицъ приобрѣтали популярность; вниманіе толпы удобно было привлекать знакомой фигурой, — эта фигура своимъ появленіемъ уже, какъ балаганная вывѣска, какъ теперь наружность популярнаго клоуна, общала смѣхъ и веселье. Она была, если хотите, знакомымъ лицомъ любимаго рассказчика, на неистощимость и изобрѣтательность котораго всегда можно рассчитывать. А разъ созданный и вызвавшій расположеніе типъ уже переходилъ по наслѣдству, и преемники пользовались имъ, какъ солидной фирмой, заслужившей довѣріе. Между тѣмъ самый репертуаръ пьесы, продолжая развиваться, получаетъ и болѣе опредѣленные черты, и болшую осѣдлость: начинаютъ появляться постоянные театры, гдѣ дѣйствуютъ излюбленные народные типы, которые, бросивъ кочевую жизнь, получаютъ уже мѣстныя черты, и основные типы дробятся на болѣе мелкіе, особенно любопытные и понятные въ данной мѣстности.

Уже за нѣсколько вѣковъ до Рождества Христова въ Италіи существовали комическія пьесы съ постоянными типами. Эти пьесы назывались ателланами, потому что въ нихъ часто каррикатурно изображались простоватые и неуклюжіе жители городка Atella и его окрестностей. (Это недалеко отъ Неаполя).

Въ III в. до Рождества Христова, когда вся Италія уже принадлежала римлянамъ, ателланы почти цѣлое столѣтіе развлекали въ Римѣ дѣтей и взрослыхъ, простой народъ и знать. Незадолго до Рождества Христова ихъ давали уже рѣдко, онѣ стали со-всѣмъ исчезать при императорѣ Калигулѣ, который велѣлъ съечь живымъ автора одной такой пьесы среди представленія за дерзкую остроуту. Впослѣдствіи въ эпоху Возрожденія эти пьесы развиваются въ новой формѣ. Содержаніе ателланъ было, большею частью, импровизаціей, и въ этой импровизаціи было не столько словъ, сколько движеній, палочныхъ ударовъ, ловкихъ прыжковъ, клоунскихъ выходокъ, а когда не знали, чѣмъ кончить сцену, одинъ пускался бѣжать, другой его преслѣдовалъ, и оба исчезали изъ глазъ зрителей. Одной изъ центральныхъ комическихъ фигуръ этихъ пьесъ былъ шутъ-уродъ, по прозванію *Maccus*, одѣтый въ бѣлый плащъ и потому называвшійся „бѣлый мимъ“ (*Mimus albus*). Онъ небольшого роста. на спинѣ у него горбъ, животъ выдается также наподобіе горба,

голова уродлива — большой нос торчит наподобіе клюва; онъ смѣшил публику жестами, остротами и рѣзкими криками, кото-



рыми нерѣдко подражалъ пѣнію птицъ и писку цыплятъ, и для большаго измѣненія своего естественнаго голоса употреблялъ даже особый пищикъ, который держалъ во рту; за большой носъ, если хотите, клювъ, да за цыплячій пискъ, да за малый ростъ, онъ въ послѣдствіи изъ Макка былъ преобразованъ въ пѣтушка, въ цыпленка, или по-итальянски — Pulcinello ¹⁾. Въ теченіе всѣхъ среднихъ вѣковъ Pulcinello исчезаетъ и только въ XVI вѣкѣ возрождается въ такъ называемой *comedia dell'arte*, комедія съ импровизаціей, которая представляетъ видоизмѣненіе ателланъ и распространяется по

всей Италіи. Импровизаторами въ ней являются постоянные типы; они очень разнообразятся и получаютъ и мѣстные черты, и мѣстные названія, но не забываютъ Макка: иногда даровитые комики рѣдятся въ шутовскіе костюмы и стараются напомнить

1) Въ 1727 году въ Римѣ была найдена статуетка Массис, которая сохраняется теперь въ музеѣ маркиза Carroni. Maurice Sand дѣлаетъ слѣдующую выписку изъ каталога этого музея: „Vetus histrio personatus in Esquiliiis reperi- tus an. 1727 ad magnitudinem aeri archetypi expressus, cui oculi et in utroque oris angulo Sannae seu globuli argentaei sunt. Gibbus in pectore et in dorso, inque pedibus socci. Hujus generis moriones et ludiones, verbis gestuque ad risum movendum compositi, locum habuerunt in jocularibus fabulis Atellanis, ab Atella Oscorum oppido, inter Capuam et Neapolim, ubi primum agi coepe- runt, denominatae. Unde homines absurdo habitu oris et reliqui corporis cachin- nos a natura excitantes, etiamnum prodeunt; huic nostro persimiles et vulgo *Pullicinellae* dicuntur, a *Pulliceno* fortasse: qua voce Lampridius in Severo

ими то пѣтушій характеръ Макка ¹⁾, то сохраняють бѣлое его одѣяніе, не забывая ни его горбовъ, ни дубинки, а иногда принимаемая видъ почти опернаго Мефистофеля. По разнымъ городамъ они носили различныя названья. Излюбленнымъ типомъ въ Римѣ былъ



Кассандрино и Меопатакка, во Флоренціи — Стентарелло, въ Венеціи — Панталоне, а въ Неаполѣ, по старымъ воспоминаніямъ объ Ателлѣ, по прежнему главенствовала Полишинель. Его двугорбая фигура, съ дубиной въ рукѣ, попрежнему вызывала восторгъ публики. Онъ представлялъ трезваго человѣка, которой грубоватымъ и мѣткимъ жаргономъ изобличаетъ окружающихъ его хвастуновъ и даже бьетъ ихъ дубинкой; онъ эгоистъ, съ растяжимой совѣстью, вѣчно веселый и грубый. Comedia dell'arte и ея постоянные типы еще существуютъ въ Италіи и теперь, но уже начинаютъ исчезать.

Alexandro, *Pullum gallinaceum* appellat. *Pulciniellae* autem speciatim excellunt adunco, prominentique naso, rostrum pullorum et pipionum imitante“. „Masques et bouffons. (Comédie Italienne)“. Paris. T. I p. 129.

¹⁾ Любопытно, что придворные шуты въ Англіи времямъ Шекспира носили на головѣ пѣтушій гребень, а въ рукахъ имѣли или шутовскій скипетръ, или дубинку.

Вернемся теперь къ маріонеткамъ. Онѣ попали въ Италію изъ Греціи, гдѣ существовали раньше, и, быстро усвоивъ себѣ репертуаръ ателланъ, продолжали его развивать. Но откуда появились маріонетки?... Откуда мысль сдѣлать куклу, привести ее въ движеніе и употребить ее, какъ актера пьесы?

Самая древняя кукла, сдѣланная человѣкомъ, есть грубый, аляповатый идолъ дикаря. Впослѣдствіи, при ббльшихъ успѣхахъ скульптуры, жрецы, чтобы внушить трепетъ толпѣ, научились приводить въ движеніе идола; тогда эта движущаяся кукла была не забавой, а кумиромъ, передъ которымъ язычникъ съ трепетомъ падалъ въ прахъ. Извѣстно, что еще у египтянъ была статуя Юпитера Аммона, которая кивала головой, и что въ римскихъ триумфальныхъ процессіяхъ носили огромнаго размѣра фигуру „Пожираателя дѣтей“, изображеніе чудовища съ человѣчьей головой, громадная челюсти котораго приводились въ движеніе невидимымъ шнуркомъ и страшно скрежетали зубами. Все это наводило суевѣрный ужасъ на простодушную толпу; она готова была вѣрить въ жизненность этихъ фигуръ, и если до нея доходили слухи, что эти чудовища сдѣланы руками человѣка, она все-таки продолжала думать, что тутъ есть какое-то колдовство.

Между тѣмъ, какъ только идолъ съ помощью скрытаго въ немъ механизма сошелъ съ своего пьедестала въ храмъ и изъ храма вышелъ на улицу, къ его движеніямъ стали больше привыкать, а болѣе образованные, зажиточные и любознательные классы заинтересовались системой его движеній и воспользовались его механизмомъ для своего развлечения. Конечно, для того, чтобы войти въ дома вельможъ, какъ и простые смертные, идолъ долженъ былъ сократить свои размѣры и превратился въ небольшую куклу съ механическимъ движеніемъ. Въ Греціи эти куклы живо сдѣлались забавой взрослыхъ аристократовъ, какъ рѣдкая и хитрая выдумка, и уже не изображали боговъ, а самыя разнообразныя живыя существа. Говорятъ, движенія этихъ статуэтокъ были иногда такъ произвольно стремительны, что ихъ нерѣдко держали на привязи. Во времена Платона не было почти дома, въ которомъ не имѣлось бы подобныхъ игрушекъ.

Но мало-по-малу, съ удешевленіемъ своего механизма, маріо-

нетка начинает забавлять не только отдѣльных богатыхъ лицъ и ихъ добрыхъ знакомыхъ, а, какъ прежде изъ храма, такъ теперь изъ гостинной вельможи опять уходитъ на улицу, и, уже перемѣнивъ свой прежній видъ, опять собираетъ около себя цѣлыя толпы народа; но теперь она привлекаетъ къ себѣ ихъ вниманіе уже не какъ кумирь, а какъ забавная игрушка — она дѣлается народной уличной маріонеткой въ томъ смыслѣ, какъ мы будемъ ее разсматривать.

Таковы три основные момента развитія маріонетки: сначала таинственный идолъ, затѣмъ игрушка богача и, наконецъ, предметъ развлечения и восторга неприхотливой уличной толпы, и подъ открытымъ небомъ, вдохновляемая обширной и непринужденной аудиторіей, маріонетки мало-по-малу начинаютъ развивать отдѣльныя движенія и сцены въ цѣлыя пьесы.

Въ Греціи народной маріонеткѣ было отведено почетное мѣсто — орхистра театра. Здѣсь разставлялся родъ ширмъ, нѣчто въ родѣ деревяннаго сруба, и отсюда скрытый за стѣной искусникъ приводилъ въ движеніе куколъ на потѣху безчисленныхъ зрителей, а характеръ этихъ представленій во многомъ напоминалъ ателланы; это была импровизація каррикатурныхъ сценъ изъ текущихъ событій греческой жизни. Маріонетнымъ пьесамъ больше повсчастливилось, чѣмъ ателланамъ. Ихъ существованіе не прерывалось: заимствовавъ типы ателланъ, онѣ существовали и послѣ Рождества Христова, а въ эпоху Возрожденія усвоили себѣ типы *comedia dell'arte*, и Полишинель, превратившись въ куклу, въ тѣсномъ походномъ ящикѣ итальянскаго комедіанта обошелъ весь свѣтъ, сдѣлавшись главою народной кукольной комедіи. Нельзя, конечно, думать, чтобы кукольный Полишинель, занесенный бродячимъ комедіантомъ въ какую-нибудь страну, создавалъ тамъ маріонетныя представленія, до него не существовавшія. Совсѣмъ нѣтъ — кукольныя пьесы развивались у cadaго народа и тѣсно связаны съ исторіей идола и игрою въ куклы, а Полишинель оказался только очень подходящимъ героемъ этихъ пьесъ и быстро акклиматизировался повсюду. Каждая страна принимала его радушно, присоединяла къ этому уже готовому типу черты своихъ національныхъ шутовскихъ фигуръ и крестила его по своему: въ Испа-

ни онъ прозванъ don Christoval Pulcinello и Gracioso; во Франці — извѣстенъ подъ именемъ то Полишинеля, то Арлекина, то Jean Farine (Иванъ - мучникъ); англичане, съ свойственнымъ имъ талантомъ сокращать слова, назвали его Punch вмѣсто Pulcinello въ Германіи онъ назывался Hans-Wurst (Иванъ-колбаса); въ Австріи — Casperle (теперь Casperle выгѣснилъ Hanswurst'a), голландцы назвали его Pickelhäring (соленая селедка). На Востокѣ Полишинель носитъ болѣе національный характеръ — въ Турціи онъ называется Карагѣзь, (черный глазъ), а въ Персіи — Ketchel Pechlevan (плѣшивый герой). Русскіе прозвали своего Полишинеля сначала Петрухой, а потомъ пренебрежительно, какъ вообще относились къ скоморохамъ, Петрушкой ¹⁾.

Теперь, познакомившись нѣсколько съ происхожденіемъ постоянного типа народной пьесы и съ наружностью его главнаго героя, остановимтесь немного на маріонетныхъ пьесахъ съ Полишинелемъ во главѣ, какъ онѣ разыгрывались въ различныхъ странахъ и прежде всего въ Итали, гдѣ онѣ издавна пользуются большимъ расположеніемъ зрителей маленькихъ и взрослыхъ, иногда богатыхъ, но, по преимуществу, бѣдняковъ. Въ настоящее время и на бродячихъ сценахъ, гдѣ публика помѣщается, на чемъ Богъ пошлетъ, подъ открытымъ небомъ, и въ постоянныхъ театрахъ, куда можно проникнуть, отодвинувъ грязную драпировку, и получить за грошъ мѣстечко, даютъ большею частью только батальныя пьесы да мрачныя мелодрамы; а было время, когда кукольныя пьесы откликались на политическія бѣдствія Италіи, и маленькія искусно сдѣланныя фигурки изящно выходили на сцену и трогали, и волновали сердца зрителей прочувствованными, патриотическими рѣчами, выходившими изъ глубины души того человѣка, который, спрятанный за кулисами, ставилъ актера невидимыми нитями въ геройскую, классическую позу. Говорятъ, что итальянскіе маріонетчики такъ искусны въ своихъ представленіяхъ, что производятъ обаяніе: зритель забываетъ, что передъ нимъ куклы;

¹⁾ Среди итальянскихъ типовъ *comedia dell'arte* есть *Pierrot*, но сближеніе именъ въ этомъ случаѣ можетъ ограничиться, кажется, только сопоставленіемъ.

ихъ взаимная пропорціональность уничтожаетъ представленіе объ ихъ маломъ размѣрѣ, онѣ кажутся живыми людьми, и когда неожиданно изъ-за кулисы протягивается рука человѣка, чтобы поправить неудачно ставшую фигурку, эта рука пугаетъ и кажется рукой великана. Импровизаторомъ во всѣхъ этихъ пьесахъ остается Полишинель,— онъ, то и дѣло, появляется на сцену, кривляется и остритъ. Нечего удивляться, что итальянцы, живые по натурѣ, даровитые импровизаторы, страстные любители маріонетокъ, довели ихъ въ своей странѣ до совершенства и распространили ихъ по всей Европѣ.

Въ Испаніи Полишинель долго существовалъ подъ именемъ Don Cristoval Pulcinella. Но главными дѣйствующими лицами кукольныхъ пьесъ здѣсь были мавры, рыцари и ихъ оруженосцы, колдуны, завоеватели Индіи, библейскія лица, особенно мученики, а иногда и языческіе мудрецы, превращенные изобрѣтательностью авторовъ маріонетныхъ пьесъ въ христіанъ. Такъ, въ одной пьесѣ Сенека былъ представленъ возносящимся на небо и декламирующимъ Символь вѣры.

Во Франціи кукольный театръ получилъ громадное развитіе— на немъ давались пьесы самаго разнообразнаго содержанія, начиная съ библейскихъ, каковы, напр., „Сотвореніе міра и грѣхопаденіе перваго человѣка“, „Рождество Христово“, „Страшный судъ“, и пьесы историческаго характера, а не такъ давно на парижскихъ улицахъ маріонетки представляли „Взятіе Малахова кургана“ изъ нашей Севастопольской войны, и всѣ эти представленія давались при участіи Полишинеля; но притомъ были и пьесы спеціально Полишинеля; главными персонажами, которые показывались вмѣстѣ съ нимъ, были его кумъ, иначе сосѣдъ, жена Жакалина, собака, часто живая, полицейскій, аптекаръ, палачъ, чортъ. Эта труппа разыгрывала сцены дракъ и, кромѣ своего обычнаго репертуара, постоянно примѣнялась къ сезоннымъ событіямъ и диковинкамъ, которыя интересовали публику въ моментъ представленія: появится ли великанъ на ярмаркѣ, Полишинель его передразниваетъ, произойдетъ ли уличная сцена—уже Полишинель остритъ надъ ней, но въ то же время зорко присматривается и къ политическимъ событіямъ.

Вѣроятно за слишкомъ большую дерзость остротъ и маріонетки запрещаются (1719 г.), но годъ спустя опять получаютъ свободу дѣйствій и съ необыкновенною стремительностью начинаютъ снова болтать и острить и безконечно разнообразить свои клички; сначала Полишинель импровизируетъ пьесу: „Дворецъ Скуки или триумфъ Полишинеля“, а потомъ въ цѣломъ рядѣ пьесъ является то Донъ-Кихотомъ, то Аполлономъ, то Купидономъ, а въ 1726 году, когда открылась въ Парижѣ *Comédie Française*, постоянный театръ комедій, съ участіемъ итальянцевъ, Полишинель на этой же площади открылъ свои представленія и рѣшилъ пародировать новый театръ. Народъ повалилъ къ Полишинелю толпой, потому что его пародіи были непринужденно веселы и остроумны. На другой день послѣ каждаго представленія *Comédie Française*, зрители отправлялись слушать мнѣніе Полишинеля, и онъ сдѣлался какъ будто театральнымъ рецензентомъ, устнымъ газетнымъ фельетонистомъ. Въ 1732 году Полишинель требовалъ себѣ академическаго кресла на томъ основаніи, что правомъ присутствія въ засѣданіяхъ Академіи пользовались артисты Французской комедіи. А когда, незадолго до французской революціи, была поставлена пьеса Вольтера „Меропа“, которая произвела сильное впечатлѣніе, и Вольтера, какъ автора, вызвали, что было новостью для тогдашнихъ нравовъ зрительной залы, на другой день за рампой кукольнаго театра кумъ приставалъ къ Полишинелю съ просьбой сказать что-нибудь новенькое, и Полишинель, пріосанясь, въ карикатурномъ видѣ въ лицахъ передалъ содержаніе „Меропы“, а кумъ сталъ кричать: автора, автора!“ и Полишинель, пародируя Вольтера, кривляясь, вышелъ къ рампѣ и отвѣсилъ по обезьяньи авторскій поклонъ при оглушительныхъ аплодисментахъ отъ партера до райка.

Но недолго спустя начинается уже постепенное паденіе маріонетокъ во Франціи. Любопытно, что это совпадаетъ съ постепеннымъ ростомъ и совершенствованіемъ механической стороны этого дѣла, которая все болѣе привлекаетъ вниманіе авторовъ, и зрителей. Не такъ ли бываетъ и съ поэзіей языка? погоня за излишнимъ изяществомъ фразы часто губитъ живую привлекательность рѣчи.

Ровно 100 лѣтъ тому назадъ, почти тотчасъ послѣ французской революціи, одинъ содержатель кукольнаго театра за слишкомъ большую аристократичность своего Полишинеля былъ казненъ смертью. Теперь Полишинель и еще одинъ шутъ Жанъ Fagine (мучникъ) развлекаютъ во Франціи простолюдина, главнымъ образомъ ребятъ, а иногда и взрослоаго аристократа.

Англія была страной, гдѣ марионетки были также очень любимы, и когда настоящіе театры 300 лѣтъ тому назадъ особенно фанатически преслѣдовались пуританами, общее сочувствіе осталось за марионетками, такъ что когда парламентскіе билли 1642 и 1647 гг. закрыли всѣ театры въ Англіи, кукольный театръ былъ исключенъ изъ этого смертнаго приговора. Здѣсь, какъ и вездѣ, были также марионетки, дававшія пьесы библейскаго содержанія, здѣсь



ПОЛИШИНЕЛЬ. Карг. Мейссонье.

также онѣ были и развлеченіемъ знати, и развлеченіемъ толпы. Мы остановимся только на тѣхъ народныхъ ярмарочныхъ пьесахъ, гдѣ является Punch, который вторгался иногда даже въ библейскія пьесы; такъ, напр., (въ 1709 г.) въ пьесѣ „Всемирный потопъ“, когда начинался ливень, Punch высовывался изъ-за кулисы и, обращаясь къ Ною, говорилъ: „Немножко сыро, господинъ Ной“, а когда потопъ прекращался, и черезъ сцену перекидывалась радуга, Punch пускался подъ нею танцевать съ своей супругой.

Какъ и вездѣ, Punch отличается пронизательностью и мѣткостью своей сатиры, и когда газеты нападали на него за дерзости,

онъ говорилъ, что право на сатиру его неотъемлемое право, потому что онъ *давно* родился сатирикомъ, и потому что сатира-его прирожденный талантъ. Съ начала нынѣшняго столѣтія англійскія маріонетки, а Punch въ особенности, изощряются въ сатиру на текущія событія. Всякое прославившееся лицо, всякое важное нововведеніе въ англійской жизни или привѣтствовались, или осмистывались Punch'омъ. Такъ, напримѣръ, во время парламентскихъ выборовъ одинъ баронетъ (Francis Burdett), чрезчуръ хлопотавшій о своемъ избраніи, былъ изображенъ маріонетками униженно цѣлующимъ руку Punch'а, съ просьбой подать за него голосъ въ собраніи. Въ 1728 г. знаменитый англійскій сатирикъ Свифтъ такъ говорилъ про Punch'а. „Не замѣчаете-ли вы, какое безпокойство ощущаютъ зрители, пока еще не появился на сценѣ маріонетокъ Punch? Но какъ оживляются всѣ, какъ только раздастся его хриплый голосъ! Тогда дѣйствующія на сценѣ лица забываются. Самъ Фаустъ въ сопровожденіи дьявола пройди теперь по сценѣ, на него не обращаютъ вниманія; но стоитъ только Punch'у высунуть изъ-за кулисы свой чудовищный носъ и сейчасъ же спрятать обратно, о! какая нетерпѣливая радость! Каждая минута кажется вѣчностью до того мгновенія, когда появляется Punch. Наконецъ Punch вбѣгаетъ, кричитъ, бранитъ всѣхъ на своемъ жаргонѣ. Въ самыхъ патетическихъ и раздирательныхъ сценахъ онъ вдругъ появляется и дерзко остритъ“ и т. д. ¹⁾

Съ начала нынѣшняго столѣтія постоянной пьесой „Punch'а стала пьеса, которая пазывается Punch and Judy“. Любопытно, что еще въ двадцатыхъ годахъ однимъ изъ лучшихъ руководителей Punch'а былъ итальянецъ Piccini.

Вотъ эта пьеса. При первыхъ ударахъ барабана Понча и рѣзкихъ звукахъ свистка, толпы народа и въ особенности дѣтей вбѣгаютъ изъ всѣхъ улицъ и окружаютъ театр Понча, занавѣсъ котораго опущенъ. Представленіе начинается тѣмъ, что слышится пѣніе Понча, потомъ онъ входитъ со словами: „Вотъ и я, мистеръ

¹⁾ Такое появленіе шута импровизатора въ пьесѣ совпадаетъ съ характеромъ средне-вѣковыхъ театралныхъ пьесъ; такъ напр. во Французской пьесѣ „Sainte Barbare“ было слѣдующее обозначеніе: „Pausa. Vadant et Stultus loquitur. Словъ шута въ пьесѣ не значится: очевидно, они были импровизированы.

Пончъ, вашъ нижайшій и покорнѣйшій слуга. Какъ вы поживаете, леди и джентльмены! отъ всей души радъ васъ видѣть. Сыграйте-ка намъ матросскій танецъ, — говоритъ онъ, — обращаясь къ музыкантамъ, „я отличный танцоръ“. Пончъ танцуетъ. „Однако гораздо пріятнѣе танцовать съ женой. Джюди, Джюди, — кричитъ онъ, — милое созданіе, идите сюда!“ Появляется безобразная фізіономія. Джюди входитъ.

II. „Что за чудное созданіе“ (при этомъ нѣжно гладитъ ее деревянной рукой по деревянному лицу).

Д. (Толкаетъ его). — Перестаньте!

II. „Не сердитесь, дорогая, лучше поцѣлуемся (цѣлуются). Не правда-ли, это умилительная минута? Теперь будемъ танцовать (танцуютъ, но черезъ минуту онъ начинаетъ ее толкать). Идите лучше нянчить ребенка, вы совсѣмъ не умѣете танцовать“!

Джюди уходитъ и затѣмъ возвращается съ ребенкомъ на рукахъ.

Д. — Побудьте съ нимъ, пока я приготовлю кушанье.

II. (Садится и напѣваетъ своему деревянному ребенку: „Молчи, дитятко, молчи, я повѣшу твою люльку на дерево, подуесть вѣтеръ, люлька будетъ качаться; сукъ сломается, и люлька упадетъ, а вмѣстѣ съ ней и ты. (Ребенокъ кричитъ, отецъ трясетъ его). Какой безпокойный! Пончъ снова поетъ въ этомъ же тонѣ и продолжаетъ качивать ребенка, но тотъ все кричитъ, тогда онъ нетерпѣливо его встряхиваетъ). Что за противный ребенокъ! Миѣ не нужно такихъ ребятъ“! (Колотитъ его объ стѣну и выбрасываетъ изъ окошка. Является Джюди).

Д. — Гдѣ ребенокъ?

II. (Жалобнымъ голосомъ). „О, я несчастный, ребенокъ былъ такъ несносенъ, что я выбросилъ его за окошко“.

При этомъ съ Джюди дѣлается такой истерическій припадокъ, что она схватываетъ палку и начинаетъ колотить Понча. Тотъ у нея выхватываетъ палку и колотитъ ее. Она убѣгаетъ за полицейскимъ; Пончъ въ комическихъ сценахъ бьетъ его и прогоняетъ. Наконецъ Джюди умираетъ отъ жестокаго обращенія съ ней Понча, но Пончъ продолжаетъ быть беззаботнымъ, веселиться, танцовать и превозносить удовольствіе и счастье вдовства. Вдругъ появляется тѣнь жены и даетъ ему пощечину; Пончъ дрожитъ,

какъ осиновоѣ листь, отъ страха дѣлается даже боленъ и кричитъ: „Доктора, доктора! Я заплачу 50,000 ф“. Онъ лежитъ безъ движенія.

Входитъ докторъ и осматриваетъ его со всѣхъ сторонъ.

Д. — Ба, да это мой пріятель, г. Пончъ! Бѣдный, какъ онъ блѣденъ! Надо пощупать пульсъ. (Считаетъ). Одинъ, 14, 9, 2. Г. Пончъ, да вы умерли! Слышите, вы умерли?

Пончъ. „Умеръ...“ (И при этомъ хватаетъ доктора за носъ, и т. д.).

Онъ убиваетъ затѣмъ доктора, вѣшаетъ палача; вмѣстѣ съ клоуномъ долго укладываетъ его въ гробъ и не можетъ уложить, потому что „все ноги торчатъ“, убиваетъ трактирщика, сатану и восклицаетъ:

„Ура! Сатана умеръ. Мы теперь можемъ дѣлать все, что намъ угодно“.

Затѣмъ, обращаясь къ публикѣ, говоритъ:

„Леди и джентельмены! вотъ и все оригинальное представленіе мистера Понча. Приношу вамъ мою искреннѣйшую благодарность за ваше покровительство и поддержку“.

Пончъ, — любимѣйшее развлеченіе англійскаго простолюдина, истинно народный и дѣтскій театръ. Бѣднякъ ему обязанъ счастливыми минутами: во время представленія онъ забываетъ о лишенияхъ, несчастіяхъ. Но и благородные джентльмены, лорды и члены парламента останавливаются подчасъ и отъ души смѣются передъ театромъ Понча; онъ такимъ образомъ одновременно и аристократическая и простонародная маріонетка. Не любятъ его только англійскія леди, для которыхъ онъ слишкомъ грубъ. И, дѣйствительно, онъ грубъ, но бѣда тому владѣльцу маріонетокъ, который попытается измѣнить заключеніе! Одного такого реформатора забросали за это грязью и чуть не убили камнями.

Въ Германіи Hanswurst былъ дѣйствующимъ лицомъ самыхъ разнообразныхъ маріонетныхъ пьесъ, то библейскихъ, то свѣтскихъ, переводныхъ французскихъ, каковы пьесы Мольера, напр., „Лѣкаръ поневолѣ“, то въ политическихъ сатирахъ, которыми маріонетки откликались на свѣжія иностранныя событія. Такъ, напр., около полтора ста лѣтъ тому назадъ, тотчасъ послѣ ссылки Мен-

шикова въ Березовъ, въ провинціальныхъ городахъ Германіи ма-
ріонетныя афиши гласили, что будетъ дана пьеса: „Необыкновенная
превратность счастья и несчастья Алексѣя (Александра?) Данило-
вича Меншикова, любимца, кабинетъ-министра и генералиссимуса
Московского царя Петра I, Меншикова, который съ высоты сво-
его величія низвергнуть въ бездну несчастья. Все это будетъ со-
провождаться *остроумными выходками Hans-Wurst'a*“. Пьеса,
благодаря этимъ *выходкамъ Hans-Wurst'a*, могла даваться только
въ провинціи, а въ Берлинѣ изъ политическихъ соображеній была
запрещена.

Насколько неразвита была толпа, смотрѣвшая подобныя пред-
ставленія, можно судить по тому, что (въ 1752 г.) въ пьесѣ „Ра-
дости и страданія св. Доротеи“, по требованію толпы, владѣлецъ
маріонетокъ долженъ былъ нѣсколько разъ на віс повторять казнь
этой мученицы: отсѣченная голова вновь приставлялась, и палачъ
вновь ее отсѣкалъ при оглушительныхъ рукоплесканіяхъ зрителей.

Но особенно любимыми народными маіонетными пьесами въ
Германіи были представленныя въ сценахъ съ участіемъ Hans-
Wurst'a легенды о „Фаустѣ“ и „Донъ-Жуанѣ“. Послѣдняя пьеса,
какъ гласили афиши, исполнялась подъ музыку капельмейстера
Мопарта. Въ этой пьесѣ Hans-Wurst исполнялъ роль слуги Донъ-
Жуана, Лепорелло, причемъ постоянно раздваивался — то былъ
истиннымъ Лепорелло, то вдругъ неожиданно какъ будто бросалъ
эту роль и становился просто народнымъ шутомъ, и начиналъ крив-
ляться и острить направо и налево. Онъ постоянно недоволенъ
своимъ господиномъ, но стоитъ только Донъ-Жуану пообѣщать ему
лишнюю порцію ветчины за обѣдомъ, какъ онъ соглашается на са-
мыя невозможныя порученія, и разъ даже вступаетъ въ переговоры
съ чортомъ, который появляется на сцену съ обычнымъ крикомъ
„Гу, гу, гу!“ Эта сцена находится въ связи съ именемъ Hans-
Wurst'a. Во время его разговора съ чортомъ съ неба спускается
колбаса; онъ долго ее ловить, наконецъ, схватываетъ, но она вмѣстѣ
съ нимъ поднимается на воздухъ, а Hans-Wurst кричитъ: „Стой,
стой, каналья, тише, стой.“ Въ это время гремитъ громъ и свер-
каетъ молнія, и въ преисподней раздается хохотъ невидимыхъ
злыхъ духовъ; занавѣсъ падаетъ, а въ слѣдующемъ дѣйствіи Hans-

Wurst жалуется на голодъ, такъ какъ оказывается, что колбаса отъ него ускользнула, и т. д. въ этомъ родѣ.

Въ такихъ городахъ, какъ Берлинъ, Кельнъ, Франкфуртъ, Ульмъ, Аугсбургъ, Вѣна, Страсбургъ и т. д., до новѣйшаго времени были постоянные кукольные театры.

На Востокъ: въ Турціи, Египтѣ и Персіи, главное шутовское лицо народной комедіи сохраняетъ самостоятельный характеръ. Въ Турціи и Египтѣ оно называется *Карагёзь* (черный глазъ), а въ Персіи— *Кетчель-Пехлеванъ* (плѣшивый герой).

Представленія съ Карагёзомъ въ Константинополѣ даются обыкновенно въ театрѣ китайскихъ тѣней. Задолго до начала у входа театра красуются огромныя прозрачныя афиши, у которыхъ постоянно толпится народъ. За ничтожную плату можно проникнуть въ зрительную залу, представляющую ресторанъ. Граціозныя мальчики съ обнаженными до плечъ, бронзоваго цвѣта руками, быстро двигаются между столиками и разносятъ закуренныя трубки съ табакомъ и чашки кофе, которыя каждый зритель получаетъ за свой входной билетъ.

Когда зала достаточно наполняется зрителями, состоящими преимущественно изъ рабочихъ, прислуги и дѣтей, оркестръ, помѣщенный на высокой галереѣ, начинаетъ играть увертюру; свѣтъ въ залѣ гасится, и передъ глазами зрителей, расположившихся въ потемнѣвшемъ ресторанѣ, открывается ярко освѣщенный экранъ изъ полунпрозрачной ткани.

Оркестръ умолкаетъ. Слышно, какъ будто за экраномъ кто-то встряхиваетъ кусочки дерева въ мѣшкѣ — сигналъ о приближеніи маріонетокъ— онъ привѣтствуется радостными восклицаніями дѣтей. Изъ глубины зрительной залы раздается голосъ, который спрашиваетъ у маріонетокъ, въ чемъ будетъ заключаться представленіе, и послѣ того, какъ изъ-за экрана отвѣчаютъ, что маріонетки постараются съ помощью Аллаха выполнить афишу, которую всѣ видѣли у входа, оркестръ опять принимается играть, а на туго натянутомъ экранѣ, при шумномъ восторгѣ зрителей, обозначается пейзажъ; онъ представляетъ площадь въ Константинополѣ, а посреди нея фонтанъ. Сначала по экрану движутся силуэты, не имѣющіе прямого отношенія къ пьесѣ. Проходитъ, напр., (передвигая

ногами) собака, за ней—разносчикъ воды и т. п. Всѣ эти двигающіеся силуэты не только тѣни, а окрашены въ разные цвѣта. Наконецъ, выходитъ изъ дому турокъ въ сопровожденіи раба съ чемоданомъ, подходитъ къ двери другого дома, стучится и кричитъ:

„Карагезъ! Карагезъ! лучший другъ мой, развѣ ты спишь?“ Карагезъ показываетъ въ окно свой носъ и прячется. Въ зрительной залѣ неописуемый взрывъ восторга, а виновникъ этого восторга изъ-за дверей кричитъ; что ему надо одѣться, и, наконецъ, выходитъ и обнимаетъ своего друга.

Физиономія Карагеза на экранѣ показывается всегда только въ профиль, на которомъ непремѣнно чернѣетъ большой круглый глазъ: по нему публика узнаетъ Карагеза, какъ бы онъ ни передвѣлся.

Между тѣмъ турокъ, отправляясь въ путешествіе, ввѣряетъ свою жену попеченіямъ Карагеза, который соглашается на роль такого стража и принимаетъ цѣлый рядъ комическихъ мѣръ, чтобы выполнить свою задачу: притворяется, напр., мостомъ, и ложится поперекъ канавы; притворство его оказывается настолько удачнымъ, что всѣ прохожіе, при хохотѣ зрителей, переправляются черезъ этотъ мостъ; но мостъ неожиданно вскакиваетъ, когда черезъ него хочетъ переѣхать тяжелая арба; вотъ Карагезъ принимаетъ новый видъ—онъ притворяется колѣмъ, вбитымъ въ землю, и неподвижно стоитъ у крыльца своего друга. Четыре извозчика, считая его за настоящій колъ, привязываютъ къ нему каждый по лошади, а сами отправляются въ сосѣднюю харчевню: въ то время, какъ изъ харчевни доносится ихъ громкій веселый разговоръ, соскучившіяся лошади начинаютъ тащить Карагеза въ разные стороны, и онъ кричитъ благимъ матомъ, а публика ликуетъ. Наконецъ, послѣ цѣлаго ряда подобныхъ сценъ, появляется турокъ и благодаритъ Карагеза за вѣрную службу.

Иногда Карагезъ, среди своихъ представленій, остритъ надъ текущими событіями, близкими его аудиторіи. Такъ, когда въ Константинополь издано было распоряженіе вечеромъ ходить по улицѣ съ фонарями, Карагезъ вышелъ изъ дому съ фонаремъ, но съ комическими ужимками показывалъ публикѣ, что онъ не вставилъ въ свой фонарь свѣчи, такъ какъ о свѣчѣ въ распоряженіи не упо-

минается; когда за эту острогу содержатель театра получил замѣчаніе, Карагезъ вышелъ съ фонаремъ, въ которомъ была свѣча, но... не зажженная. Неприхотливая публика награждаетъ выходы Карагеца шумными одобреніями, но эти пьесы далеко не всегда бываютъ такого невиннаго содержанія — онѣ, большею частью, грубо-непристойны, и нужно удивляться, какъ турки рѣшаются забавлять своихъ дѣтей такими развлеченіями.

Персидскій Кетчель - Пехлеванъ не имѣетъ особаго костюма и его отличительный признакъ составляетъ только огромная лысина; по характеру онъ напоминаетъ неаполитанскаго Полишинеля, но отличается отъ него изысканною благовоспитанностью и глубокимъ лицемѣриемъ: онъ — ханжа, ученый и даже поэтъ; въ немъ много сходнаго съ Тартюффомъ Мольера; его лицемѣріе поразительно. Приходитъ онъ, на примѣръ, къ ахуну — главѣ мусульманскаго прихода. Самая манера и мимика, съ которыми онъ входитъ къ ахуну, вызываютъ неудержимый смѣхъ у зрителей: онъ такъ набоженъ! у него такой смиренный видъ! глаза его подняты къ небу; онъ наизусть говоритъ нараспѣвъ стихи корана, но... у него огромная лысина, и зрители ждутъ превращенія. И, дѣйствительно, Кетчель-Пехлеванъ незамѣтно мѣняетъ тему разговора и такъ увлекаетъ благочестиваго ахуна, что онъ постепенно беретъ гитару, пьетъ вино, и пьеса заканчивается, при дружномъ хохотѣ публики, совершенно пьяною сценой, а эти сцены, при общей трезвости на Востокѣ, производятъ огромный комическій эффектъ.

Всѣ эти представленія бесплатны: антрепренеры, авторы, поэты и даже торговцы съѣстнымъ — никто и не думаетъ о выручкѣ. Антрепренеръ чаще всего богатая знатная особа, которая этимъ средствомъ ищетъ усилить свое религіозное и политическое вліяніе. Такое лицо пользуется случаемъ выказать передъ публикой всѣ свои сокровища, шали, ковры, драгоценныя матеріи и дорогую посуду. Въ знаменитомъ спектаклѣ, продолжавшемся 14 дней и данномъ въ Тегеранѣ въ 1833 году Мирзою Абдуль-Гассанъ-Ханомъ, бывшимъ посланникомъ въ Парижѣ, по обѣту за выздоровленіе его сына, этотъ персидскій Лукуллъ представилъ глазамъ публики болѣе 80 кашемировъ и множество драгоценностей, въ числѣ которыхъ были такія, которыя оцѣнивались въ 3 милліона

франковъ. Великолѣпная обстановка нашихъ балетовъ, которой мы удивляемся, тегеранскимъ аристократамъ показалась бы просто лохмотьями.

Любопытно, что даже у дикихъ народовъ Африки есть полишинельныя маріонетныя пьесы, въ которыхъ главной комичной фигурой является „Бѣлый чортъ“; онъ пестро одѣтъ и постоянно жуется табакъ; его роль страдательная—онъ посмѣшище другихъ дѣйствующихъ лицъ—темнокожихъ: дикари, натерпѣвшись отъ „бѣлолицыхъ“, хоть въ пьесахъ смѣются надъ ними.

У насъ въ Россіи библейскія маріонетныя пьесы создались подъ вліяніемъ Польши. Возвращаясь къ празднику Рождества Христова домой, ученики Академіи сначала сами разыгрывали пьесы, игранныя въ школѣ, а затѣмъ для большаго удобства стали куклами представлять эти пьесы, содержаніемъ которыхъ служить Рождество Христово и смерть Ирода. Но здѣсь подъ открытымъ небомъ малороссы скоро придали школьной пьесѣ національный, народный характеръ, и эта кукольная библейская драма, съ прибавленіемъ комическихъ народныхъ сценъ, получила названіе „Вертепа“—пещеры, такъ какъ первое дѣйствіе ея представляло Рождество Христово въ пещерѣ и поклоненіе Ему пастуховъ и волхвовъ.

Этотъ театръ имѣетъ видъ домика, въ которомъ двѣ сцены—одна наверху для библейскаго дѣйствія, другая—внизу, для мірскихъ народныхъ сценъ. Съ Вертепомъ ходили подъ Рождество, и его сопровождали нѣсколько скрипачей-музыкантовъ и, такъ называемая, Рождественская звѣзда: на длинномъ шестѣ укрѣплялся большой изъ промасленной бумаги фонарь, на одной сторонѣ котораго была нарисована звѣзда, а на другой—Рождество Христово. Можно представить себѣ малороссійскую деревню въ Рождественскую ночь, когда морозно, когда снѣгъ скрипитъ подъ ногами, когда на улицѣ чернѣетъ и толпится группа старыхъ и малыхъ: они всѣ тѣснятся къ освѣщенному ящику и наслаждаются трогательнымъ или забавнымъ зрѣлищемъ. Надъ этой группой высоко колеблется на длинномъ, зыбкомъ шестѣ бѣлый полукитайскій огромный фонарь—Рождественская звѣзда, а выше темнѣетъ зимнее небо, а на немъ мерцаютъ, искрятся и привѣтливо мигаютъ безчисленныя настоящія звѣзды. А тамъ, въ ящикѣ, лежитъ въ ясляхъ

малютка Христось; ему кланяются пастухи—они совѣмъ хохлацкіе пастухи — и вотъ они кладутъ къ яслямъ ягненка и поютъ коляду; на радостяхъ, что родился Христось, скрипки начинаютъ играть малороссійскую „дудочку“, а пастухи начинаютъ приплясывать; а вотъ ужъ они и танцуютъ, приговаривая: „Зуба, зуба на сопилку“; вотъ ужъ они и откланялись и, погладивъ свои хохладцкіе усы, удалились. Вотъ уже произошло избіеніе младенцевъ, а вотъ, наконецъ, чортъ утащилъ самого Ирода. То-то радость, какъ же тутъ не танцовать? На нижней сценѣ начинается плясъ: пляшетъ старикъ со старухой, вслѣдъ за ними солдатъ съ „красавицей Дарьей Ивановной“; пляшетъ и нѣмецъ на тоненькихъ ножкахъ съ своею дородной супругой, пляшетъ и цыганъ съ цыганкой—всѣ подь мелодію, исполненную какой-то доброй простоты, дѣйствующую на душу самымъ успокоительнымъ образомъ.

Но вотъ, наконецъ, появляется давно ожидаемый, всѣми любимый—*вертепный Пончъ* — *Запорожець*; онъ начинаетъ колотить всѣхъ, не исключая самого чорта, котораго онъ ни во что не ставитъ.

Сначала онъ танцуетъ съ шинкаркой Феськой, потомъ лбомъ проламываетъ дверь шинка, убиваетъ шинкаря и ложится спать; раздается: „Гу, гу, гу!“ и появляются черти; они хотятъ задушить Запорожца, но онъ ловитъ ихъ за хвостъ и подвергаетъ комическому осмотру, приговаривая: „Що се таке я шймав? яка се птичка?“ Потомъ онъ заставляетъ ихъ плясать и прогоняетъ ударомъ булавы. Приходитъ уніатскій священникъ; Запорожець такъ грозно исповѣдуетъ ему свои грѣхи, что уніатъ въ ужасѣ скрывается. Появляется простоватый мужикъ Клима—онъ гонитъ передъ собой свинью и говоритъ: „аля, аля“. Затѣмъ слѣдуетъ рядъ сценъ съ свиньей и козой, которая прячется даже подь тронъ Ирода. Въ заключеніе на сцену выходитъ „Савочка-нищій“, и въ его торбу щедро сыплются отъ зрителей монеты.

Въ Бѣлоруссіи главное дѣйствующее лицо кукольнаго народнаго театра—хлопъ, который дурачитъ пана, еврея, доктора, учителя, какъ Мольеровскій Скапенъ или Сганарель. Тутъ же показываются продѣлки цыгана при продажѣ лошади или шуточные сцены мужика Матея съ докторомъ. Но какъ въ Бѣлоруссіи, такъ

и въ Малороссіи народный кукольный театръ теперь уже умираетъ, если не совсѣмъ исчезъ, а лѣтъ 30 тому назадъ былъ въ большомъ ходу.

У насъ въ центральной Россіи народная кукольная комедія имѣетъ свѣтскій характеръ и носитъ названіе Петрушки, и мнѣ теперь не зачѣмъ говорить, что ея первоисточникъ, — итальянскій Полишинель. Онъ занесенъ къ намъ черезъ Германію въ началѣ XVII столѣтія. Но нельзя сказать, чтобы вся эта комедія была чужая—въ ней много и нашего, національнаго. Уже въ „Вертепъ“ замѣтны результаты дѣятельности нашихъ скомороховъ; точно также и въ Петрушкѣ. По мнѣнію Морозова, скоморохи у насъ не только захожіе люди. Безспорно, что къ намъ издавна заходили бродячіе нѣмецкіе „шпильманы“ (иначе это слово не приобрѣло бы права гражданства въ старомъ русскомъ языкѣ); заходили, вѣроятно, и византійскіе „скомархи“, но это не исключаетъ возможности существованія своихъ доморощенныхъ „потѣшниковъ“. Подъ словомъ *скоморохи* подразумѣвались представители всевозможныхъ увеселительныхъ профессій: тутъ были и игрецы-музыканты, и плясцы, пѣсенники, фокусники, акробаты, кукольники, медвѣдчики и разные шуты (вродѣ Савоськи съ Парамошкой), словомъ, всѣ, по старинному выраженію, „глумы дѣюще и позоры нѣкакы бѣсовскіе творяще“. Скоморошье ремесло было чрезвычайно разнообразно и невозможно допустить, чтобы естественная въ каждомъ человѣкѣ потребность позабавиться удовлетворялась у насъ только при помощи иноземныхъ смѣхотворцевъ. Захожіе скоморохи византійскіе и западно-европейскіе, являясь прямыми наслѣдниками древнихъ мимовъ и обладая уже значительно разработаннымъ и разнообразнымъ репертуаромъ, могли во многомъ быть учителями нашихъ народныхъ увеселеній, вызывая ихъ на подражаніе и соревнованіе, передавая имъ свои ухватки и секреты; но, конечно, въ народномъ быту не было недостатка въ своихъ веселыхъ молодцахъ, „питавшихся“ отъ шутовскаго промысла. Въ общественной іерархіи скоморохъ занималъ послѣднее мѣсто; его презирали, какъ „сосудъ дьявольскій“, надъ нимъ издѣвались, но всюду кормили, и онъ былъ непремѣнною принадлежностью, какъ и теперь, народнаго веселья. Въ XVI в., въ эпоху Стоглава, эти бездомные

скитальцы составляли уже огромныя артели человекъ до 100, причѣмъ иногда разбойничали. Къ концу XVII в. скоморохи, какъ



сословіе, постепенно исчезаютъ, и уже одиноко ведутъ свою безпріютную, полную приключеній жизнь. Они хранятъ неисчерпаемые запасы народныхъ шутокъ и юмора, веселыхъ рассказовъ и пѣсень.

Память о скоморошскихъ шуткахъ хранится въ лубочныхъ картинкахъ, въ изображеніи „дурацкихъ персонъ“, между которыми уже въ XVII ст. появляется и изображеніе Петрушки, который тогда назывался „Петруха Фарнось“. Подъ одной такой лубочной картинкой надпись:

„Здрастуйте, почтенные господа,
Я прѣѣхалъ къ вамъ музыкантъ сюда,
Не дивитесь на мою рожу,
Что я имѣю у себя не очень пригожу,
А зовутъ меня молодца Петруха Фарнось,
Потому что у меня большой носъ“.

Если приглядѣться въ этомъ нескладномъ для нашего времени изображеніи къ двумъ горбамъ, къ огромному носу и самому костюму — безъ труда можно замѣтить, что Петруха Фарнось долженъ въ числѣ своихъ прапрадѣдовъ назвать неаполитанскаго Полишинеля.

Представленія Петрушки, постоянно сопровождаемыя показываніемъ медвѣдя и козы, которая „била въ ложки“, уже давались въ XVII ст.: образованному иностранному путешественнику по Россіи, Олеарію пришлось видѣть эту пѣсу въ XVII столѣтіи подъ Москвой и, по описанію, имъ сдѣланному, и по приложенной къ

путешествію картинкѣ, „камедь о Петрушкѣ“, производилась слѣдующимъ незатѣйливымъ образомъ: комедіантъ надѣвалъ родъ короткой туники, въ подолъ которой былъ продѣтъ обручъ, затѣмъ обручъ подымалъ къ верху, и голова его такимъ образомъ оказывалась какъ будто въ вазѣ; изъ-за краевъ этой вазы онъ пока-



зывалъ исполненную драками комедію о Петрушкѣ. Драка была въ большомъ ходу въ народныхъ шуточныхъ развлеченияхъ, потому что по тогдашней поговоркѣ: „рожа дешевле одежды: одежду раздерешь—придется купить новую, а рожа и сама подживетъ, а не подживетъ, такъ и такъ сойдетъ“.

Современный Петрушка, кромѣ грубаго жаргона и уродливой внѣшности, сохранилъ отъ старины дубинку, гнусавый пищикъ, музыку, и нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ—жену, доктора, полицейскаго, клоуна въ бѣломъ костюмѣ, который является подъ названіемъ нѣмца, — но все это нѣсколько обрусѣло. Содержаніе этой пѣсы извѣстно всѣмъ, поэтому я только вкратцѣ приведу одинъ изъ ея вариантовъ.

Шарманка сыло наигрываетъ русскую пѣсню; изъ-за ширмъ

слышатся то рѣзкіе, гнусавые возгласы, то кряхтѣніе, то подпѣваніе Петрушки, и въ одну изъ минутъ усталого ожиданія, когда публика готова уже развлечься постороннимъ, онъ неожиданно показывается изъ-за ширмъ и громко кричитъ: „здравствуйте, господа!“ и пускается въ разговоръ съ музыкантомъ, проситъ его сыграть плясовую и танцуетъ сначала одинъ, потомъ съ супругой (которую по нѣкоторымъ вариантамъ зовутъ „Маланьей Пелагеевной, а по другимъ Пигасей Николавной“) и, наконецъ, прогоняетъ ее. Точь въ точь, какъ Пончъ.

Является цыганъ и продаетъ ему лошадь; Петрушка ее уморительно осматриваетъ, тащитъ за хвостъ, за уши, садится, гарцуетъ и поетъ:

„Какъ по Питерской,
По Тверской - Ямской...“

Лошадь начинаетъ брыкаться, сбрасываетъ его—и Петрушка падаетъ, громко стучая деревяннымъ лицомъ о рамку ширмы; охаетъ, кряхтитъ, стонетъ и зоветъ доктора.

Приходитъ докторъ—„лѣкарь, изъ подъ Каменнаго моста аптекаръ“, и рекомендуясь публикѣ, говоритъ, что онъ „былъ въ Италія, былъ и далѣе“ (намекъ на родину Петрушки), и спрашиваетъ у Петрушки:

— Что у тебя болитъ?

— „Какой же ты докторъ“,—кричитъ ему Петрушка,—„коли спрашиваешь, гдѣ болитъ? На что ты учился? Самъ долженъ знать, гдѣ болитъ“.

Начинается осмотръ Петрушки; докторъ ищетъ больного мѣста, тыкаетъ Петрушку пальцемъ и спрашиваетъ: „тутъ? тутъ?“... а Петрушка все время кричитъ:

„Повыше! Пониже! Крошечку повыше“... и вдругъ неожиданно вскакиваетъ, колотитъ доктора,—докторъ скрывается.

Затѣмъ появляется клоунъ-нѣмецъ; Петрушка его убиваетъ, и нѣмецъ мертвый лежитъ на краю ширмъ. Музыкантъ говоритъ Петрушкѣ: „Что вы надѣлали, Петръ Ивановичъ? Сейчасъ полиція придетъ“. Петрушка сначала храбрится и, весело заглядывая въ фізіономію лежащаго нѣмца, говоритъ: „нѣмецъ-то притворился мертвымъ“.

Затѣмъ взваливаетъ его себѣ на спину, тащитъ его долой, кричить безпечно: „картофелю“, „картофелю“, „поросятъ, поросятъ!“

Появляется татаринъ, продаетъ халаты, а Петрушка думаетъ, что его берутъ въ солдаты; татаринъ рекомендуется незатѣйливой остротой:

Я татарскій попъ,
Пришелъ ударить тебя въ лобъ!

и исчезаетъ, преслѣдуемый Петрушкой. Петрушка возвращается одинъ. Онъ въ тревогѣ; боится наказанія, обращается къ музыканту и говоритъ: „Что? меня никто не спрашивалъ?“, старается спрятаться, наконецъ, садится, пригорюнившись, и поетъ жалостную пѣсню:

Пропала моя голова
Съ колпачкомъ и съ кисточкой.

(Кстати сказать, и колпакъ и кисточка также древни и заимствованы отъ Полишинеля, судя по изображеніямъ Петрушки XVII ст.).

Изъ-за рампы показывается квартальный (по выраженію Петрушки, „фатальный фиперъ“), и Петрушку берутъ въ солдаты; онъ протестуетъ и говоритъ, что горбать — служить не можетъ. Квартальный возражаетъ: „гдѣ-жь у тебя горбъ? у тебя нѣтъ горба?“ Петрушка кричитъ: „потерялъ!“

— Гдѣ?

— На трубѣ.

(Ясно, гдѣ потерялъ горбъ Петрушка: онъ явился въ Россію горбатымъ, судя по изображеніямъ XVII в., и утратилъ горбъ въ Россіи).

Слѣдуетъ комическая сцена обученія Петрушки воинскому артикулу, и, дѣлая дубиной ружейные приемы, онъ ударяетъ ею своего учителя; тотъ кричитъ на него, а Петрушка вытягивается во фронтъ и говоритъ: „Споткнулся, ваше сковородіе!“ и затѣмъ прогоняетъ квартальнаго, а между тѣмъ приближается возмездіе за его безобразное поведеніе.

Прибѣгаетъ рычащая собака.

Петрушка видитъ, что его дѣло уже плохо, пробуетъ обратиться за помощью къ музыканту, но получаетъ отказъ, и старается замаслить собаку ласковыми названіями, гладитъ ее и приговариваетъ: „шавочка,—душечка, орелочка“, но собака неожиданно хватается его за носъ и тащитъ, а Петрушка, не успѣвъ поблагодарить публику за вниманіе, только кричитъ, намекая на свой носъ.

„Моя табакерка! моя табакерка! моя скворешница...“ и при общемъ хохотѣ скрывается за ширмами. Приумолкнувшій шарманщикъ опять начинаетъ вертѣть шарманку и наигрывать русскую пѣсню.

Въ итогѣ пьеса такова, что даже названіе водевилъ для нея слишкомъ почетно, а между тѣмъ въ ней всѣ признаки оперы, балета и ложно - классической драмы: какъ въ оперѣ, въ ней оркестръ—шарманка, и теноръ-солистъ—Петрушка. Какъ въ балетѣ, въ ней танцы — *pas-de-deux* Петрушки и Пигасьи Николавны; и, наконецъ, въ ней есть три ложноклассическія единства: единство времени (1 часъ), единство мѣста (рампа ширмъ — декорации не мѣняются) и единство дѣйствія (драка).

Национальный юморъ къ старинному, нѣсколько искаженному иностранному содержанію этой пьесы прибавилъ сцену съ татаринномъ, сцену съ цыганомъ (для этихъ сценъ съ цыганомъ былъ даже въ старину терминъ— „цыганить“), прибавлена сцена солдатскаго обученія и финаль—трагическая катастрофа, сочиненная во вкусъ народныхъ произведеній: зло наказано, а добродѣтель не торжествуетъ только потому, что ея нѣтъ въ этой „игрѣ“; вся пьеса разыгрывается подъ русскіе мотивы, которые исполняетъ иностранная шарманка.

Теперь эти представленія начинаютъ исчезать, и гнусавый голосъ Петрушки все рѣже раздается на улицѣ, но въ лицѣ Петрушки доживаетъ свой вѣкъ или, вѣрнѣе, умираетъ въ Россіи очень старый и очень знатный иностранецъ; въ его жизни была слава, былъ блескъ, но онъ сыгралъ уже свою роль, и не такова-ли судьба каждаго актера?

А образованнаго человѣка теперь скорѣе потянетъ въ настоящій

театръ, гдѣ онъ можетъ видѣть, вмѣсто огромнаго деревяннаго носа, оживленную и выразительную мимику живаго человѣческаго лица, гдѣ вмѣсто гнусавой свистульки онъ услышитъ искренніе звуки неподдѣльнаго человѣческаго голоса въ минуты печали и въ минуты счастья,—насъ потянетъ въ настоящую драму.

Но откуда появилась эта настоящая драма? Какъ она создалась?

Она, какъ и кукольная комедія, развилась изъ народныхъ сценъ, а затѣмъ и та, и другая—и маріонетная, и живая драма, развивались параллельно, оказывая вліяніе другъ на друга. Конечно, вліяніе живой драмы на кукольную было сильнѣе, чѣмъ обратно, но это обратное вліяніе не такъ мало, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда.

А что между народной кукольной комедіей и лучшими художественными произведеніями существуетъ и духовное родство и преемственная связь—это можно указать историческими примѣрами.

Существеннымъ эффектомъ маріонетной пьесы было появленіе въ патетической сценѣ шутовской и дерзкой фигуры Полишинеля съ площаднымъ жаргономъ на языкѣ. Этотъ рѣзкій контрастъ, это внезапное сопоставленіе поэзіи и прозы, трагическаго пафоса и дурачества издавна доставляло эстетическое развлеченіе толпѣ.

Этотъ же самый приемъ встрѣчается у Шекспира, шуты котораго часто совмѣщаютъ въ себѣ глубоко трогательное положеніе съ вызывающимъ по дерзости языкомъ ¹⁾.

Этотъ же приемъ повторяется въ поэзіи Генриха Гейне: его любимая манера—прервать тонкой насмѣшкой трогательный рассказъ, отпустить среди восторженнаго описанія высокаго предмета колкую шутку и вдругъ съ усмѣшкой заговорить о прозаическихъ вещахъ.

Въ одномъ стихотвореніи онъ говоритъ: „Въ то время предметомъ моей пессии были яблочные торты, теперь—любовь, истина, свобода и раковый супъ»: муза Гейне родная сестра народному Полишинелю; быть можетъ, отъ этого ея не долюбиваютъ читательницы, какъ англійскія леди отвертываются отъ Понча.

¹⁾ Любопытно, что въ драмѣ „Король Генрихъ IV“ принцъ Генрихъ называетъ Фальстафа Пончемъ. P. Henry. «What, a coward, Sir John Paunch!»—Act. II, Scene II (какой трусъ, Сэръ Джонъ Пончъ).

Но это только сходство приёма. Тутъ нельзя указать непосредственной связи; но можно привести примѣры очевидной преемственной связи между народной кукольной комедіей и художественными произведеніями. Типы Мольеровскихъ плутоватыхъ лицъ (Скапена, Станареля) взяты изъ постоянныхъ типовъ народной комедіи. Донъ-Жуанъ задолго до своей художественной литературной обработки былъ то легендой, то кукольной комедіей. Кукольная народная комедія дала много идей, по ихъ собственнымъ словамъ, Платону, Аристотелю, Горацію, Попу, Свифту, Фильдингу, Вольтеру, Байрону, Беранже, а народная легенда о Фаустѣ, изображенная кукольной комедіей, впервые зародила идею пьесы въ душу Гете. Я не хочу этимъ сказать, что пьеса Гете Фаустъ, бывшая литературнымъ событіемъ, списана имъ съ кукольной комедіи. Она создавалась и подъ вліяніемъ сборника легендъ о Фаустѣ, и подъ вліяніемъ умственного движенія въ Германіи въ концѣ прошлаго вѣка, и, конечно, подъ вліяніемъ еще очень многихъ, очень сложныхъ причинъ, которыя никогда не будутъ изслѣдованы. Я хочу только указать, что маріонетная пьеса о Фаустѣ также вложила свою сильную, творческую лепту въ знаменитую драму.

Живя въ Страсбургѣ, Гете очень дружески относился къ Гердеру и видѣлъ въ немъ своего руководителя и повѣреннаго своихъ литературныхъ замысловъ, но при всемъ этомъ въ своихъ воспоминаніяхъ ¹⁾ онъ оставилъ слѣдующія строки. „Я очень заботливо скрывалъ отъ него“, — пишетъ Гете, — „только нѣкоторыя мысли, которыя были особенно заняты, которыя укоренились во мнѣ и которыя разрослись до высоты поэтическихъ созданій. Идея этой маріонетной пьесы о Фаустѣ звучала и шептала во мнѣ на разные лады; я носилъ въ себѣ эту тему повсюду, и она была для меня наслажденіемъ, когда я оставался одинъ“. Велико было удивленіе читающей публики, когда 10 лѣтъ спустя онъ обнаруживалъ первые отрывки своего великаго произведенія. Мы не знаемъ, конечно, какими неувимыми путями чернокнижникъ, докторъ магіи Фаустъ превратился въ фантазіи Гете въ художественный образъ мыслителя въ минуту душевной муки; или какимъ путемъ

¹⁾ «Aus meinem Leben». X, «Werke», т. XXV, стр. 318.

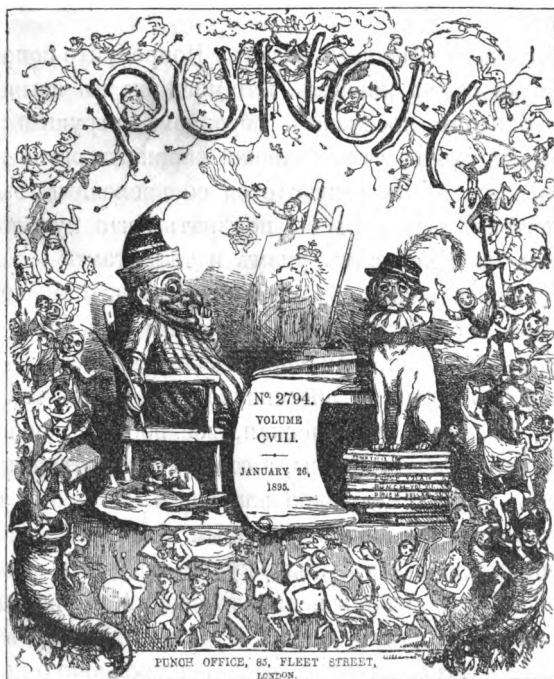
балаганный Мефистофель, чортъ на всѣ руки, преобразился у Гете въ представителя пронизательной и жестокой мысли, который вырываетъ изъ вашего сердца и уничтожаетъ иллюзію; но для насъ очень важно знать, что это гениальное произведение, какъ и многія другія, въ своихъ первыхъ элементахъ заготовлено народнымъ творчествомъ.

Теперь оглянемся немного назадъ. Попробуйте сопоставить начало марионетки съ ея концомъ. Кто могъ бы въ языческомъ мірѣ подумать, что идолъ послужитъ образцомъ игрушкѣ скомороха? Кто могъ бы подумать, что домашняя карриатура на жителей небольшого городка Atella разрастется со временемъ въ всемірный типъ Полишинеля? Кто могъ бы повѣрить, что кукольный фарсъ будетъ давать идеи великимъ умамъ и талантамъ?

Такъ, основныя начала будущаго гениальнаго творенія, созданныя народнымъ творчествомъ и отдѣленные отъ него огромнымъ пространствомъ времени, при первомъ взглядѣ часто не имѣютъ съ нимъ ничего общаго, но постепенно сама жизнь видоизмѣняетъ ихъ, и идея, въ нихъ заключенная, все растетъ, облекается наконецъ въ великолѣпныя формы, а старыя, часто создавшія ее самое, бросаетъ, какъ изношенное платье; и Петрушка теперь умираетъ и донашиваетъ свои обтрепанныя лохмотья, но не умираетъ сила, его породившая. Онъ, вѣдь, кукла—съ нимъ можно сдѣлать все, что угодно: онъ можетъ испытать еще много превращеній: можетъ быть, его двугорбая фигура будетъ торчать въ орнаментѣ какого-либо комическаго театра, какъ воспоминаніе о прежнемъ веселии, а, можетъ быть, онъ не разъ еще мелькнетъ въ виньеткѣ астирическаго произведенія, какъ девизъ старинной здоровой остроты.

Одинъ англійскій сатирическій журналъ называется *Punch* и на своей первой страницѣ изображаетъ настоящаго *Punch*'а съ его неразлучной собакой. На этой картинкѣ мы застаемъ *Punch*'а въ ту минуту, когда онъ собирается обмакнуть перо въ чернильницу и записать какую-то мѣткую эпиграмму, которая оживляетъ его насмѣшливую и безобразную фізіономію. Не будемъ стараться угадать, въ кого или во чтѣ онъ мѣтитъ. Посмотримъ лучше на эту картинку, какъ на эмблему постояннаго развитія сатиры, и пожелаемъ ей успѣха.

Но не изсякаетъ ли теперь человѣческій гений? Нерѣдко можно слышать, что прежде, въ отдаленныя отъ насъ времена, великіе люди встрѣчались чаще, а теперь они все рѣдѣютъ. Если при бѣгломъ взглядѣ на исторію вамъ покажется то же самое, не вѣрьте



себѣ. Это оптическій обманъ—обманъ исторической перспективы—вѣдь, когда вы смотрите на рядъ колоннъ, тѣ, которыя отъ васъ дальше, кажутся стоящими ближе другъ къ другу.

Но чтобы сатира была не только фарсомъ, и не только красивой дерзостью артиста,—мало даже таланта; чтобы сатира вызывала къ себѣ довѣріе, писателю нужны еще собственные продуманные, честные взгляды и доброжелательное отношеніе къ человѣку; чтобы имѣть право негодовать, нужно прежде всего умѣть думать и любить, а въ подтвержденіе и въ заключеніе сказаннаго можно привести откровенное признаніе въ любви нашего извѣстнаго

сатирика: къ кому оно обращено, совершенно понятно. Вотъ его слова:

„Да, я люблю тебя ¹⁾, далекій, никѣмъ нетронутый край! Мнѣ милъ твой просторъ и простодушіе твоихъ обитателей. И если перо мое нерѣдко касается такихъ струнъ твоего организма, которыя издають непріятный и фальшивый звукъ, то это не отъ недостатка горячаго сочувствія къ тебѣ, а потому собственно, что эти звуки грустно и болѣзненно отдаются въ моей душѣ. Много есть путей служить общему дѣлу; но, смѣю думать, что обнаруженіе зла, лжи и порока также не бесполезно, тѣмъ болѣе, что предполагаетъ полное сочувствіе добру и истинѣ“.

-----X-----

¹⁾ М. Е. Салтыковъ, т. I.



Мигуель Сервантесъ.

‘ ДОНЪ КИХОТЬ ЛАМАНЧСКІЙ ¹⁾.

Сервантесъ Саваедра, авторъ романа „Донъ Кихоть“, родился (въ 1547 г.) въ бѣдной, но очень родовитой семьѣ, въ небольшомъ городкѣ Алкаль Энаресской, близко отъ Мадрита. Гдѣ онъ учился въ юности, неизвѣстно; есть только довольно ясныя указанія на то, что онъ два года былъ въ Саламанкскомъ университетѣ, и что товарищи и профессора очень любили его. По неизвѣстнымъ причинамъ онъ, 23-хъ лѣтъ отъ роду, очутился въ Римѣ въ должности дворецкаго у одного кардинала, но скоро его оставилъ, поступилъ рядовымъ въ испанскую армію и участвовалъ въ походѣ на турокъ. Здѣсь онъ выказалъ большую храбрость: въ битвѣ при Лепанто, не смотря на мучившую его лихорадку, онъ бодро

¹⁾ Статья эта была прочитана 9 декабря 91 г. въ М. Историческомъ Музеѣ для среднихъ учебныхъ заведеній отъ Коммисіи чтеній при Уч. Отдѣлѣ О. Р. Т. З. — Къ статьѣ имѣется коллекція картинъ для волшебнаго фонаря, которую можно воспользоваться бесплатно.

дрался въ самомъ центрѣ сражавшихся и получилъ рану, которая отмѣтила его на всю жизнь: онъ лишился употребленія лѣвой руки.

Вскорѣ по выходѣ въ отставку онъ былъ захваченъ въ плѣнъ однимъ изъ алжирскихъ крейсеровъ и попалъ въ тяжкую неволю, но не унывалъ и не переставалъ бороться: предпринималъ, ежеминутно рискуя жизнью, цѣлый рядъ попытокъ освободить себя и своихъ товарищей, и, когда ихъ общіе планы открывались, онъ всякій разъ называлъ себя единственнымъ виновникомъ. Четыре раза онъ ожидалъ, что его или сожгутъ, или посадятъ на колъ, а разъ его хотѣли повѣсить и набросили уже ему петлю на шею. Случайно онъ былъ прощенъ и посаженъ на цѣпь.

Наконецъ онъ задумалъ громадное возстаніе всѣхъ плѣнныхъ христіанъ въ Алжирѣ, а ихъ было около 25000, и, хотя проэктъ его не удался, но онъ своею настойчивостью и мужествомъ такъ напугалъ алжирскаго бей, что тотъ сказалъ своимъ приближеннымъ: „Стерегите покрѣпче этого калѣку испанца—тогда и моя столица, и мои невольники, и мои галеры — все будетъ цѣло“.

Наконецъ, послѣ пяти лѣтъ такого суроваго плѣна, онъ былъ выкупленъ своею матерью, оставивъ въ христіанскихъ невольникахъ восторженное воспоминаніе о своемъ великодушій, мужествѣ и вѣрности. Онъ сталъ свободенъ и вернулся на родину, но съ тѣхъ поръ, какъ онъ разстался съ ней, уже прошло 10 лѣтъ— онъ вернулся сюда одинокимъ, безъ друзей и почти безъ куска хлѣба, потому что мать на выкупъ его издержала послѣднія средства. Сервантесъ опять поступаетъ въ полкъ и принимаетъ участіе въ экспедиціи на Азорскіе острова.

Когда ему исполнилось 40 лѣтъ, онъ жилъ въ Севильѣ жена-тымъ, забытымъ калѣкой, и зарабатываетъ хлѣбъ, то управляя небольшими имѣніями, то мелкою адвокатурою, то какъ сборщикъ податей. Въ самой Испаніи его три раза заключали въ тюрьму: одинъ разъ по недоразумѣнію, другой разъ за то, что онъ не собралъ полностью недоимокъ, а въ третій разъ, какъ свидѣтеля убійства, совершеннаго подъ окнами его квартиры, такъ какъ по древнимъ испанскимъ законамъ въ тюрьму заключали даже свидѣтелей, не причастныхъ преступленію, для избѣжанія подкупа.

Только очень незадолго до смерти, послѣ изданія „Донъ Кихота“, денежные средства Сервантеса нѣсколько улучшились.

Всю свою жизнь, исполненную столькихъ страданій, онъ необыкновенно плодovито занимался литературой. Его пьесы давались на сценѣ и были любимы зрителями, романы читались усердно; но самъ Сервантесъ не придавалъ имъ значенія, не завидовалъ успѣху другихъ, не считалъ себя гениемъ, и это въ немъ черта настоящаго гения. Съ безпечноcтью, ему свойственной, Сервантесъ говорилъ, что онъ написалъ на своемъ вѣку либо 20, либо 30 драматическихъ пьесъ, нѣсколько романовъ, новеллъ и довольно много сатиръ. Когда ему указывали на прямыя несообразности въ его „Донъ Кихотѣ“ напр. на то, что онъ иногда забываетъ на ночь опустить солнце, или на то, что Санчо иногда ѣдетъ на своемъ ослѣ, какъ разъ въ то время, когда его украли у него—Сервантесъ отъ души хохоталъ надъ своими промахами, нѣкоторые поправилъ, а нѣкоторые даже не сталъ исправлять—находилъ, что такъ веселѣе.

Не смотря на всѣ свои несчастія, неудачи, тревоги Сервантесъ до старости сохранилъ добродушіе и веселость. За нѣсколько дней до смерти, страдая водяной, онъ написалъ вступленіе къ неизданному роману, исполненное самымъ задушевнымъ юморомъ, хотя, и понималъ, что ему не прожить долѣе ближайшаго воскресенья. „Итакъ“, заканчиваетъ онъ это замѣчательное предисловіе, „прощайте шутки, прощай веселое настроеніе духа, прощайте, друзья: я чувствую, что умираю, и у меня остается только одно желаніе: увидѣть васъ вскорѣ счастливыми на томъ свѣтѣ“.

Четыре дня спустя, онъ умеръ, весной 23-го апрѣля 1616 года, 68-ми лѣтъ отъ роду. Монастырь, въ которомъ его похоронили, былъ перенесенъ въ другую часть города, и Испанія не знаетъ теперь, гдѣ похороненъ Сервантесъ.

Всѣ произведенія Сервантеса отражаютъ въ себѣ его прекрасную личность, всѣ написаны не безынтересно, но мировое значеніе получилъ только его романъ „Донъ Кихотъ Ламанчскій“, хотя онъ и направленъ противъ временнаго литературнаго явленія, а именно противъ рыцарскихъ романовъ.

Рыцарство въ XVII вѣкѣ уже исчезало и было извѣстно ско-

рѣе только по воспоминаніямъ, и рыцарскіе романы передавали эти воспоминанія въ очень искаженномъ видѣ. Описываемыя въ этихъ сочиненіяхъ рыцарскія времена представлялись фантастическимъ вѣкомъ, въ которомъ благородные, высокорожденные люди въ блестящемъ вооруженіи на горячихъ и сильныхъ коняхъ выѣзжали на поединки и сидѣли на сѣдлахъ, точно колоссы изъ металла. Всѣ эти рыцари были горды и храбры; вѣрные оруженосцы идутъ за своихъ господъ на смерть, а стройныя дѣвы раздають на турнирахъ награды побѣдителямъ и любятъ рыцарей сердечно.

Эти рассказы представляли очень однообразную передѣлку старинныхъ рыцарскихъ легендъ и были переполнены небылицами. Вотъ, на примѣръ, слова Донъ-Кихота по ихъ поводу: „Скажите, можетъ ли что-нибудь сравниться съ наслажденіемъ видѣть такую восхитительную картину: передъ вами кипящее смоляное озеро, кипящее змѣями, ящерицами, ужами и другими ядовитыми, отвратительными чудовищами, и вдругъ изъ глубины его слышится горестный умоляющій звукъ: „О, кто бы ты ни былъ, рыцарь! и т. д.“. Далѣе рассказывается, какъ рыцарь внизъ головой бросается въ это кипящее смоляное озеро и... Вы думаете, онъ погибаетъ? Нисколько—онъ попадаетъ въ восхитительнѣйшій садъ, гдѣ солнце сіяетъ особеннымъ блескомъ, гдѣ летаютъ феи, гдѣ цвѣтутъ чудныя растенія. Особенно любили рассказывать въ этихъ романахъ о побѣдахъ одного рыцаря надъ цѣлыми полчищами великановъ, чудовищъ и надъ могущественными государствами.

Эти книги, хотя и имѣли въ свое былое время образовательное значеніе и вносили въ грубую жизнь много гуманнаго, для XVII вѣка были уже запоздавшимъ явленіемъ и дурно вліяли на человѣка: онѣ рисовали ему какъ будто лучшій міръ, манили его туда, сулили ему праздную, полную блеска, ложную, придуманную жизнь, отучали человѣка искать дѣла и счастья среди обыкновенныхъ людей, вносить въ ихъ жизнь хорошее и великодушно бороться со зломъ, поселяли недовольство этой жизнью, которая одна только и есть настоящая жизнь.

Вредъ этихъ книгъ былъ тѣмъ сильнѣе, что ими всѣ зачитывались, что это была общая страсть и молодежи, и людей зрѣлаго возраста, и это было не только въ самой Испаніи: Португа-

лія, Франція, Італія, Германія и особливо Іспанскія колоніи увлекались этой литературой; она отразилась даже у насъ въ Россіи и извѣстная напимѣръ, сказка: „Бова Королевичъ“ есть только передѣлка одного стараго италіанскаго романа.

Самой большой извѣстностью пользовались романы: „Тристанъ“, „Трималеонъ“, „Флоризанда“, „Крестовый рыцарь“ и особенно „Амадисъ Гальскій“, представляющій искаженіе старыхъ бретонскихъ легендъ и преданій. Увлеченіе ими доходило до смѣшного. Рассказываютъ, что одинъ дворянинъ, вернувшись домой съ охоты, услышалъ вопли жены, дочерей и ихъ служанокъ; удивленный и опечаленный, онъ спросилъ ихъ, не умеръ ли кто изъ дѣтей или родственниковъ? „Нѣтъ“, отвѣчали онѣ, рыдая. — „Такъ отчего же вы такъ плачете? — „Ахъ!“ отвѣчали онѣ: „Амадисъ умеръ“. Онѣ только что дочитали романъ.

Разъ одинъ дворянинъ клялся надъ Евангеліемъ, что онъ считаетъ всего „Амадиса“ за истинную исторію, а нѣкоторые читатели рыцарскихъ книгъ старались даже осуществлять прочитанное въ рыцарскихъ книгахъ; такъ, однажды такой читатель сталъ на мосту и рѣшилъ не пропускать никого черезъ этотъ мостъ, но, конечно, былъ сбитъ, и его попытка кончилась для него печально.

Во времена Сервантеса въ Испаніи находилось уже много людей, которые понимали вредъ этой литературы, но большинство было за нее, и никакія правительственныя распоряженія не могли остановить этого увлеченія, и, вотъ, Сервантесу пришла въ голову счастливая мысль представить въ смѣшномъ видѣ и рыцарскіе романы, и увлеченіе ими, и для этой насмѣшки онъ выбралъ форму романа ¹⁾.

Мѣсто дѣйствія своего романа онъ перенесъ изъ области сказки въ дѣйствительность. Взялъ обыкновенную обстановку жизни въ Испаніи и въ ней заставилъ дѣйствовать своего рыцаря, и, конечно, этимъ сейчасъ же обнаружилъ всю ложь и нелѣпость рыцарскихъ книгъ.

Чтобъ усилить впечатлѣніе, онъ воспользовался контрастомъ.

¹⁾ Первое изданіе романа Донъ Кихотъ появилось въ Мадридѣ въ 1605 г. Сервантесъ задумалъ и началъ писать его уже въ старости, сидя въ тюрьмѣ.

Въ богатой и красивой Испаніи Сервантесъ родиной для своего героя выбралъ Ламанчъ; это самая нищая страна во всей Испаніи; она представляетъ безконечную, однообразную и неплодородную равнину, наводящую тоску на всякаго путешественника.

Его герой не имѣеть блестящей внѣшности. Это одинъ изъ тѣхъ мелкопомѣстныхъ испанскихъ дворянъ, у которыхъ почти все имущество состоятъ изъ стариннаго щита, копья на палкѣ, тощей клячи и гончей собаки; ему уже около пятидесяти лѣтъ, онъ худъ, сухошавъ, некрасивъ, отличается крѣпкимъ здоровьемъ и все свободное время, т. е. круглый годъ, съ наслажденіемъ (Сервантесъ прибавляетъ: „непонятнымъ“) предается чтенію рыцарскихъ книгъ и, наконецъ, дочитывается до того, что воображаетъ себя странствующимъ рыцаремъ, строить себѣ домашними средствами довольно странное вооруженіе и рѣшаетъ ѣхать искать подвиговъ.

Его конь называется „кляча“ — поиспански Руссинантъ — „такой длинный, длинный и тощій, съ такою выдающейся шеей и чахоточной мордой, что вполнѣ оправдывалъ свое названіе; онъ не мастеръ былъ галопировать; по крайней мѣрѣ, никто никогда не видалъ его галопирующимъ, и отличался безпримѣрнымъ терпѣніемъ“.

Оруженосецъ Донъ Кихота не имѣеть ничего воинственнаго — это самый обыкновенный, на видъ простоватый крестьянинъ. Онъ заявилъ Донъ Кихоту, что иначе не поѣдетъ съ нимъ, какъ на своемъ любимомъ ослѣ, что уже совсѣмъ не подходило къ оруженосцу, но Санчо такъ любилъ своего осла, такъ настаивалъ на своемъ желаніи, что Донъ Кихоть долженъ былъ согласиться. Названіе „оруженосецъ“ не совсѣмъ подходило къ Санчо Пансо — его скорѣе можно было назвать провизіеносцемъ, такъ какъ онъ носилъ съ собой только сумку съ съѣстными припасами, предметъ особенныхъ его заботъ: онъ любилъ поѣсть и всегда облизывалъ даже бумажки, въ которыя была завернута провизія.

Эта странная пара тайкомъ на разсвѣтѣ выбирается изъ родного села, — Донъ Кихоть, которому чудятся вездѣ великаны, волшебники и полчища враговъ, съ которыми онъ жаждалъ сразиться, и довольно безпечный, не совсѣмъ понимающій свое положеніе Санчо Пансо, мечтающій о доходахъ съ острова, который завою-

еть его господинъ. Конечно, всѣ встрѣчные смотрятъ на нихъ съ изумленіемъ. Какъ извѣстно, приключенія не заставили себя долго ждать, такъ какъ, гдѣ только появлялся Донъ Кихоть, тамъ непременно было и приключеніе.

Донъ Кихоть принялъ вѣтряныя мельницы съ вертящимися



крыльями за громаднѣхъ великановъ, размахивающихъ руками, бросился на нихъ съ копьемъ на перевѣсь, и его откинуло и расшибло крыломъ первой же мельницы. Стадо овецъ онъ принялъ за войска, и въ его головѣ создалась сейчасъ же цѣлая исторія. „Санчо“, говорилъ Донъ Кихоть, „развѣ не слышалъ ты ржанія коней, звуковъ барабановъ и трубъ?“

— Ничего не слышу, кромѣ блеянія барановъ и овецъ—отвѣчалъ Санчо.

Донъ Кихоть пришпорилъ Россинанта.

— Стойте! стойте! кричалъ ему Санчо. „Клянусь Богомъ, вы нападаете на барановъ! Ради Создателя воротитесь назадъ! Ну гдѣ вы видите рыцарей, великановъ, воиновъ, лазурные щиты? Да тутъ никакого чорта нѣтъ, кромѣ барановъ. Что вы дѣлаете? Ради Бога!

Крики эти не остановили однако Донъ Кихота, кричавшаго еще громче: „Мужайтесь, рыцари, воюющіе подъ знаменемъ славнаго императора Пентаполина — Обнаженная рука! Мужайтесь! Слѣдуйте за мною—и вы увидите, какъ скоро и легко я отомщу врагу его!“

Въ ту же минуту онъ напалъ съ копьемъ своимъ на несчастныхъ барановъ и началъ колоть ихъ съ остервенѣніемъ.

Точно также въ другой разъ онъ вомчался въ середину стада быковъ, которыхъ гнали въ циркъ для боя торреадоровъ, и все также принималъ ихъ за какіе-то непріятельскіе полки.

Естественно, что Донъ Кихоть и его оруженосецъ дорого платятся за свои подвиги, вѣрнѣе — за такія нападенія на большой дорогѣ; побои сыплются на нихъ градомъ, и, конечно, ихъ имѣлъ въ виду Донъ Кихоть, когда говорилъ герцогинѣ: „Тѣло у меня довольно нѣжное и нисколько не неуязвимое; это мнѣ извѣстно по опыту“.

Всѣ приключенія, всѣ тяжелыя и смѣшныя положенія, въ которыя попадаетъ Донъ Кихоть, даютъ понять читателю, въ какія нелѣпыя отношенія можетъ стать человѣкъ, сколько вреда онъ можетъ причинить и себѣ, и другимъ, если забудетъ о дѣйствительности; проклятія посыплются на его голову.

„Мое призваніе“, говоритъ Донъ Кихоть бакаллаву, выбитому имъ изъ сѣдла: „заключается въ томъ, чтобы странствовать по землѣ, возстановляя правду и мстя за обиды“.

— Я не знаю, что вы разумѣете подъ возстановленіемъ правды, отвѣчалъ бакаллавръ, такъ какъ изъ прямого, какимъ я былъ до сихъ поръ, вы меня сдѣлали хромымъ и кривымъ. Вы видите, по вашей милости я здѣсь валяюсь со сломанной ногой, и она уже никогда не выпрямится.

Весь романъ представляетъ непринужденную вереницу смѣшныхъ

карикатуръ, преслѣдующихъ временныя цѣли—осмѣяніе героев и читателей рыцарскихъ книгъ. Приключенія Донъ Кихота были особенно животрепещущи и смѣшны для его современниковъ, но романъ этотъ существуетъ уже около 300-хъ лѣтъ и до сихъ поръ читается съ удовольствіемъ, и это потому, что Сервантесъ невольно, благодаря своему гению, не ограничился только сатирой, но изобразилъ въ своемъ произведеніи и много живыхъ и вѣчныхъ сторонъ жизни человѣка, „вдохнулъ въ него неумирающую жизнь“. Какъ настоящее художественное произведеніе, романъ Сервантеса допускаетъ безконечное множество толкованій, большинство которыхъ не могло притти въ голову самому автору; нѣкоторыя изъ нихъ очень противорѣчатъ другъ другу, но остаются каждое въ своемъ родѣ справедливымъ, потому что въ вѣрномъ изображеніи жизни всякій воленъ, какъ и въ самой жизни, искать тѣхъ сторонъ, которыя наиболѣе понятны ему самому.

Донъ Кихотъ — сумасшедшій. Но главное ли это въ романѣ? Конечно, нѣтъ: потеря разсудка Донъ Кихотомъ черта важная въ карикатурѣ на людей, стремящихся къ сверхъестественному, но Донъ Кихотъ не только карикатура.

Вотъ какъ онъ рекомендуется бакалавру Алонзо Лопесъ, котораго онъ выбилъ изъ сѣдла: „Я странствующій рыцарь, Донъ Кихотъ Ламанчскій, обрекшій себя на служеніе добру, на возстановленіе правды и поправленіе зла, которое я неуспѣшно отыскиваю, странствуя по свѣту“. Такимъ образомъ, это—человѣкъ, который твердо рѣшилъ претерпѣть всѣ лишенія и опасности, и у котораго дѣйствительно хватило мужества, не смотря на всѣ невзгоды, неустанно преслѣдовать свой идеалъ, и въ правильности своего идеала Донъ Кихотъ такъ глубоко убѣжденъ, что это даетъ ему возможность не терять спокойствія ни въ опасныхъ, ни, что еще труднѣе, въ смѣшныхъ положеніяхъ. „Всѣ съ удивленіемъ, рассказываетъ Сервантесъ, смотрѣли на это сухое и желтое, въ поларшина длины лицо, на этотъ сборъ разнокалибернаго оружія, на эту спокойную, величественную осанку“. Это спокойствіе и отсутствіе боязни насмѣшки очень крупная черта въ Донъ Кихотѣ и вытекаетъ изъ глубины убѣжденія. Только сомнѣвающийся человѣкъ приметъ къ сердцу насмѣшку—человѣкъ, вѣрящій въ истинность своихъ взгля-

довъ, всегда станетъ выше ея, и это даетъ ему возможность развивать свои самыя дорогія, самыя личныя, свои собственныя мысли, которыя современемъ могутъ оказаться и вовсе не такими смѣшными. „Одинъ англійскій лордъ, хорошій судья въ этомъ дѣлѣ, говоритъ Тургеневъ, называлъ при насъ Донъ Кихота образцомъ настоящаго джентльмена. Дѣйствительно, если простота и спокойствіе обращенія служатъ отличительнымъ признакомъ такъ называемаго порядочнаго человѣка, то Донъ Кихотъ имѣетъ полное право на это названіе. Онъ истинный аристократъ даже тогда, когда насмѣшливыя служанки герцога намыливаютъ ему все лицо. Донъ Кихотъ не занятъ собою и, уважая себя и другихъ, не думаетъ рисоваться“. Санчо Пансо, его оруженосу, очень чуткому ко всякой искусственности, не нравится только одна сторона его обращенія съ людьми, это рыцарская свѣтскость, которую Санчо называетъ угодливіостью.

Но эта условность обхожденія не мѣшаетъ Донъ Кихоту быть совершенно искреннимъ и очень дружелюбно смотрѣть на людей; въ его представленіи все зло, которое существуетъ на землѣ, происходитъ не отъ самихъ людей, а скорѣе отъ злыхъ волшебниковъ, великановъ и какихъ-то сверхъестественныхъ рыцарей, съ которыми онъ всю жизнь ведетъ войну, а встрѣчаясь лицомъ къ лицу съ людьми, по его мнѣнію, не заколдованными, онъ считаетъ каждого такимъ же добрымъ и честнымъ, какимъ былъ онъ самъ. „У него голубиное сердце“, говоритъ Санчо, „онъ не умѣетъ умышленно причинить зла никому, но всѣмъ дѣлаетъ доброе и нѣтъ у него ни малѣйшаго лукавства. И такая наивность происходитъ не отъ глупости, а отъ прямоты и честности его природы, которая не можетъ и заподозрить обмана въ другихъ, не имѣя его въ самой себѣ. „Вотъ за эту то простоту, прибавляетъ онъ, я и люблю его и не могу рѣшиться покинуть, какія бы глупости онъ ни дѣлалъ“.

Въ своей борьбѣ съ сверхъестественными рыцарями, великанами и разными чудовищами, Донъ Кихотъ глубоко вѣритъ въ ихъ существованіе, и, безъ сомнѣнія, не задумался бы броситься на враговъ, сколько бы ихъ ни было, если бы встрѣтился съ ними въ дѣйствительности. Его мужество вѣдъ всякаго подозрѣнія,

и онъ доказалъ его избытокъ однимъ, бесполезнымъ впрочемъ его проявленіемъ, которое окончилось нелѣпо, какъ всякое бесполезное проявленіе силы.

Онъ потребовалъ разъ, чтобы ему открыли фургонъ, въ которомъ былъ запертъ большой левъ. Вотъ какъ рассказываетъ это Сервантесъ.

„Услышавъ это, Санчо со слезами на глазахъ сталъ умолять своего господина отказаться отъ ужаснаго предпріятія, въ сравненіи съ которымъ и вѣтряныя мельницы, и все остальные приключенія рыцаря были сушею благодатью небесной.

— Одумайтесь, ради Бога, одумайтесь, ваша милость, говорилъ Санчо, здѣсь, право, нѣтъ никакихъ очарованій и ничего похожего на нихъ. Я собственными глазами видѣлъ за рѣшеткою лапу настоящаго льва и, судя по этой лапицѣ, думаю, что весь левъ долженъ быть больше иной горы. Донъ Кихоть спрыгнулъ съ коня, кинулъ копьё, прикрылся щитомъ, обнажилъ мечъ и твердымъ увѣреннымъ шагомъ, полный дивнаго мужества, подошелъ къ телѣгѣ, поручая душу свою Богу и Дульцинеѣ. Когда приставленный смотрѣть за львами человекъ увидѣлъ, что Донъ Кихоть стоитъ уже готовый къ битвѣ, и что, волеюневолей, нужно приступить къ дѣлу, дабы не подвергнуться гнѣву смѣлаго рыцаря, онъ отворилъ наконецъ обѣ половины клѣтки, и тутъ взорамъ Донъ Кихота представился левъ ужасной величины и еще болѣе ужаснаго вида. Въ растворенной клѣткѣ онъ повернулся впередъ и назадъ, разлегся во весь ростъ, вытянулъ лапы и выпустилъ когти, спустя немного раскрылъ пасть, слегка зѣвнулъ и, вытянувъ фута на два языкъ, облизалъ себѣ и глаза и лицо, потомъ высунулъ изъ клѣтки голову и обвелъ кругомъ своими горящими, какъ уголь, глазами. Затѣмъ великодушный левъ, болѣе снисходительный, чѣмъ яростный, не обращая вниманія на людскія шалости, поглядѣвъ направо и налево, повернулся задомъ къ Донъ Кихоту и съ удивительнымъ хладнокровіемъ разлегся попрежнему.“

Этимъ и кончилось это странное и опасное приключеніе.

Конечно, и мужество, и дружелюбное отношеніе къ людямъ даютъ значительную свободу Донъ Кихоту, но что особенно ее увеличиваетъ, такъ это его равнодушіе къ материальнымъ удоб-

ствамъ и благамъ, и въ этомъ отношеніи онъ настоящій спарта-нецъ: онъ готовъ питаться какими-то травами и кореньями, переносить спокойно боль и лѣчить свои увѣчья какимъ-то бальзамомъ собственнаго спартанскаго приготовленія, и напоминаетъ въ этомъ отношеніи людей призванія и убѣжденія, которые обыкновенно мало замѣчаютъ матеріальную дѣйствительность. Онъ живетъ во ображеніемъ: онъ восторженно относится къ дамѣ своего сердца—крестьянкѣ и считаетъ ее первѣйшей принцессой и красавицей въ мірѣ, показываетъ всѣмъ цидульничій тазъ съ отломаннымъ краемъ, въ полной увѣренности, что это настоящій волшебный шлемъ Мамбрена.

Тургеневъ по поводу этого задаетъ такой вопросъ: „Кто изъ насъ можетъ, добросовѣстно спросивъ себя, свои прошедшія, свои настоящія убѣжденія, кто рѣшится утверждать, что онъ всегда и во всякомъ случаѣ различить и различалъ цидульничій оловянный тазъ отъ волшебнаго золотого шлема?“

Иначе не было бы разочарованій.

Донъ Кихоть представитель увлеченія, а оно дѣлаетъ человѣка глухимъ и слѣпымъ ко всему окружающему. Всѣмъ извѣстно, что увлеченіе ведетъ человѣка къ одностороннимъ взглядамъ и, слѣдовательно, къ ошибкамъ, и это, конечно, вѣрно. Но у увлеченія есть и положительныя стороны: оно заставляетъ человѣка забыть о себѣ, напрягать всѣ свои силы до предѣловъ возможнаго и оно сосредоточиваетъ эти силы на одномъ предметѣ, а потому увлеченіе производительно—въ немъ много творчества и оно заставляетъ человѣка чистосердечно, безкорыстно и съ энергіей служить идеѣ и дѣлу.

И если посмотрѣть на Донъ Кихота съ этой точки зрѣнія, то можно забыть объ его смѣшныхъ сторонахъ, и Сервантесъ, дѣйствительно, во 2-й части романа залюбовался своимъ героемъ, раскрылъ передъ читателемъ душевную красоту Донъ Кихота и поставилъ его гораздо выше издѣвающихся надъ нимъ, красиво поставленныхъ въ жизни людей: здѣсь Донъ Кихоть вырастаетъ, достигаетъ величія во дворцѣ герцога, и насмѣшка надъ нимъ кажется безбожнымъ преступленіемъ, особенно со стороны окружающихъ его, повидимому, образованныхъ и благовоспитанныхъ людей, хотя, впрочемъ, грубыхъ по существу, какъ это бываетъ.

Таковъ Донъ Кихотъ Ламанчскій. Но нѣтъ возможности представить себѣ Донъ Кихота безъ того, чтобы въ умѣ не возникла и фигура его жирнаго оруженосца на низенькомъ ослѣ. Онъ совершенно неотдѣлимъ отъ своего господина и иногда даже мѣняется съ нимъ ролями. Введеніемъ такого сильнаго и положительнаго представителя простого народа въ рыцарскій дворянскій романъ Сервантесъ внесъ много новаго въ современную ему литературу и воспользовался этимъ широко не только какъ контрастомъ, (Санчо не всегда противоположенъ Донъ Кихоту), но съ любовью нарисовалъ эту жизненную и трезвую личность. Санчо не ропщетъ, что онъ не дворянинъ, доволенъ своимъ положеніемъ и слѣдуетъ за Донъ Кихотомъ не только изъ-за выгоды, но и вслѣдствіе безкорыстной привязанности и вѣры въ своего господина, къ тому же ему отчасти не даетъ покою его любовь къ бродячей жизни. Его довольство своимъ происхожденіемъ сказалось въ особенности во время его губернаторства, когда онъ спросилъ у своего придворнаго: „А кого здѣсь величаютъ „дономъ Санчо Панса“?“ — Вашу свѣтлость, конечно, такъ какъ никто другой не садился на это кресло. — „Ну, такъ знайте, другъ мой, что я не обладаю титуломъ дона, и никто изъ моей фамиліи не носилъ его. Меня зовутъ по-просту Санчо Панса. Санчо назывался мой отецъ, и Санчо было имя моего дѣда, и всѣ мы были Панса—безъ всякихъ доновъ.“

Онъ большой нѣженка; любить мягко спать и сладко ѣсть, и въ своемъ стремленіи къ наживѣ составляетъ иногда дѣйствительную противоположность своему господину. Когда они разъ нашли на дорогѣ въ лѣсу чемоданъ, а въ немъ деньги, между ними произошла слѣдующая сцена. „Если у насъ, говорилъ Донъ Кихотъ, можетъ зародиться хотя мысль о томъ, что встрѣченный нами неизвѣстный человѣкъ хозяинъ найденныхъ нами денегъ, мы должны отыскать его и возвратить, что ему принадлежит“, а Санчо разсматривалъ чемоданъ и подушку, обшарилъ въ нихъ всѣ углы, всѣ складки; распоролъ всѣ швы, разглядѣлъ и ощупалъ всякій кусокъ ваты и, какъ извѣстно, присвоилъ себѣ эти деньги. При этомъ Санчо обладаетъ очень добрымъ сердцемъ: онъ считаетъ, на примѣръ, охоту жестокой и безнравственной забавой и не понимаетъ удовольствія людей, которые убиваютъ звѣрей, „не

причиняющимъ имъ зла“. Особенно характерна его привязанность къ своему сивому ослу. Когда они встрѣтились разъ послѣ долгой разлуки, Санчо, при всей своей неуклюжести, побѣжалъ къ нему, обнялъ его и сказалъ: „Ну, какъ здоровье твое, дѣтище любимое мое, дорогой товарищъ, сердце мое, ненаглядный осликъ?“ и съ этими словами онъ цѣловалъ и ласкалъ его, какъ будто тотъ былъ разумнымъ существомъ. Осель молчалъ, не зная, что сказать, и принималъ ласки и поцѣлуи Санчо, не отвѣчая ни слова. А когда разъ Санчо и осель вмѣстѣ провалились въ глубокую яму, Санчо отдалъ своему другу послѣдній кусокъ хлѣба и сказалъ ему, какъ будто животное могло его понять: „Когда есть хлѣбъ, легче перенести горе“. Очень естественно, что при такой мягкости характера Санчо Панса любить музыку и нерѣдко говорить, что „тамъ, гдѣ музыка, не можетъ быть ничего худого“. Санчо Панса, въ противоположность Донъ Кихоту, который постоянно воображаетъ себя рыцаремъ, между тѣмъ какъ въ сущности онъ просто умный, добрый и очень мирный человѣкъ, — Санчо Панса всегда естествененъ: онъ непринужденъ и въ конюшнѣ осла и во дворцѣ герцога. Во время торжественнаго приѣма онъ обращается къ придворной дуэньѣ, проситъ позаботиться о своемъ миломъ ослѣ, отвести его въ стойло, задать ему корму и прибавляетъ: „Нужно вамъ только сказать, что онъ немного трусливъ и, если увидитъ себя одного, то я право не знаю, что станетъ съ нимъ бѣднымъ.“

— Вы не получите отъ меня ничего кромѣ фиги, грубый невѣжа.

— Если этой фигѣ, возразилъ Санчо, нисколько не смущаясь, столько же лѣтъ, какъ вашей милости, то она довольно перерѣлая.

Ошибочно было бы думать, что Санчо руководствуется въ жизни только корыстными цѣлями; что это было не такъ, доказываютъ многіе эпизоды романа, которые убѣдительно обнаруживаютъ очень идеальныя движенія въ душѣ Санчо Панса. Когда онъ разъ заикнулся Донъ Кихоту, что не худо было бы ему получать жалованье, оскорбленный Донъ Кихоть сказалъ: „Ну, чтожь? Такъ какъ Санчо не удостоиваетъ слѣдовать за мною, мнѣ придется воспользоваться первымъ попавшимся оруженосцемъ“.

— Нѣтъ, нѣтъ! я удостоиваю, воскликнулъ Санчо Панса со слезами на глазахъ, слава Богу, я не принадлежу къ племени не-

благодарныхъ — и затѣмъ они обнялись и остались прежними друзьями.

Особенно выступаютъ лучшія стороны Санчо при его разставаніи съ губернаторствомъ на островѣ Баратарія; онъ не могъ вынести этого новаго положенія: оно было совсѣмъ чуждо ему и слишкомъ стѣсняло—онъ рѣшилъ уйти изъ дворца, пошелъ въ конюшню вмѣстѣ со всѣми присутствующими, приблизился къ своему неизмѣнному ослу, обнялъ его и сказалъ: „Когда я жилъ вмѣстѣ съ тобою, счастливы были мои часы, мои дни и годы. Но съ тѣхъ поръ какъ мы разстались, и я пошелъ по дорогѣ тщеславія и суетности, душу мою терзаютъ тысячи страданій, тысячи несчастій и четыре тысячи заботъ“. Санчо взнуздаль осла, сѣлъ на него и провнесъ среди глубокаго молчанія придворныхъ и толпы гражданъ: „Доброй ночи, господа! я прошу васъ доложить герцогу, моему повелителю, что нагъ я родился и нагъ умру, я ничего не выигралъ и ничего не потерялъ. Ни копейки у меня не было за душой, когда я принималъ государство, и вотъ теперь, когда я оставляю его, у меня нѣтъ ни гроша. Разступитесь же и дайте мнѣ дорогу! Придворные просили его остаться; всѣ обнимали его, и онъ обнималъ всѣхъ со слезами, и граждане удивлялись его мудрой и непоколебимой рѣшимости. Онъ попросилъ себѣ только полсыра, да немного овса ослу, и тѣ онъ отдалъ по дорогѣ голоднымъ странствующимъ монахамъ, которые попросили у него милостыни, да притомъ въ простотѣ сердца еще извинялся передъ ними, что „больше у него ничего нѣтъ съ собою“.

Не даромъ Донъ Кихотъ сказалъ разъ своему оруженосцу: „Да, Санчо, ты достоинъ быть произведеннымъ въ рыцарское достоинство“.

Посреди всѣхъ умныхъ и трезвыхъ людей въ этомъ романѣ, начиная отъ трактирщика и кончая герцогомъ, все-таки Донъ Кихотъ и Санчо Панса, несмотря на всѣ свои чудачества, являются самой привлекательной парой, и виной тому ихъ простодушіе, довѣрчивость, чистота ихъ сердца, искренняя и безкорыстная дружба, и поэзія ихъ жизни; гдѣ они, тамъ или приключеніе, или веселье и смѣхъ; даже между Россинантомъ Донъ Кихота и ослomъ Санчо Панса существуетъ параллель, и животныя эти до нѣкоторой степени суть символическіе представители своихъ всадниковъ.

Какъ извѣстно, странствованія ихъ окончились очень печально: надъ Донъ Кихотомъ одержалъ побѣду рыцарь серебряной луны. Гейне говоритъ, что онъ никогда не забудетъ того дня, когда прочелъ о печальномъ поединкѣ, въ которомъ такъ позорно палъ благородный рыцарь, и передаетъ свое впечатлѣнiе слѣдующими



словами: „Былъ пасмурный день; безобразныя облака бродили по сѣрому небу, желтыя листья болѣзненно отрывались отъ деревьевъ; тяжелыя капли слезъ висѣли на послѣднихъ цвѣтахъ, соловьи давно уже перестали пѣть; со всѣхъ сторонъ окружала меня картина разрушенія, и сердце мое надрывалось, когда я читалъ, какъ оглушенный, измятый рыцарь лежалъ на землѣ и, не поднимая забрала, какъ будто изъ гроба, слабымъ, болѣзненнымъ голосомъ

воскликнулъ къ побѣдителю: „Дульдиня прекраснѣйшая изъ женщинъ, а я несчастнѣйшій изъ рыцарей; но слабость моя не должна отвергать этой истины. Колите копьемъ вашимъ, рыцарь!“

„Ахъ! этотъ блестящій рыцарь серебрянаго мѣсяца, побѣдившій храбрѣйшаго и благороднѣйшаго на свѣтѣ мужа, былъ переодѣтый цирюльникъ!“.....

Усталые и измученные Донъ Кихоть и Санчо Пансо, попранные



Смерть Сервантеса.

стадомъ свиней, разочарованные, съ разбитыми надеждами повернули и отправились въ обратный путь, въ свои родныя мѣста, гдѣ ихъ ждала, какъ въ сказкѣ „О рыбацкѣ и рыбкѣ“:

Простая землянка
А передъ ней разбитое корыто.

Донъ Кихота уложили на его старой, со скрипомъ кровати, и онъ, всѣми оплакиваемый, умеръ, признавъ передъ смертью всѣ рыцарскія книги ложью, но не отказавшись отъ стремленія помогать людямъ не мечемъ, а другими путями.

Такъ окончила существованіе прекрасная нравственная сила, которая была вредна и смѣшна, и растратилась напрасно только

потому, что была дурно приложена, и, конечно, дала бы иные результаты, если бы ее употребили разумно, какъ это бываетъ и въ жизни, гдѣ Донъ Кихоты встрѣчаются, конечно, не въ полномъ размѣрѣ (не надо забывать, что Донъ Кихотъ всетаки литературная фигура, имѣвшая опредѣленные цѣли). Обыкновенно такимъ людямъ трудно живется; имъ можно пожелать поменьше глумленія невѣждъ, побольше знанія жизни, побольше сочувствія, привѣта и счастья на ихъ вѣчно тернистомъ пути.

Если бы нужно было указать въ дѣйствительности человѣка, который былъ бы особенно близокъ по своему нравственному складу и къ Донъ Кихоту, и къ Санчо Панса, то ближайшимъ къ нимъ лицомъ, братомъ по духу, можетъ быть названъ самъ авторъ романа—Сервантесъ. Ко всему сказанному прибавлю еще одно. Когда Донъ Кихотъ, опустивши забрало, съ копьемъ на перевѣсѣ, закованный въ латы, выѣзжаетъ на своемъ Россинантѣ и собирается завоевать мечомъ весь міръ, и восклицаетъ: „Я одинъ стою ста“—онъ намъ жалокъ и смѣшонъ: одинъ въ полѣ не воинъ; но есть одна область человѣческой дѣятельности, гдѣ одинъ, дѣйствительно, можетъ стоять ста. Это—область науки и искусства; здѣсь тотъ, кто владѣетъ истиной, непобѣдимъ.

Ложныхъ мнѣній всегда очень много, а истина всегда одна и всегда торжествуетъ надъ безчисленной ложью, и примѣромъ тому можетъ служить успѣхъ разбираемаго романа. Много людей увлекалось рыцарскими книгами и находило ихъ чудесными; никакія, даже правительственныя, мѣры не могли остановить этого увлеченія, и это сдѣлала одна правдивая и гениальная шутка: она открыла всѣмъ глаза и показала, что рыцарская литература—„не волшебный шлемъ Мамбрина, а оловянный пирульничій тазъ съ отломаннымъ краемъ“; и вотъ какъ, разставаясь съ читателемъ, выражаетъ это самъ Сервантесъ: „Единымъ моимъ желаніемъ было предать всеобщему посмѣянію сумасбродныя, лживыя рыцарскія книги и, пораженныя на смерть истинною исторіей моего Донъ Кихота, онѣ тащатся, уже пошатываясь и скоро падутъ, и во вѣки не подымутся“.





ДАНИЕЛЬ ДЕФО И ЕГО РОМАНЪ „РОБИНЗОНЪ КРУЗО“.

Первоначальный текстъ романа „Робинзонъ Крузо“ и судьба англичанина, который его написалъ, мало извѣстны русской молодежи: большинство довольствуется цѣлой вереницей самыхъ разнообразныхъ подражаній и передѣлокъ этого романа, на которыхъ нерѣдко опускается даже имя Дефо; между тѣмъ и подлинный „Робинзонъ“, и жизнь и личность его автора заслуживаютъ вниманія.

Познакомимся сначала съ самимъ писателемъ, а потомъ разсмотримъ поближе его романъ.

Наружность Дефо обстоятельно передана въ одномъ официальномъ документѣ; этотъ документъ—объявленіе англійскаго правительства о наградѣ тому, кто укажетъ мѣстопребываніе Дефо, который обвинялся въ составленіи рѣзкаго, насмѣшливаго сочиненія. Его примѣты въ этомъ объявленіи слѣдующія: „Онъ сред-

няго роста, худощавъ, около 40 лѣтъ отъ роду; лицо смуглое, волосы темно-каштановые, но носить парикъ; глаза сѣрые, носъ съ горбиной, подбородокъ острый, надъ угломъ рта большая родинка“. Достоинство этого описанія заключается въ точности, но, конечно, сухой перечень примѣтъ, пригодный для отысканія Дефо, еще не передаетъ того огня, который загорался въ этихъ чертахъ въ минуты воодушевленія.

Сумму, которою была оцѣнена голова Дефо, трудно выразить точно, потому что цѣнность денегъ съ тѣхъ поръ измѣнилась; можно сказать только, что эта сумма въ десять разъ превышаетъ ту ничтожную сумму, которую выручилъ Дефо за Робинзона.

Самъ про себя Дефо говоритъ: „Тринадцать разъ я былъ богатъ и тринадцать разъ впадалъ въ нищету, при чемъ не однажды испыталъ переходъ изъ королевскаго кабинета въ Ньюгетскую тюрьму“.

Личность Дефо, по изслѣдованіямъ новѣйшихъ его біографовъ, не представляется такою безукоризненною, какою она изображалась до послѣдняго времени; его настойчиво обвиняють теперь, и не безъ основаній, въ томъ, что онъ мало стѣснялся въ средствахъ полемики и игралъ двойную игру въ партійныхъ отношеніяхъ виговъ и торіевъ; но при всей неблаговидности этой стороны его дѣятельности, нельзя забывать благородной и воодушевленной его дѣятельности до перваго заключенія въ Ньюгетской тюрьмѣ и до выставленія у позорнаго столба; и нельзя представить себѣ, чтобы личность, такъ много общавшая въ первую половину своей жизни, могла такъ совершенно переродиться. По крайней мѣрѣ, отраженіе ея въ первой и лучшей части „Робинзона“ имѣетъ много привлекательнаго.

Даніель Дефо родился въ Лондонѣ 224 года тому назадъ въ 1661 году, слѣдовательно, когда въ Россіи царствовалъ Алексѣй Михайловичъ. Продолжительная, семидесятилѣтняя жизнь Дефо прошла при одной королевѣ и при четырехъ короляхъ, и изъ нихъ только при одномъ—при Вильгельмѣ Оранскомъ, протестантѣ и другѣ своемъ—онъ видѣлъ счастливые дни, остальные царствованія были временемъ недружелюбнаго отношенія къ протестантамъ, и для Дефо, убѣжденнаго протестанта, это были тяжелыя времена.

Даниель Дефо былъ сынъ зажиточнаго мясника. Онъ родился въ старой пуританской семьѣ, искренне религіозной, безъ того ханжества, которое впоследствии отличало пуританство. Можно думать, что по природной живости онъ нерѣдко нарушалъ чинный и строгій образъ жизни своей семьи: по его словамъ, онъ, еще въ дѣтствѣ, „отъ товарища-мальчика во время драки на кулачкахъ узналъ, что никогда не надо бить лежачаго“.

Отецъ любилъ его, гордился его способностями, далъ ему самое тщательное воспитаніе и готовилъ его къ духовному званію, и біблія всю жизнь оставалась настольною книгою Даниеля, но онъ отказался отъ духовнаго званія, выбралъ своимъ поприщемъ литературу и, обладая разностороннимъ образованіемъ и большою пронипательностью ума, былъ полезенъ своимъ соотечественникамъ въ самыхъ разнообразныхъ отношеніяхъ. Много содѣйствовалъ онъ соединенію Англіи съ Шотландіей; по его же мысли въ Англіи появилось множество обществъ взаимной помощи; онъ разъяснялъ англичанамъ отношенія Франціи къ ихъ отечеству; вслѣдствіе его горячихъ статей въ Англіи стали человѣчнѣе относиться къ душевно-больнымъ; онъ много помогъ своими статьями основанію университета въ Лондонѣ и требовалъ устройства академіи для высшаго образованія женщинъ. Но главною идеей всей его огромной дѣятельности была идея вѣротерпимости. При всемъ этомъ, говорятъ его новѣйшіе біографы, имъ въ этой дѣятельности руководили не очень высокіе мотивы, и она часто оплачивалась то той, то другой партіей парламента.

Средства къ жизни Дефо черпалъ преимущественно изъ торговли — торговалъ чулками; одно время онъ занимался производствомъ черепицы; былъ и счетчикомъ въ таможенѣ. Но торговые дѣла Дефо всегда шли неровно, такъ какъ онъ постоянно отвлекался отъ нихъ для религіозной и политической борьбы, хотя, надо отдать ему справедливость, умѣлъ вознаградить убытки другихъ, связанные съ его собственными неудачами. Въ 1705 г. онъ пишетъ: „Среди безконечнаго ряда постигшихъ меня бѣдствій, съ большою семьей на рукахъ и безъ посторонней помощи, только благодаря моему личному труду, мнѣ удалось пробить себѣ дорогу и покрыть лежавшіе на мнѣ долги“.

Въ царствованіе Анны, во время особенно сильныхъ преслѣдованій протестантовъ Дефо написалъ небольшое сочиненіе, которое на летучихъ листкахъ въ 85000 экземплярахъ разошлось въ нѣсколько дней и въ которомъ онъ, какъ будто отъ лица католиковъ, предлагалъ уничтожить всѣхъ пуританъ; это была самая злая насмѣшка надъ стремленіями его противниковъ; онъ такъ искусно при этомъ воспользовался ихъ выраженіями, что сначала статья была принята за чистую монету; карриатура въ первое время осталась непонятою, а одинъ изъ духовныхъ членовъ Кембриджскаго университета написалъ книгопродавцу, приславшему ему экземпляръ этого сочиненія: „Я искренно присоединяюсь къ автору и, послѣ библіи, считаю его книгу самую драгоценною изъ всѣхъ, которыми владѣю“. Зато гнѣвъ католической партіи, когда узнали имя автора, былъ необуздавъ, и именно за эту сатиру разыскивали Дефо, о чемъ уже сказано выше. Само сочиненіе въ февралѣ 1703 года было публично сожжено рукою палача, а Дефо послѣ недолгаго суда былъ приговоренъ къ троекратному выставленію у позорнаго столба, большому штрафу и тюремному заключенію. До появленія у позорнаго столба онъ 20 дней оставался заключеннымъ въ тюрьмѣ и въ теченіе этого времени написалъ еще два сочиненія: въ одномъ онъ прославляетъ христіанское чувство, а другое называется „Гимнъ къ позорному столбу“, и въ немъ онъ негодуетъ на своихъ притѣснителей. Этотъ гимнъ появился 29 іюля 1703 года, какъ разъ въ тотъ день, когда Дефо былъ выставленъ въ первый разъ у позорнаго столба на потѣху толпы;—но толпа не тѣшилась надъ Дефо: когда на эшафотѣ появился онъ, съ головою и кистями рукъ, просунутыми въ деревянную колодку, собравшійся народъ бросалъ Даніелю Дефо вѣнки и цвѣты, а въ открытыхъ окнахъ сосѣднихъ домовъ виднѣлись заплаканныя, печальныя лица.

И въ тюрьмѣ онъ сумѣлъ продолжать свою литературную дѣятельность: написалъ до 40 отдѣльныхъ статей и издавалъ журналъ „Обозрѣніе“, въ которомъ продолжалъ отстаивать свои взгляды. Въ это время борьба партій въ парламентѣ приняла благоприятный оборотъ для Дефо: королева уплатила за него всѣ штрафы, и Дефо поѣхалъ съ семьей поправлять свое здоровье въ

мѣстечко Эдмондъ-Бюри, гдѣ, впрочемъ, не переставалъ работать—его сочиненія выходили почти безпрерывно. Вскорѣ, по порученію министра Гарлея, онъ долженъ былъ объѣздить всю Англію и участвовать въ различныхъ митингахъ. Взявшись за это дѣло, онъ съ удивительною неутомимостью сдѣлалъ около 5000 миль верхомъ, но и среди этихъ поѣздокъ продолжалъ изданіе журнала „Обозрѣніе“, начатое еще въ тюрьмѣ.

Подъ конецъ жизни Дефо, защищаясь отъ обвиненій своихъ противниковъ, писалъ: „Моя жизнь уцѣлѣла только чудомъ: бѣдность преслѣдовала меня по пятамъ, не убивая меня. Въ школѣ страданія я больше научился философіи, чѣмъ на школьной скамейкѣ; я узналъ блескъ и ужасы свѣта, потому что изъ тюремнаго каземата я переходилъ въ кабинетъ короля. Я потерялъ свое имѣніе и доброе имя, чтобы спасти себя отъ позора, чтобы спасти свои убѣжденія, и не чувствую раскаянія въ этомъ. Теперь я живу, бѣдный и презираемый, и презираю это презрѣніе. Радость и миръ наполняютъ мое сердце. Воспоминанія о томъ, что я вытерпѣлъ, не мѣшаютъ мнѣ имѣть ясное и готовое на все расположеніе духа—твердое и покорное сердце“. Когда Дефо писалъ эти строки, ему было уже 54 года; онъ писалъ ихъ, глубоко потрясенный мѣткостью направленныхъ противъ него обвиненій; его расшатанное здоровье не выдержало и его постигъ первый ударъ. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ пролежалъ онъ, колеблясь между жизнью и смертью, но сильная натура восторжествовала: онъ сталъ выздоравливать и, еще не оправившись отъ болѣзни, опять взялся за перо.

Всего онъ написалъ до 150 большихъ и малыхъ сочиненій.

За годъ до смерти Дефо испыталъ новое несчастье: онъ лишился разсудка; подъ вліяніемъ этой болѣзни, онъ бѣжалъ изъ родного дома и скрывался подъ чужимъ именемъ въ разныхъ городахъ Англіи, постоянно переѣзжая съ одного мѣста въ другое; наконецъ вернулся въ Лондонъ, нанялъ себѣ комнату въ отдаленномъ кварталѣ Сити и здѣсь 12 апр. 1731 года, совершенно одинокій, умеръ въ припадкѣ летаргіи на 71 году жизни. Никого изъ близкихъ не было подлѣ него; его похоронила квартирная хозяйка, а вещи, оставшіяся послѣ его смерти, были проданы съ аукціона, для покрытія похоронныхъ издержекъ.

Первое изданіе Робинзона Крузо вышло въ Лондонѣ, въ апрѣлѣ 1719 г., когда Дефо было уже 52 года. Въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ эта книга выдержала 4 изданія. Она читалась на расхватъ людьми всѣхъ возрастовъ и состояній; бѣдныя вдовы копили каждый день по пенни, чтобъ приобрести „Прекраснаго Робинзона“; книга быстро была переведена почти на всѣ языки міра; ее стали читать и въ Лондонѣ, и въ Парижѣ, и въ Петербургѣ и даже въ отдаленныхъ пустыняхъ. Арабы особенно полюбили Робинзона и прозвали романъ, съ своей обычной восточной поэтичной изысканностью, „Жемчужиной Океана“.

Помимо переводовъ, почти одновременно появилось множество подражаній этой книгѣ, которые составили огромную литературу и получили названіе „Робинзонада“. Среди нихъ совершенно особое мѣсто занимаетъ сочиненіе Псалманазара. Трудно, впрочемъ, сказать, была ли это поддѣлка: это было скорѣе самостоятельное произведеніе одного француза, прожившагося родовитаго человѣка, большого искателя приключеній, имя же Псалманазаръ—псевдонимъ.

Въ этой поддѣлкѣ авторъ, выдавъ себя за уроженца острова Формозы, никогда тамъ не бывавъ, издалъ весьма обстоятельную исторію и описаніе мнимой своей родины, вообразилъ и изобразилъ нравы этой страны, придумалъ для нея даже языкъ, написалъ для этого языка азбуку и грамматику; къ книгѣ приложилъ географическую карту острова (конечно, фантастическую), изображенія храмовъ, идоловъ и общественныхъ зданій, которыхъ никогда не видалъ, портреты и біографіи замѣчательныхъ личностей, которыхъ никогда не существовало. Между тѣмъ общество повѣрило въ эту книгу и читало ее съ увлеченіемъ, что характерно, конечно, и для таланта автора, и для невѣжества его читателей, а одинъ Лондонскій епископъ даже поручилъ Псалманазару перевести на его языкъ англійскій катихизисъ и хранилъ этотъ переводъ, какъ драгоценность, въ своей бібліотекѣ. Но, къ всеобщему разочарованію, удивленію и горю, Псалманазаръ, нажившій книгой большое состояніе, подъ старость, устыдившись своего плутовства, самъ разоблачилъ печатно обманъ, и недалновидный Лондонскій епископъ потерялъ навсегда надежду распространять христіанство на языкъ Псалманазара.

Подражанія Робинзону появились во всѣхъ странахъ. Существуют Робинзоны: бранденбургскій, берлинскій, богемскій, франконскій, силезскій, лейпцигскій, французскій, датскій, голландскій, ирландскій, шотландскій, швейцарскій, еврейскій, русскій, греческій. Былъ Робинзонъ и книгопродавческій и медицинскій; была даже „дѣвица Робинзонъ“ и „невидимый Робинзонъ“, и всѣ эти робинзонады выдерживали очень много изданій.

Такъ какъ интересъ подлиннаго Робинзона Крузо двоякъ и заключается отчасти въ ходѣ самаго повѣствованія, отчасти же въ нравственныхъ выводахъ, которые вызываетъ судьба героя, то всѣ эти подражанія можно раздѣлить на два рода: одни изъ нихъ— нравственно поучительные рассказы, носящіе печать вліянія французскаго философа Руссо; а другія переносятъ интересъ рассказа на самыя приключенія. Среди первыхъ передѣлокъ можно указать на извѣстную передѣлку Кампе, которая въ свое время была уже оцѣнена Бѣлинскимъ. Она, какъ и большинство этого рода передѣлокъ, близка къ настоящему Робинзону по основному направленію и остается до сихъ поръ привлекательной. Совсѣмъ другое дѣло второй видъ подражаній; они выбросили изъ Робинзона все идеальное, всякій ходъ мысли и стараются только изобрѣтать необузданно фантастическія приключенія. Для нихъ уединенный островъ, напримѣръ, слишкомъ обыкновенное мѣсто: ихъ герои надолго поселяются на лунѣ или въ жилищѣ какого-нибудь морскаго чудовища.

Вліяніе Робинзона несравненно шире, чѣмъ обыкновенно предполагаютъ, и даже знаменитая сатира Свифта „*Путешествіе капитана Гулливера*“, того самаго Свифта, который съ обычною злостью называлъ Дефо „*безграмотнымъ писакой*“,— даже эта сатира находится въ значительной зависимости отъ этого романа.

Въ русской литературѣ съ Робинзономъ повторяется то же явленіе: отчасти это сокращенные переводы, отчасти самостоятельныя робинзонады. Большинство изъ нихъ носитъ названіе—Робинзонъ Крузо, но есть иныя. Есть, напримѣръ, книга „Настоящій Робинзонъ“, которая начинается такими поразительными словами: „Умный сочинитель книги, извѣстной подъ названіемъ—Р. Крузое, Даніель Дефое, описываетъ въ свемъ рассказѣ истинное проис-

шествіе, только дѣло было не совѣмъ такъ, какъ рассказываетъ Дефое“; есть между этими книгами „Сергій Петровичъ Лисицынъ“ (русск. Робинзонъ), есть просто „Русскій Робинзонъ“, есть особенно любимая книга „Робинзонъ въ русскомъ лѣсу“, которая читается юношествомъ съ наслажденіемъ, потому что говоритъ о русскихъ юношахъ Робинзонахъ, да вдобавокъ еще въ оглавлении помѣщаетъ такіа заманчивыя указанія: „Мы убиваемъ лося“. „Лось“. „Еще лось.“ „Борьба Васи съ медвѣдицей“; есть книга „Петербургскіе Робинзоны“, довольно грубый рассказъ, предназначенный почему-то для дѣтей, гдѣ Робинзонъ представленъ въ видѣ старика съ краснымъ носомъ, въ халатѣ, блуждающаго по одному изъ острововъ Кронштадтскаго взморья. Есть даже рассказъ „Игра въ Робинзоны“. Обо всѣхъ нихъ и не стоитъ говорить; но прежде, чѣмъ перейти къ разбору самого романа, я долженъ снять съ Дефо одно обвиненіе, которое нерѣдко бросали на него по поводу Робинзона Крузо. Я имѣю въ виду эпизодъ съ Селькиркомъ.

Дефо одно время обвиняли въ томъ, будто онъ содержаніе своего романа заимствовалъ изъ записокъ одного матроса, прожившаго, дѣйствительно, долго на необитаемомъ островѣ. Въ Шотландіи, въ графствѣ Фейфъ, въ деревнѣ проживалъ парень Александръ Ольдгрейгъ. За свои грубыя проказы онъ получилъ публично съ церковной каѳедры увѣщаніе обратиться къ лучшему образу жизни. Парень исчезъ и пошелъ матросомъ на корабль, но скоро убѣжалъ съ корабля, пропадалъ шесть лѣтъ, наконецъ, вернулся въ Шотландію и, чтобъ его не узнали, перемѣнилъ свое имя, назвавшись Селькиркомъ. Вскорѣ онъ отправился съ знаменитымъ мореплавателемъ Дампиромъ въ Южное море. Капитанъ Стральдингъ неоднократно долженъ былъ наказывать его за прямое непокорство, и когда корабль присталъ къ острову Хуанъ-Фернандезъ, упрямый матросъ спрятался въ лѣсу; корабль ушелъ, а матросъ долженъ былъ прожить на этомъ островѣ одинъ 4 года и 4 мѣсяца, пока какой-то проѣзжавшій мимо корабль не взялъ его и не привезъ обратно въ Англію.

Говорили, будто Селькиркъ далъ однажды Дефо свой дневникъ, спрашивая, стоитъ ли сообщить его публикѣ; будто Дефо внима-

тельно просмотрѣлъ его и отвѣчалъ отрицательно; но будто бы черезъ нѣсколько времени вышелъ Робинзонъ, предательски выкраденный изъ дневника Селькирка. Это подозрѣніе ложно съ начала до конца. Исторія Селькирка была напечатана и всѣмъ извѣстна еще за пять лѣтъ до появленія Робинзона, и Дефо даже и не встрѣчался съ Селькиркомъ; да, въ сущности-то Робинзонъ и привлекателенъ совѣмъ не тѣми сторонами, которыми интересенъ Селькиркъ.

Въ этомъ романѣ цѣнна, занимательна и значительна только первая часть; вторая же очень слаба, и можно, пожалуй, повѣрить, что она написана уже съ чисто матеріальной цѣлью подъ вліяніемъ успѣха 1-й части. Эта 2-я часть составляетъ ненужное дополненіе къ совершенно законченной первой. Непонятно, какъ могъ Дефо, въ своемъ увлеченіи первой частью своего романа дойти до такого ея искаженія. Во второй части Робинзонъ вовсе не житель дикаго острова,—это путешественникъ изъ однихъ странъ въ другія; его путешествіе наполнено ненужными, придуманными приключеніями; жизнь на островѣ развивается только количественно; на островѣ появляется больше хижинъ, больше народу, но жизнь становится менѣе интересна. Правда, между новыми поселенцами происходятъ жаркія столкновенія изъ-за взглядовъ на черныхъ людей, и въ человѣчномъ отношеніи къ дикарю звучатъ чувства и мысли, новыя для того вѣка процвѣтанія торговли невольниками, но все это только рѣдкіе и незначительные эпизоды по отношенію ко всей 2-й части романа. Самому Робинзону, повидимому, островъ уже не представлялъ интереса. Онъ покинулъ его и отправился въ дальнія странствованія, и надо сказать, очень растянутыя; тамъ больше, чѣмъ нужно, сраженій съ дикими; тамъ Робинзонъ превращается въ мелодраматическаго путешественника, который то причаливаетъ свою лодку у береговъ Китая, то попадаетъ въ Сибирь, проходитъ калмыцкія степи и поражается внѣшнимъ видомъ разныхъ новыхъ народовъ, и, наконецъ, черезъ Архангельскъ возвращается домой. Здѣсь интересъ, какъ видите, перенесенъ съ самого Робинзона на страны и внѣшнія событія.

Но оставимъ всю эту обширную панораму съ безцвѣтными дѣйствующими лицами, и обратимся къ небольшому клочку земли,

къ тому острову, на которомъ живетъ, думаетъ, радуется, страдаетъ и настойчиво дѣйствуетъ всѣмъ интереснѣй, истиннѣй, не тронутый ни поддѣлкой, ни одностороннимъ увлеченіемъ — Робинзонъ Крузо.

Трудно придумать болѣе простой рассказъ про человѣка обыкновенныхъ способностей, но съ сильнымъ характеромъ, — человѣка, котораго каждое несложное изобрѣтеніе вызывается настоятельной нуждой ежедневныхъ потребностей, который былъ бы такъ близокъ каждому и вызывалъ бы столько сочувствія. Это именно общечеловѣческое, международное произведеніе. Самое мѣсто дѣйствія, необитаемый островъ среди океана, ни для кого не предпочтителенъ и, по истинѣ, не можетъ быть названъ ничьей родиной, а жизнь Робинзона на этомъ островѣ для всѣхъ интересна и доступна, и развѣ только постоянная энергія и философскія размышленія, вызываемыя сильнымъ религіознымъ чувствомъ, даютъ Робинзону національную окраску — обличаютъ въ немъ англичанина, пуританина, пожалуй даже самого Дефо.

Жизнь Робинзона представляетъ миниатюрное изображеніе исторіи всего человѣчества: онъ постепенно переходитъ отъ жизни звѣролова къ земледѣльческому быту, и наконецъ, къ общественной жизни. Мысль представить личность, самобытно развивающуюся внѣ общества, не принадлежитъ творчеству Дефо и заимствована имъ изъ сочиненія арабскаго писателя Ибнъ-Тофайля, „Самочайшій мыслитель“, написаннаго въ XII вѣкѣ, переведеннаго на нѣкоторые европейскіе языки и въ томъ числѣ на англійскій. Ибнъ-Тофайль въ свою очередь указываетъ, что мысль своего сочиненія онъ почерпнулъ изъ легендъ, происхожденіе которыхъ восходитъ до VII столѣтія.

Герой этого арабскаго сочиненія называется Хай-Ибнъ-Юкданъ. Онъ со дня рожденія живетъ одинъ на дикомъ островѣ, гдѣ его вскармливаетъ своимъ молокомъ газель. Онъ все болѣе приспосабливается къ условіямъ своего существованія, благодаря своей настойчивости и наблюдательности. Самовозгараніе тростника представляетъ къ его услугамъ огонь. Далѣе онъ научается варить себѣ пищу, дѣлать одежду изъ шерсти линяющихъ животныхъ и т. п. Наконецъ, когда Хай-Ибнъ-Юкданъ доживаетъ до 50-ти

лѣтнаго возраста, къ нему съ одного изъ сосѣднихъ острововъ является нѣкто Асаль, утомленный жизнью въ обществѣ.

Здѣсь собственно заключается уже весь сюжетъ Робинзона, даже съ появленіемъ Пятницы, котораго представляетъ Асаль. Даніелю Дефо былъ извѣстенъ этотъ рассказъ, и подъ вліяніемъ эпизода съ Селькирккомъ онъ переработалъ эту тему, съ особенною способностью своею передавать событіе не какъ правдоподобное, а какъ дѣйствительно бывшее, и даже, какъ можно предполагать, желая, чтобы читатели приняли его рассказъ за описаніе дѣйствительнаго случая.

Вальтеръ-Скоттъ, бравшій во многомъ въ литературномъ отношеніи Дефо за образецъ, замѣчаетъ, что обстоятельность и любовь, съ какою здѣсь передается всякая подробность, уничтожаютъ всякое сомнѣніе въ истинности этого происшествія; намъ кажется, что если бы этого не было въ дѣйствительности, то авторъ едва ли потратилъ бы столько труда на эти подробности. Въ Робинзонѣ вымыселъ не замѣтенъ, и это—особенность таланта Дефо, проявившаяся въ другихъ его сочиненіяхъ. Если Робинзонъ стрѣляетъ, то мы узнаемъ, сколько именно онъ для этого взялъ пороху, сколько дрови; если у него лихорадка,—передъ нами точная передача всѣхъ симптомовъ болѣзни; когда беретъ доску, онъ сообщаетъ точно ея длину, ширину и т. д. Эта правдивость и вѣрность жизни сдѣлала его рассказъ, если и не *реальнымъ* романомъ, то, по крайней мѣрѣ, однимъ изъ первыхъ намековъ на будущій реальный романъ, какъ его стали понимать впоследствии.

Робинзонъ, подобно самому Дефо, неутомная натура, у него въ крови роковое желаніе странствовать. По его словамъ, онъ „всегда слѣдуетъ за блуждающими огнями своей фантазій“, „онъ родился съ тѣмъ, чтобъ быть разрушителемъ собственнаго благосостоянія“. 1 сентября 1659 года хорошо одѣтый и съ деньгами въ карманѣ онъ садится впервые на корабль и отправляется въ Гвинею, но по дорогѣ попадаетъ въ плѣнъ къ пиратамъ и изъ купца дѣлается невольникомъ. Съ свойственною ему энергіею бѣжитъ изъ этого рабства на рыболовномъ катерѣ, выбрасываетъ изъ него мавра, даннаго ему въ провозатые, и, угрожая ему выстрѣломъ, отпугиваетъ его отъ лодки, а самъ съ преданнымъ мальчикомъ

Ксури направляется вдоль береговъ Африки и послѣ долгаго и труднаго плаванія дружелюбно принимается на встрѣчный корабль; доѣзжаетъ на этомъ кораблѣ до Бразиліи, долго занимается тамъ табачными плантаціями, богатѣетъ и все по той же неизмѣнной и роковой страсти къ путешествіямъ опять садится на корабль, съ не со-всѣмъ доброю цѣлью купить себѣ невольниковъ для плантацій. Онъ терпитъ крушеніе недалеко отъ сѣверныхъ береговъ Южной Америки; весь экипажъ, бывший съ нимъ гибнетъ, а Робинзонъ, судорожно цѣпляясь за прибрежныя скалы, какъ нѣкогда Одиссей, спасается.

Свое спасеніе онъ передаетъ такими словами: „задерживая дыханіе, я плылъ. Вдругъ волна покрыла меня, но не надолго; я могъ держаться на водѣ, и, когда замѣтилъ, что волна, ударясь о берегъ, возвращается назадъ, я, собравъ послѣднія силы, ринулся впередъ, не далъ ей захватить себя и почувствовалъ подъ ногами землю“.

Это и былъ тотъ необитаемый островъ, гдѣ ему было суждено прожить цѣлыхъ двадцать восемь лѣтъ, два мѣсяца и девятнадцать дней. Отсюда-то и начинается настоящая знаменитая жизнь Робинзона.

Но надо все-таки сказать, что много обстоятельствъ благопріятствовали этой жизни, что и составляетъ нѣкоторую искусственность, впрочемъ необходимую, потому что безъ нея не могъ бы существовать и самый рассказъ. Въ самомъ дѣлѣ: климатъ здѣсь тропическій, и потому постройки и платье несложны; островъ необитаемъ, значить, у Робинзона нѣтъ и враговъ, но островъ плодоносенъ и притомъ на немъ живутъ козы, черепахи, птицы:— слѣдовательно у Робинзона есть пища; наконецъ, недалеко отъ берега, на песчаной отмели, виднѣется на боку лежащій полуразрушенный корабль, который какъ бы волшебнымъ повелѣніемъ, однимъ взмахомъ уноситъ буря только тогда, когда Робинзонъ уже успѣваетъ перевезти съ него на островъ нужныя вещи, даже и собаку, безъ которыхъ здѣсь невысказана была бы самая его жизнь. Итакъ, тутъ необыкновенное стеченіе удачъ, но все это только рамка для рассказа; читая романъ далѣе, вы совершенно забываете объ этой натяжкѣ, такъ проста и естественна вся дальнѣйшая дѣятельность Робинзона.

Въ своемъ дневникѣ онъ такъ описываетъ свои первые моменты пребыванія на этомъ островѣ. „Едва собравшись съ мыслями, и, вмѣсто того, чтобы благодарить Бога за свое спасеніе, я, какъ потерянный, бѣгалъ по острову, ломалъ руки и билъ себя по лицу и по головѣ. Издавая страшные вопли, я громко кричалъ: я погибъ, увы, я погибъ! Наконецъ, измученный, я упалъ на землю. Я не могъ заснуть. Я боялся, что меня растерзаютъ дикіе звѣри. Спустя нѣсколько дней послѣ посѣщенія разбитаго корабля, я взошелъ на вершину небольшой горы и сталъ смотрѣть на море, въ надеждѣ увидѣть какой-нибудь парусъ. Мнѣ казалось, что я вижу его; я жилъ этой мечтой и часто пристально смотрѣлъ въ морскую даль, пока воображаемый парусъ не исчезалъ. Тогда я сажился на землѣ и плакалъ, какъ дитя“. Этотъ островъ Робинзонъ назвалъ „*Островомъ отчаянія*“.

На этомъ островѣ въ первый день онъ встрѣтилъ только какого-то небольшого звѣрка.. „Я, говоритъ Робинзонъ, возвратившись къ вещамъ, оставленнымъ мною на берегу, увидѣлъ, что на одномъ ящикѣ сидитъ какое-то животное, похожее на дикую кошку. Замѣтивъ меня, она отбѣжала на нѣкоторое разстояніе и быстро остановилась, не высказывая ни страха, ни замѣшательства, а пристально смотря на меня, какъ бы желая познакомиться. Я прицѣлился, но она, не понимая, въ чемъ дѣло, не тронулась съ мѣста; тогда я бросилъ ей кусокъ сухаря, хотя, сказать правду, мнѣ не слѣдовало быть расточительнымъ, въ виду скуднаго запаса провизии. Звѣрокъ принялъ благосклонно подарокъ, подбѣжалъ къ нему, понюхалъ и съѣлъ. Угощеніе, повидимому, ему понравилось, и онъ готовъ былъ получить еще, но, видя, что продолженіе подачи не входитъ въ мои намѣренія, повернулся и убѣжалъ.“ Робинзону предстояло теперь, посоветовавшись съ самимъ собою, позаботиться о себѣ и приняться за работу. Единственнымъ его руководителемъ была настойчивость. Какъ медленно двигалась его работа, видно изъ того, что, напримѣръ, на устройство коробокъ и раскладку въ нихъ пороха, ушло цѣлыхъ 2 недѣли, на обдѣлку изъ глины какихъ-то двухъ кувшиновъ—3 мѣсяца, на обдѣлку доски—42 дня и т. д.

Постройка далась Робинзону дорого; по цѣлымъ недѣлямъ мо-

чиль его дождь: „Эта работа, говорить онъ, страшно истомила меня. Трудно повѣрить, какого ужаснаго труда она мнѣ стоила, что вынесли мои руки во время этой тяжелой работы“. Но за плечами у него стояла нужда, и, во что бы то ни стало, приходилось терпѣть, чтобы не подвергаться еще большимъ невзгодамъ. Онъ дѣлается изобрѣтателемъ, потому что каждый день приноситъ ему новыя заботы. Смотря по надобности, онъ то плотникъ, то молочница, то охотникъ и дрессировщикъ, то точильщикъ, то портной, то земледѣлецъ. Мало-по-малу онъ завоевываетъ свое благополучіе и чувствуетъ глубокое наслажденіе въ этомъ тяжело добытомъ успѣхѣ. Онъ доволенъ всѣми предметами своего хозяйства, потому что все это—дѣла рукъ его одного. „Онъ съ удовольствіемъ возвращается въ свое жильё, потому что сознаетъ себя виновникомъ окружающихъ его удобствъ, по праву садится за свой самодѣльный столъ и чувствуетъ себя, точно король“. Его богатство могло бы увеличиться неимоვნно, но въ его глазахъ имѣло цѣну только то, что было ему необходимо. Его размышленія по этому поводу заслуживаютъ особаго вниманія: „Я, говорить Робинзонъ, могъ нагружать цѣлые корабли хлѣбомъ, но, не зная, куда дѣвать его засѣваль столько, сколько было нужно для моего личнаго продовольствія. Да и все, что превышало бы мои потребности, сгнило бы здѣсь безъ пользы. Словомъ, зрѣлое размышленіе, природа вещей и опытъ привели меня къ убѣжденію, что въ мірѣ всякая вещь хороша не сама по себѣ, а только по тому примѣненію, какое мы изъ нея дѣлаемъ, и что мы наслаждаемся только тѣмъ, что можемъ или потребить сами, или передать для потребленія другимъ. У меня сохранилось нѣсколько золотыхъ и серебряныхъ монетъ.... Увы! онѣ лежали, какъ жалкая рухлядь! Я не зналъ, какое сдѣлать изъ нихъ употребленіе; мнѣ казалось, я охотно отдалъ бы все серебро и золото, если бы мнѣ дали на какихъ нибудь 5 пенсовъ сѣмянъ рѣпы и моркови или по горсти гороху и бобовъ. Но я всегда сосредоточивалъ свои помыслы на томъ, чѣмъ я пользовался и наслаждался, и это давало мнѣ утѣшеніе. Всѣ наши сожалѣнія о томъ, чего намъ не достаетъ, мнѣ кажется, имѣютъ своимъ источникомъ отсутствіе благодарности за то, что мы имѣемъ“.

Между тѣмъ время шло. Хижина Робинзона окружилась крѣпкою стѣною. Его посадки разрослись въ цѣлыя роши, обступили со всѣхъ сторонъ его жилище и закрыли его своими вѣтвями отъ злого глаза. Жизнь его текла безъ приключеній, мирно и тихо.

Казалось, все должно было сложиться къ его счастью; но Робинзонъ имъ не наслаждался; имъ овладѣвала по временамъ страшная тоска по человѣческому обществѣ. Одиночество давало ему, конечно, полную возможность сосредоточиваться на этихъ мысляхъ, и онѣ достигали громаднаго напряженія.

Онъ въ этомъ отношеніи напоминаетъ тѣхъ путниковъ, которые, мучимые жаждой, окруженные со всѣхъ сторонъ безконечными песками, видятъ прозрачныя озера и привѣтливо кивающія пальмы. Но пальмы исчезаютъ при приближеніи къ нимъ, озеро отсутствуетъ, а знойная степь еще острѣе заставляетъ чувствовать жажду.

Разъ, измученный дневными трудами, Робинзонъ заснулъ крѣпко въ прохладной тѣни рядомъ съ своей хижинкой. Онъ спалъ долго.... Вдругъ просыпаясь, сквозь забытье полусна, онъ слышитъ: „Робинъ, Робинъ, Робинъ Крузо! Бѣдный Робинъ Крузо, гдѣ ты? Гдѣ ты былъ“? Въ страшной радостной тревогѣ онъ вскочилъ и увидаль передъ собою любимца своего попугая, который привѣтливо и какъ будто съ участіемъ повторялъ надъ его головою заученныя слова, не понимая ихъ смысла. Птица усѣлась, по обыкновенію, на большой палецъ руки Робинзона и продолжала: „Бѣдный Робинъ Крузо, какъ я попалъ сюда! Гдѣ я былъ“. Такимъ образомъ миражъ разсѣялся, а въ сердцѣ оставалось горькое чувство.

Эта тоска всюду сопровождала Робинзона. Когда онъ выходилъ на охоту, или для осмотра мѣстности, и передъ его глазами от-



крывались лѣса, горы, пустыни; когда онъ чувствовалъ себя окруженнымъ океаномъ, онъ особенно сильно сознавалъ свое одиночество. Иногда, среди занятій, онъ вдругъ остававливался, бросалъ работу и садился на землю, неподвижно устремивъ взоръ въ ту же неизмѣнную даль, гдѣ чудились ему корабли. “Это нѣмое отчаяніе, говоритъ Робинзонъ,—было невыносимо, потому что всегда легче излить горе словами и слезами, чѣмъ таить его про себя”.

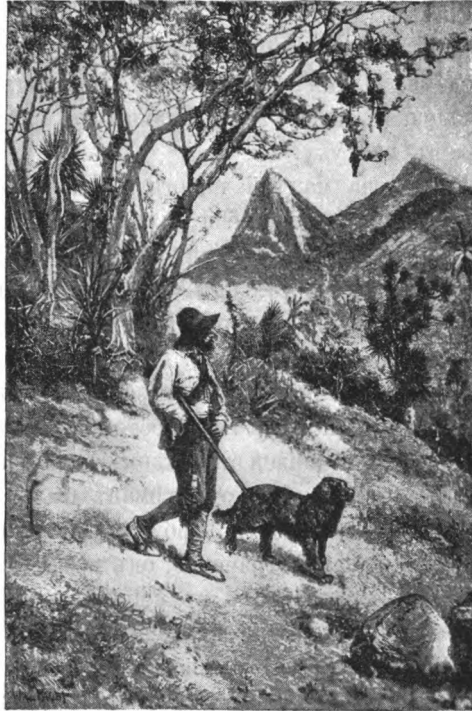
Не всегда, впрочемъ, корабли эти были только воображаемы. Разъ ночью, во время урагана, Робинзонъ могъ видѣть и слышать выстрѣлы погибающаго корабля. Такая близость чловѣка, безъ возможности его повидать только разжигало еще болѣе его печаль. „Во все время моей удивенной жизни, говоритъ онъ, у меня не было еще такой пламенной жажды чловѣческаго общества, и никогда я такъ глубоко не тяготился разлукой съ людьми“.

На останкахъ этого корабля, выкинутыхъ на скалы неподалеку отъ его острова, онъ нашелъ только голодную собаку, которую и перевезъ на лодкѣ къ себѣ.

Дефо очень живо передаетъ, какъ, подъ вліяніемъ одиночества, Робинзонъ дѣлался все суевѣрнѣе, и суевѣрнѣе, какъ приходилъ онъ иногда въ ужасъ отъ самыхъ обыкновенныхъ происшествій, даже готовился на своемъ островѣ къ встрѣчѣ съ дьяволомъ. Ему показалось разъ, что дьяволъ устремилъ на него свои глаза въ одной темной пещерѣ, ему послышался шопотъ, глухіе вздохи. Онъ выскочилъ изъ пещеры въ страшномъ ужасѣ, но, вернувшись въ нее съ факеломъ, увидалъ тамъ только стараго, околѣвающаго козла. Всѣмъ извѣстно также, какъ былъ онъ пораженъ, увидавъ на морской отмели слѣдъ босой чловѣческой ноги.

„Какъ оглушенный громовымъ ударомъ,—говоритъ онъ, я остановился, сталъ прислушиваться и смотрѣть кругомъ, но ничего не видѣлъ и не слышалъ.—Кругомъ пустыня:—новыхъ слѣдовъ не было. Я былъ въ полномъ разстройствѣ умственныхъ силъ; я бросился бѣжать въ свое укрѣпленіе, не слыша подъ собою земли. Въ страшномъ испугѣ я на каждомъ шагу озирался. Всякій кустъ, всякій древесный пенъ я принималъ за чловѣка. Нѣтъ возможности описать тѣхъ безчисленныхъ образовъ, въ какіе облекало мое распаленное воображеніе каждый предметъ. Ни одинъ испуган-

ный заяц такъ не прятался, ни одна загнанная лисица не зарывалась съ такимъ ужасомъ въ нору, какъ я въ свою пещеру.



Всю ночь я не могъ заснуть. Иногда мнѣ даже казалось, что я видѣлъ слѣдъ ноги діавола“.

Вотъ до какого одичанія дошелъ Робинзонъ въ своемъ одиночествѣ.

Это одиночество прекратилось съ появленіемъ въ его хижинѣ дикаря Пятницы, съ которымъ онъ могъ теперь вести бесѣды, а затѣмъ отца Пятницы и одного испанца католика, котораго Робинзонъ спасъ отъ вѣрной смерти.

Замѣчательно, что съ той минуты, какъ Робинзонъ видитъ, дѣйствительно, корабль, подъвзжающій къ его острову, садится на него и отправляется домой, нашъ интересъ къ нему пропа-

даетъ, точно этотъ островокъ служить для него пьедесталомъ, созданнымъ фантазіей Дефо среди океана. Фигура Робинзона хороша только на этомъ пьедесталѣ и, сойдя съ него, сейчасъ же теряется въ толпѣ.

Дѣйствительно, это окончаніе первой части интересно только внѣшними эпизодами, даже и не связанными съ самимъ Робинзономъ: напимѣръ, нападеніемъ волковъ въ Пиринеяхъ, или пляской Пятницы съ медвѣдемъ на суку.

Оставимъ Робинзона на той шкунѣ, на которой онъ мчится по Ламаншу къ Англии и вернемся еще разъ къ самому Дефо. Изъ ста пятидесяти его сочиненій мировое значеніе получилъ только одинъ романъ Робинзонъ Крузо; остальные его произведенія забыты, потому что они преслѣдовали только борьбу съ временными обстоятельствами и утратили свое значеніе, когда окончилась та борьба, ради которой они были написаны; Робинзонъ же сдѣлался общимъ достояніемъ литературы, потому что просто и художественно передаетъ радости и горести, таящіяся въ каждомъ человѣческомъ сердцѣ, но нельзя сказать, чтобы и этотъ романъ былъ чуждъ той же борьбы. Онъ сослужилъ взглядамъ Дефо прекрасную службу: благодаря своему широкому распространенію, онъ незамѣтно, даже и въ своихъ передѣлкахъ, переселяетъ въ сердца людей мысли самого Дефо. Постоянная черта жизни Робинзона:— это страданіе отъ отсутствія людей. И, несмотря на всю свою настойчивость, онъ не можетъ истребить въ себѣ естественнаго и благороднаго стремленія видѣться съ другимъ человѣкомъ и съ любовью, дружески подать ему руку, не спрашивая, какого онъ вѣроисповѣданія: это отношеніе къ чужому вѣроисповѣданію было однимъ изъ взглядовъ, которые въ свое время отстаивалъ Дефо.

Но, что особенно связываетъ Робинзона съ Дефо, это его неутомимость, дѣловитость и чисто англійская практичность, нѣсколько окрашенная жилкой торговца.

Во времена Дефо романъ „Робинзонъ Крузо“ читался съ увлеченіемъ взрослыми людьми, для которыхъ и былъ написанъ, которые, привыкнувъ къ существовавшимъ тогда повѣствованіямъ, не замѣчали длиннотъ разсказа и, если можно такъ выразиться, его протокольности. Теперь этотъ разсказъ кажется утомитель-

нымъ взрослому читателю и не совсѣмъ удовлетворяетъ развитому эстетическому вкусу. Онъ теперь сдѣлался въ своихъ передѣлкахъ дѣтскою книгой, и, пожалуй, можно радоваться появленію удачныхъ его передѣлокъ, облегчающихъ знакомство съ этимъ великолѣпнымъ, хотя и устарѣлымъ по формѣ рассказомъ, но не надо при этомъ забывать, что именно Даниелю Дефо принадлежитъ честь созданія такого произведенія, которое, быть можетъ, незамѣтнымъ для самого автора образомъ, распространило по всему свѣту и продолжаетъ распространять полныя значенія мысли о вѣротерпимости, о важности труда и общества людей въ жизни человѣка.



ИСТОЧНИКИ и ПОСОБІЯ.

Къ ст. „Русскіе народныя пѣвцы“.

1. Онежскія былины, собран. *Гильфердингомъ*. Изд. 2-е 1894 г. Т. I-й (См. вступительную статью).
2. Пѣсни, собран. *П. Рыбниковымъ*. Т. III-й (Объяснительная статья).
3. «Народная поэзія» историч. очерки академика *Ө. И. Буслаева*. 1887 г.
4. Русскія народныя былины. Изд. *Л. И. Полыанова*. 1888 г.
5. Причитанія Сѣвернаго края, собр. *Е. Барсовымъ*. Т. I-й. 1872 г.
6. «Этнографическое Обзорѣніе», журналъ, издав. Моск. Этнограф. Отдѣломъ, кн. XI. (статья *А. Грузинскою*), кн. XII. (статья *Н. Никифоровскою* и *А. Малинки*). См. также указанные въ статьѣ Малинки №№ журн. «Кіевская Старина»: 1882 г. № 8 и 12; 1889 г. № 9 и 1892 г. № 3.

Къ ст. „Максимъ Грекъ“.

1. «Максимъ Грекъ, святогорецъ» (статья *А. В. Горскаю*), въ «Прибавленіяхъ къ Твореніямъ св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ». М. 1859 г. Ч. XVIII.
2. «Максимъ Грекъ». Изслѣдованіе *В. Иконникова*.
3. «Митрополитъ Даниилъ и его сочиненія». Изслѣдованіе *В. Жмакина*. М. 1881 года.
4. Сочиненія преподобнаго Максима Грека. Казань, 1859—1862 г. 3 части.
5. «Московская старина». Статьи *А. Н. Пыпина*, въ «Вѣстникѣ Европы», 1885 г., январь и февраль.
6. «Древнее просвѣщеніе». Статья *А. Н. Пыпина* въ „Вѣстникѣ Европы“, 1894 г., февраль.
7. «Вопросы древне-русской письменности», статьи *А. Н. Пыпина* въ «Вѣстн. Евр.», 1894 г., июнь и июль.
8. Очеркъ домашней жизни и нравовъ великорусскаго народа въ XVI и XVII столѣтіяхъ. *Н. Костомарова*. С.-Петербургъ. 1887 г.

Къ ст. „Хулители наукъ“.

1. «Русскіе сатирическіе журналы 1768—1774 г.». *А. Афанасьевъ*. 1859 г.
2. «Новиковъ и московскіе мартинисты». Исслѣдованіе *М. Н. Ломчинова*.
- 3 «Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія». *А. П. Пятковскаго*. Во второмъ томѣ «Очерки изъ исторіи журналистики» главы I и II (отъ Петра до Александра I).
4. «Николай Ивановичъ Новиковъ, издатель журналовъ 1769—1875 г.». *А. И. Незеленовъ*. СПб. 1875 г.

Къ ст. „Д. И. Фонвизинъ“.

1. «Сочиненія Ф. Визина». Редакт. *Ефремова*. 1866 г.
2. Тоже. Изд. *К. Шамова*.
3. Тоже. Изд. Академ. Наукъ, ред. *Н. С. Тихонравова* и *Л. Майкова*. Спб. 1895 г.
4. «Ф. Визинъ». Соч. *кн. Вяземскаго*. Спб. 1848 г.

Къ ст. „С. Т. Аксаковъ“.

- А. С. Хомяковъ*. Некрологъ *С. Т. Аксакова*. «Рус. Бес.» 1859 г. № 3.
П. Н. Миллюковъ. *С. Т. Аксаковъ*. Рус. Мысль 1891 г.
П. В. Анненковъ. *С. Т. Аксаковъ* и его „Семейная хроника“. (Въ «Воспом. и очеркахъ»). Отд. II. СПб. 1879).
В. Ш. Острогорскій. *С. Т. Аксаковъ*. СПб. 1891.

Къ ст. „Григоровичъ“.

- Д. В. Григоровичъ*. Воспоминанія. «Рус. Мысль» 1892.
П. В. Анненковъ. Романы и рассказы изъ простонароднаго быта (Въ «Воспоминаніяхъ и очеркахъ»). Отд. II. СПб. 1879).

Къ ст. „В. Г. Бѣлинскій“.

1. Сочиненія *В. Г. Бѣлинскаго*. 12 томовъ.
2. Жизнь и переписка *Бѣлинскаго*. *А. Пытинъ*. 2 тома. Спб. 1876 г.
3. Характеристики литературныхъ мнѣвій отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ. *А. Пытинъ*. 1890 г.
4. Воспоминанія и критич. очерки. *П. Анненкова*. 3 тома (Статья «Замѣчательное десятилѣтіе»).
5. Литературныя воспоминанія *И. С. Тургенева* (въ Собр. сочиненій).
6. Литературныя воспоминанія *Панаева*.

Бъ статья „Петрушка“.

- Engel G.* Deutsche Puppenkomödie. Oeldenburg. 1873—1877.
Magnin Charles. Histoire des marionettes en Europe 2-me éd. Paris. 1862.
A. Mercey. Le théâtre en Italie. Rev. des deux M. 1840, 15 avr.
Floegel. Geschichte des Grotesk - Komischen, bearb. von Fr. W. Ebeling. 3-te Aufl. Leipzig. 1886.
E. Nageotte. Histoire de la littérature latine. 2-me éd. Paris 1885.
Gerard de Nerval. Voyage en Orient. 8-e éd. Paris. 1882.
Douce Fr. Illustrations of Shakespeare and of ancient manners; with dissertations on the clowns and fools of Shakespeare Лондонъ. 1839.
M. Sand. Masques et bouffons. Préface par George Sand. Paris. 1860.
Олеарій. Шлезвигское издание. 1656 г. (Vermehrte Moscovitische und Per-sianische Reisebeschreibung. Schleswig. 1656).
Н. Тихонравовъ. Русскія драматическія произведенія 1672—1725 гг.. Т. I. Спб. 1874.
Н. Тихонравовъ. Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра. Москва. 1873.
А. Веселовскій. Старинный театръ въ Европѣ. Москва. 1870.
И. Пекарскій. Мистерія и старинный театръ въ Россіи. Спб. 1857 г.
Ровинскій. Атласъ народныхъ лубочныхъ картинокъ и текстъ къ нимъ. Т. V.
П. О. Морозовъ. Очерки изъ исторіи русской драмы XVII и XVIII ст. «Репертуаръ и Пантеонъ». 1845 г., кн. 5.
«Петрушка». Дѣтскій уличный театръ, изд. Д. И. Прѣснова. Москва
Водовозова. Жизнь европейскихъ народовъ, Т. II.
«Историческій Вѣстникъ». 1892 г. дек.; 1893 г. сент.

Бъ ст. „Сервантесъ“.

1. *Дж. Тикноръ.* Исторія Испанской литературы. (Изд. Солдатенкова).
2. *Коршъ и Кирпичниковъ.* Исторія всеобщей литературы. (Изд. Ряккера). Томъ 2-й.
3. *Н. Heine.* Einleitung zur Prachtausgabe des «Don Quixote». (XII т.).
4. «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1858 г. № 9. Ст. *Водовозова.*
5. «Revue des deux mondes» 1864 г. № 3. Ст. *Montegut* и 1887 г. № 12. Ст. *P. Merimée.*
6. «Вѣстн. Евр.» 1885 г. № 9. Ст. Н. И. Стороженко.
7. «Свѣ. Вѣстн.» 1889 г. № 8 и 9. Ст. Мережковского.
8. *И. С. Туриневъ.* Сочин. Т. I-й. Ст. „Гамлетъ и Донъ Кихотъ“.

Къ ст. „Даниель Дефо“.

Даниель Дефо. Жизнь и удивительныя приключенія Робинзона Крузо, юркскаго моряка, разсказанныя имъ самимъ.—Перев. П. Канчаловскаго. Москва. 1889 года.

Г. Геттмеръ. Исторія всеобщей литературы XVIII в. Пер. Пыпина. Спб. 1863 г.

Бьминскій. Сочиненія Т. VI.

Taine. Histoire de la litterature anglaise. Пер. подъ ред. А. Рябинина и М. Головина. Спб. 1871.

А. Каменскій. Даниель Дефо, его жизнь и литературная дѣятельность Спб. 1832 г. Изд. Павленкова.

«Русское богатство» 1893 г. №№ 6, 7, 8. Статьи В. В. Лесевича.

А. Анненская. Робинзонъ Крузо. Перераб. темы, изд. Лесевича. Спб. 1889 г.

Фр. Гофманъ. Новый Робинзонъ. Спб. 1885 г.

„Игра дѣтей въ Робинзонъ Крузо“. Съ англ. Изд. М. П. Ивановой и Н. В. Боборыковой. Спб. 1875 г.

„Жизнь и приключенія Робинзона Крузо“. Изд. Морозова. Москва: 1882 г.

„Швейцарскій Робинзонъ“ (съ франц.) Изд. Исакова. Спб. 1861 г.

„Петербургскіе Робинзоны“. Изд. Вольфа. Спб. 1874 г.

„Жизнь и приключенія Робинзона Крузо“. Обраб. С. Чистякова. Спб. 1882 г.

Кампе. „Робинзонъ Крузо“. Пер. Межевича. Изд. 3-е. Спб. 1859 г.

„Жизнь и приключенія Робинзона Крузо“. (по Фое.) Изд. для дѣтей Анскаго. Москва. 1873 г.

Оскаръ Гёкеръ. Робинзонъ Крузо (съ нѣм.) Спб. Изд. Девриена.

„Робинзонъ“. Изд. Павленкова. (пер. съ нѣм.) Спб. 1891 г.

„Настоящій Робинзонъ“. Заимств. съ франц. А. Разинымъ. Спб. Москва 67 г.

С. Турбина, Русскій Робинзонъ. Спб. 1879 г.

Емис. Вейнбергъ. Робинзонъ Крузо Де-Фое. Одесса. 1887 г.

Робинзонъ Крузо. Изд. Сытина. Москва. 1891 г.

„Новый Швейцарскій Робинзонъ“. исправленный *П. И. Сталемъ* и по новѣйшимъ даннымъ естественныхъ наукъ *Иваномъ Массе.* Съ франц. Спб. Москва. 1870 г.

Н. Сибирякова. Сергѣй Петровичъ Лисицынъ, русскій Робинзонъ. Москва 1876 г.

„Новый Швейцарскій Робинзонъ“ (по *Белштейну*), съ нѣм. пер. В. П. Андреевская. Спб. 1889 г.

А. Лори. Наслѣдникъ Робинзона. Изд. Сытина. Москва. 1892 г.

„Путешествія и удивительныя приключенія Р. Крузо“. Вновь обработанное изд. (съ прибавленіемъ жизнеописанія Дефо). *Л. Гютнеромъ* и *Ц. Ф. Луккартомъ.* Пер. И. Бѣлова. Спб.—Москва. 1874 г.

Чулюкова. Робинзонъ въ русскомъ лѣсу. Изд. Карцева. Москва. 1895 г.



796



8- 3p

RETURN CIRCULATION DEPARTMENT
TO → 202 Main Library

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

1-month loans may be renewed by calling 642-3405

6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk

Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

AUG 09 1991		
RECEIVED BY		
MAY 29 1991		
CIRCULATION DEPT.		

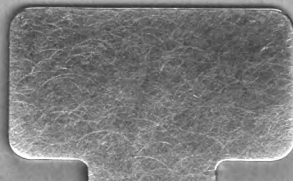
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
FORM NO. DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 94720

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000984012

llh



71146/c

